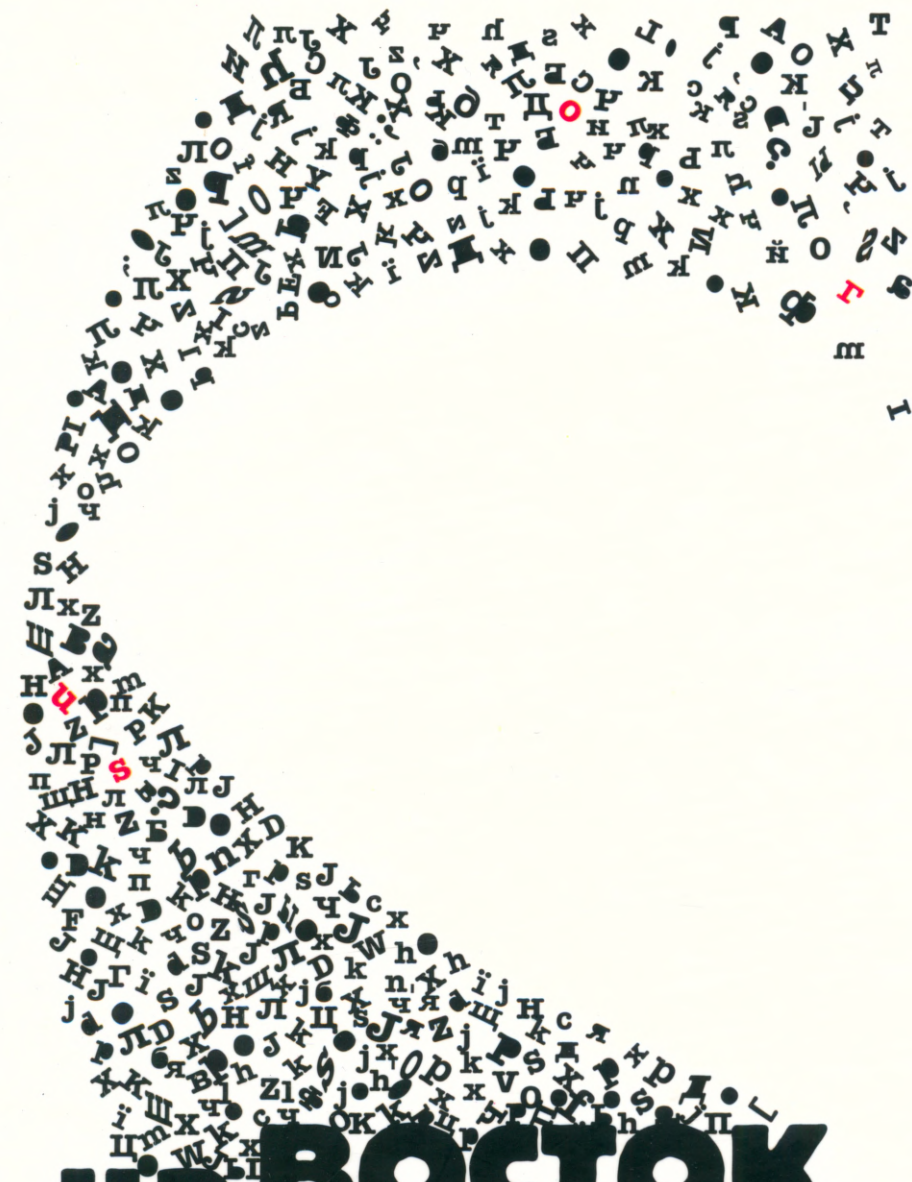


Николай БОКОВ

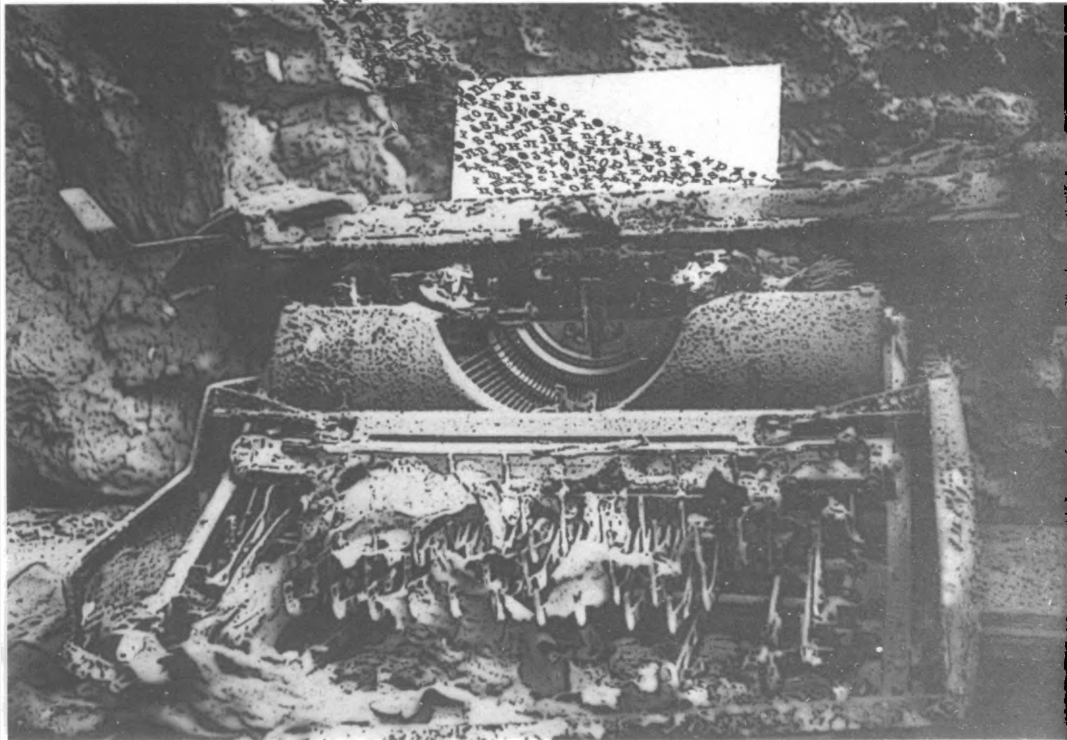


**на восток
от парижа**



КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛНОГО ЦИКЛА

П
 К
 Л
 М
 Н
 О
 П
 Р
 С
 Т
 Ф
 Х
 Ц
 Ч
 Ш
 Щ
 Ъ
 Ы
 Э
 Ю
 Я
 а
 б
 в
 г
 д
 е
 з
 и
 й
 к
 л
 м
 н
 о
 п
 р
 с
 т
 ф
 х
 ц
 ч
 ш
 щ
 ъ
 ы
 э
 ю
 я
 А
 Б
 В
 Г
 Д
 Е
 З
 И
 Й
 К
 Л
 М
 Н
 О
 П
 Р
 С
 Т
 Ф
 Х
 Ц
 Ч
 Ш
 Щ
 Ъ
 Ы
 Э
 Ю
 Я
 а
 б
 в
 г
 д
 е
 з
 и
 й
 к
 л
 м
 н
 о
 п
 р
 с
 т
 ф
 х
 ц
 ч
 ш
 щ
 ъ
 ы
 э
 ю
 я



Николай Боков

Книга вторая

НА ВОСТОК ОТ ПАРИЖА

Издательство «Дятловы горы»,
Нижний Новгород • 2008

ББК 84 (2Рос-Рус) 6-5
Б24

Николай Боков

Б24 На Восток от Парижа. Книга вторая.

Отпечатано в типографии издательства «Дятловы горы»,
2008. — 292 с.

В книгу русского писателя Николая Бокова, ныне живущего во Франции, вошли четыре повести: «На Восток от Парижа», «Проза Миллениум», «Побег в окрестности Реймса», «Обед на побережье». Судьба русского эмигранта — материя и дух этой лиричнейшей, проникновенной прозы, являющейся бесспорным открытием для русского читателя. Воспоминания о драматичной жизни на родине до ее кардинального социального изменения, впечатления от жизни в Европе — от мощных картин природы, общества, иного уклада жизни до тончайших зарисовок любви, ее драгоценных встреч и расставаний — все под пером мастера складывается в великолепную фреску, где фигуры, запахи, звуки, события говорят чуткому сердцу о вечных сокровищах бытия.

ISBN 978-5-902933-54-0

© Nicolas Bokov 2008

© Издательство «Дятловы горы», 2008

НА ВОСТОК ОТ ПАРИЖА

Иван решил, что ее зовут Матильда. Лицо молодой женщины пребывало в тени, а когда открывалась задвижка, беглый лучик света выхватывал на мгновение рот, щеку, лоб. Этих мгновений Иван ожидал с большим интересом, чем перемен на экране.

— Посмотрите внимательно, — сказал докладчик, длинный суховатый мужчина с пышными ницшеанско-горьковскими усами. — Это витраж из Шартрского собора, заказанный булочниками. Вон корзины, наполненные хлебами. Нужно обязательно помнить, что подобное введение темы ремесла в храм говорит о многом. Прежде всего, о значительности корпорации хлебопеков уже в четырнадцатом веке, — именно тогда был заказан витраж. Хлеб имеет здесь и религиозное значение, не будем его сбрасывать со счета.

Иван сидел так, чтобы видеть и витражи, и Матильду. Она стояла за проекционным аппаратом, внимательно следя за жестами докладчика. Вот он наклонил голову в знак того, что пора перейти к следующему изображению. Матильда нажала на кнопку, луч света выхватил из темноты ее трогательный носик, а на экране появились бочары, соорудившие огромные бочки.

— Не следует преуменьшать и значение ремесла виноделов, — дрогнувшим голосом сказал докладчик. — Огромное в античное время, оно еще выросло в Средние века: вино вместе с хлебом играли центральную роль в религиозном обряде. Ныне, конечно, такого значения эти жесты уже не... не...

Ученый едва успел выхватить носовой платок и чихнуть в него, и тем слегка приглушить неожиданно трубный звук.

Лекция остановилась на кожанниках.

Иван не спешил уходить. Он сделал вид, что хочет расспросить о чем-то докладчика, и присоединился к двум старушкам, взволнованно его теребившим. Слушателей на лекции было немного, человек двенадцать.

Матильда уложила прямоугольнички диапозитивов и пошла к двери, держа под мышками коробку и сам аппарат. Перед нею она остановилась и оглянулась, стараясь сообразить, как же ей теперь быть.

— Позвольте, прошу вас! — поспешил Иван, открывая дверь в коридор. Матильда слабо улыбнулась и кивком дала понять, что принимает помощь. Иван вышел в коридор вслед за нею и сразу понял, что для его вежливости открывается широкое поле деятельности: предстояло открыть еще дверь на лестницу, и затем в коридор на другом этаже, и дверь в комнату, где хранилась различная аппаратура мэрии.

Он был этому рад. Спокойное лицо Матильды, пушистые ресницы и темные глаза, ее медлительность зрелой женщины за тридцать неожиданно произвели в нем странное далекое звучание, словно раздавшийся где-то на краю земли струнный аккорд. И лицо показалось ему знакомым, как будто он видел его однажды, хотя и очень давно.

— Простите, — сказал он у следующей двери, — мне как-то неудобно идти налегке, в то время как вы несете много предметов...

Она взглянула на него пристально, словно взвешивая, можно ли доверить ему эти сокровища, и решила, что лучше не рисковать. И покачала головой, улыбаясь.

— Тогда открывать двери придется мне, — произнесла она мягким грудным голосом, чуть-чуть протяжно на последнем слове. Она говорила по-французски так, как Иван особенно любил слышать (а есть, согласитесь, противная манера разговора, с развязными «э?», призванными, очевидно, расположить к доверительности, — так разговаривает советник мэра по жилью и спорту).

— Лекция была очень интересной, — сказал Иван, чтобы добавить материала для разговора. Матильда была одета в брюки и темно-зеленый жакет с черными полосками, в отвороте которого светлел кремовый треугольник блузки с перламутровыми пуговками, а в треугольнике воротничка — смуглая кожа. Летний загар: их встреча произошла в октябре, он сойти не успел.

— Вам понравилось? — сказала Матильда скорее утвердительным тоном, в котором прозвучал, однако, и вопрос, что указывало на ее если не желание, то хотя бы согласие продолжить контакт. Воодушевившись, Иван рискнул похвалить:

— Я думаю, половину успеха нужно приписать вашему умению!

Она засмеялась, конечно, ибо тонкостью комплимент не отличался, но она почувствовала искреннее желание сказать ей приятное. Больше того, намерение Ивана было ей почему-то приятно.

Оставив поклажу на столе, она открыла, наконец, шкаф и стала укладывать коробки. Ей даже пришлось чуть-чуть потянуться и приподняться на цыпочки, чтобы достать до верхней полки, и тогда жакет и блузка тоже потянулись вверх, открыв полоску кожи на спине. В наше время это обычная вещь, девушки охотно оставляют открытыми спину и живот.

От усилия ее лицо сделалось розовым. Она бросила на помощника быстрый взгляд и вдруг заторопилась:

— Ах, уже поздно! Как я задержалась! Пойдемте скорее!

Она звенела ключами. Иван поспешил выйти в коридор первым, и она торопилась вниз по лестнице, выведившей к паркингу мэрии. Легкая горечь коснулась Иванова сердца, привычная, впрочем.

— До свидания, Матильда! — крикнул он уже во дворе. Она остановилась, удивленная.

— Меня зовут Од, — сказала она, продолжая удивляться, — а вас?

— Иван! — крикнул он.

— До свидания, Иван.

— Од, до скорого!

Она захлопнула дверцу и кивала головой за ветровым стеклом своего маленького автомобильчика. Такие часто бывают у одиноких женщин. И это Ивана немного утешило: дело в том, что он тоже был одинок.

Знаменательность встречи постепенно уяснялась Ивану. Текущие занятия ее немного заслонили: он ходил на работу к восьми часам, а стояла зима, и утром, когда бригада собиралась у ворот муниципальных мастерских, было еще темно. В тот день предстояло мыть огромные железные щиты, очищая их от наклеенных программ и портретов кандидатов прошлых выборов, и снова развозить щиты по городу.

Вырываясь из шланга, вода была твердой, словно стальной прут. Она мгновенно смачивала бумагу и разрывала ее в клочья. Прощайте, обещания прошлых лет! Прочь навсегда, жирное лицо с подбородком! Работа была приятной; увлеченные разрушением, они немного напоминали детей.

Патрик пришел помогать Ивану. Высокого роста, немного сутулый, безработный маляр, он не надеялся удержаться в мастерских, хотя и знал свое ремесло досконально: алкоголь имел над ним полную власть.

— Подожди, подожди! — вдруг закричал Иван, увидев крупно напечатанное имя «Матильда». Впрочем, лицо — волевое и грубоватое — совсем не походило на лицо вчерашней... знакомой? — о, если бы. Почти знакомой. Патрик остановился и добродушно смотрел, как Иван осторожно вырезал полоску бумаги с именем.

К именам у Ивана особое отношение. Ведь это надо же — одним словом обозначить целого живого человека! Всю жизнь и после! Да так, что он на это слово отзывается. Нет, как хотите, но тут какая-то тайна.

Правда, Матильда сказала, что ее зовут Од. Но все-таки Иван думал, что не совсем ошибся. Ведь и Иван — его прозвище из-за русского (некоторые считают, что немецкого) происхождения, а имя у него другое. Против Ивана он ничего не

имел, напротив, в младенчестве его едва не называли Иваном, но отец настоял на другом. И вот волею судеб он все-таки назывался Иваном.

Патрик смотрел вопросительно.

— Очень красивое имя — Матильда, — сказал Иван, складывая полоску бумаги и пряча в записную книжку.

— Ты чудной, — сказал Патрик. — А, ты ее знаешь?

Потом они затаскивали щиты в грузовик. Не слишком тяжелые, нет, но неудобные, громоздкие, влекущие их несущих под порывами ветра. И затем они залезли в кабину грузовика и сидели там с влажными красными руками и лицами. Кабину удлиннили за счет кузова, и во втором ряду привинтили к полу скамью. Всего туда помещалось шесть человек рабочих.

— Проволоку не забыли? — на всякий случай спросил Марк, один из бригадиров. Он был *титულярным* работником, в отличие от остальных, полставочных по договору на год.

— Взяли, взяли. И кусачки взяли.

Совсем юный Alexis повел грузовик в тихий павильонный квартал, где, признаться, делать им было нечего. Но здесь находилось кафе, и с его посещения начинался рабочий день. С глотка мутно-белой анисовой водки, пастиса. О, сильна власть коллектива: четыре месяца Иван работал в бригаде, и четыре месяца его угощали, а он отказывался. Правда, и его отказ на них повлиял: если раньше Ивана спрашивали: «Ты будешь?», то теперь говорили: «Ты не будешь?»

Свободных людей дело, пить или не пить. Для Ивана этот вопрос не стоял. Неприятен бывал черный Чарли: захмелев, он настойчиво произносил непристойности. Конечно, бывали удачные шутки, но затем он начинал сравнивать половой орган своей подружки с мышинным глазом и игольным ушком. Словесная смесь делалась все более жгучей, нужно быть Роланом Бартом, чтобы ей наслаждаться.

— Ты не будешь? — сказал Венсан, антилец.

— Нет, спасибо.

Ален повернулся к Ивану со стаканом в руке:

— Ты, говорят, объехал весь мир, — сказал он.

— Половину, — сказал тот чуточку шутливо.

— Я добрался до Индии, — сказал Ален. — До Тибета.

Лицо его смягчилось и просветлело. Он даже поставил стакан на стойку.

— Там живут совсем по-другому: там влажно, тепло и спокойно. И потом, там все бедные, а с бедными жить просто. Собака, и та виляет хвостом и играет, а попробуй к ней подойти, когда она с костью: смотрит косо, рычит. Так и люди.

— Нужно ехать, — сказал Марк.

— Ну, а она? — Чарли продолжал свой разговор.

— Ну, что она, она ничего, — сказал Марк. — Ей — наплевать.

— Никогда не поверю! — жарко сказал Чарли. — Женщина на такие вещи не плюет.

Они поехали самым дальним путем, для того, чтобы за день набралось побольше километров на счетчике; это тоже показатель успешной работы. За четыре месяца Иван наездился досыта. Так ему случалось трудиться в покойном Советском Союзе. Но тут все происходило как-то легко, без жестокости. Вестимо: там был коммунизм.

В тот день им досталось от ветра! Щиты парусили, а они шли через улицу, ветер дул, приходилось изо всех сил упираться. Рабочие привычно бранились, очевидно, черпая в этом поддержку и силы, и все порядком вспотели. Щиты были поставлены вдоль ограды. Их крепко прикручивали толстой проволокой, поскольку находились любители ночью их унести.

— Прикручивайте хорошенько, ребята, — сказал Марк.

И они прикручивали на славу.

— Ни за что не открутят! — сказал удовлетворенно Alexis.

— Открутят, — покачал головой выдавший виды Ахмет, живший в опасном квартале. — Они тебе Эйфелеву башню открутят! Теперь везде так: днем половина людей работает, а ночью другая половина портит.

— Ну уж, половина, — сомневался Алан.

— Ну, треть.

— Треть половины.

Ален хмыкнул и стал тихонько насвистывать свой любимый мотивчик, а потом напевать: *O my baby, my little gentle baby...* Эта песенка была его позывным. (Дети будут петь ее в день его смерти, проходя мимо Ивана, и он начнет думать и беспокоиться об Алене).

— Это был очень сильный порыв, стремление, — сказал он. — Когда я был молод. Хотелось открыть Америку!

— Ты и сейчас не старый, — сказал Иван. — Ну, сколько тебе лет? Тридцать шесть?

Тот посмотрел удивленно:

— Разве все в этом дело? Я устал, ты понимаешь? Потому что оно не пришло. Не нашел. Так долго ждал — и не пришло. Это старит, ты понимаешь? Вот ты — ты моложе меня, потому что нашел, я это чувствую, я не знаю, что, но нашел! Ты нашел эту *пищу*, — сказал он напряженно. — Я думал, что это — трава, напиток, порошок, путешествие. Нет, не то.

Его глаза зажглись, порозовели впалые щеки.

— Твой час найти еще не пришел, — сказал Иван. — Терпение.

Ален махнул рукой. Терпеть он не хотел. Да и сколько времени ему еще нужно ждать, и сбудется ли когда-нибудь смутная надежда существования? Сам Иван полагал, что это ностальгия по вечности, которая всех нас посещает.

К ним торопился знакомый автомобиль с эмблемой мэрии. Завмастерскими Жожо сидел за рулем, с ним рядом — озабоченный человек с палкой в руках. И еще один, безразличный, с ведром и кисточкой. Они принялись наклеивать номера на щиты. А Жожо проверял, прочно ли они прикручены. И в одном месте, рванув, оторвал. Он был недоволен:

— Ребята, разве так прикручивают! А ну, идите сюда все!

Крепкими грязными руками Жожо согнул кусок проволоки. Он захватил им железную стойку ограды и трубу каркаса щита и соединил вместе концы. Ухватив плоскогубцами, он потянул их на себя так, что рубашка его затрещала в плечах под напрягшимися мускулами, ограда и щит подались друг другу навстречу. Резкими движениями Жожо крутил плоскогубцы,

сделал пять или шесть оборотов и остановился. Рабочие шумно перевели дыхание. Наставник откусил свободные кончики проволоки кусачками. Теперь ее раскрутить невозможно.

Они поехали в мэрию: нужно было срочно перенести тяжелую мебель. Чарли сидел за рулем и шутил. Вернее, он хвастал своими победами над прекрасным полом, как это часто бывало. Он перебирал качества своих партнерш, словно ощипывал перья с курицы и бросал их в мусорный ящик. Раздраженный Иван спросил:

— Чарли, для тебя есть что-нибудь красивое и священное в жизни?

Понятно, что это была изысканная манера сказать: «ты грязная свинья». Ну, может быть, не так сильно, но в ту сторону. Они ехали по пустынным улочкам, за окнами было холодно, и стекла запотели. Им было б всем уютно и хорошо — так, как бывает только зимой, когда по-медвежьи начинаешь подремывать и ценить нагретое пространство, даже тесное, — если б не эта ругань.

— Ты забрасыватель дерьмом*, — мрачно сказал Чарли (метр восемьдесят, 90 кило). Он пошел на конфликт.

— Ты полегче, Чарли, — сказал Иван (метр семьдесят пять, 75).

Чарли открыл рот, чтобы продолжить и, несомненно, заострить тему, как послышался спокойный голос Алена (метр семьдесят два, 65):

— Дай ему жить, Чарли. Ты разве забыл, что мы в республике?

От неожиданности Чарли пропустил свою реплику, а пропустив, уже не решался продолжать в том же тоне. Тем более что Ален был коренным французом, и его взгляды имели вес.

В мэрии нужно было носить мебель: отдел гражданских состояний переезжал в другую комнату. Но происходило и что-то еще: запах духов стоял в коридорах и на лестницах, веяло свежестью, незнакомые радостные ароматы тревожили ноздри и сеяли желание перемен. Представитель парфюмерной фирмы

* Emmerdeur (франц).

переходил из отдела в отдел, оставляя образцы продукции, и сотрудники — почти все женщины — тут же открывали пузырьки и флакончики, обоняли, брали на палец, давали нюхать друг другу, мазали виски и шеи. Красавица Фабьена — секретарша делегированного советника по урбанизму — громко высказывала свои мнения, и к ней прислушивались другие женщины и даже толпились вокруг нее, словно природная миловидность делала ее экспертом и в царстве обоняния.

— Нет-нет, девочки, сейчас такой аромат совсем не котируется, — сказала Фабьена с немного странной, но милой гримаской (ей особенно шло, когда она морщила нос, и она пользовалась этим постоянно). Представитель фирмы молчал, сохраняя каменную улыбку, отлично сочетающуюся с безупречно отглаженным костюмом. Он был средних лет, с первыми признаками жизненного изнеможенья.

— А что вы скажете об этом? — Он протянул красавице плоскую коробочку, признавая тем самым ее авторитет и влияние. — Здесь содержание амбры намного выше, запах более стоек и более — извините — тяжел. Им хорошо подчеркнуть тайную страсть к партнеру. Вместе с тем, гамма свежести дает аллюзию на возможность бегства и авантюры.

Фабьена смотрела благосклонно на эксперта:

— Вы думаете, для *молодой* женщины этот запах не слишком...

— Вы абсолютно правы! Но в том-то и дело, что здесь мы играем на контрапункте: мы подчеркиваем зрелость чувства! Вы понимаете? Вижу, что понимаете! Редко сталкиваешься с таким тонким пониманием языка ароматов, как у вас! И в вашей мэрии, — добавил он на всякий случай, не зная рангов обступивших его женщин. — И вообще в вашем городе, — еще расширял он зону *фиделизации*, то есть приручения клиентуры.

Иван и Чарли тащили тяжелый железный стол. Общие усилия и сложность рабочей обстановки их помирили. В чуждой социальной среде Чарли подчас стеснялся и стушевывался. Он был смелым в грузовике, а в своем квартале пятиэтажек — местным *идолом* мальчишек, и заводилой.

Возбужденные женщины сновали по коридору, увлекая за собой и обычных посетительниц разного возраста, и даже усталые люди из очереди за социальной помощью встрепенулись и ободрились. Известная в городе госпожа Снегиреф, заходившая в мэрию просто так, гуляя, чтобы отнести какую-нибудь рекламку в старческий дом, где она жила, — и она стучала клюшкой по полу и говорила что-то о фиалках и анемонах.

Иван любил анемоны: они скромные, нежные. Они похожи на подснежники, которые в России его детства и в самом деле росли на едва оттаявших островках земли, окруженные снегом. Какое счастье уже издали видеть лиловые и розовые чашечки, нежнейшие!

Водитель Алексис, замороженный, молчал, ноздри его трепетали. Он тянулся туда, где слышался голос Фабьены, или вот еще стук каблучков Изабелы, секретарши самого мэра, громоздкого тучного социалиста Дюпона, обильно смоченного потом зимою и летом.

— Мальчишка, — любовно говорил о нем Жожо. — Еще совсем мальчик!

Эта французское доброжелательство всегда приятно удивляло Ивана: начальник в стране его юности уже давно кричал бы злые слова.

— Надо ехать, ребята, надо ехать, — тревожился Марк.

Они поехали. Ароматы их основательно пропитали и изгнали на короткое время запахи табака и железной гари.

— Ну и ну! — Ахмет вытирал слезящиеся глаза. — Ну и наюхался!

— Говорят, есть такой одеколон, особый. Если им попрыскаться, то женщины ничего не могут с собою поделать: их прямо так и притягивает к тому мужчине. Просто липнут!

Сообщение Алексиса заняло их на короткое время, хотя Марк и пожал плечами, а Ален недоверчиво свистнул.

— Правда, правда! — настаивал юноша. — Мой брат видел по телевизору, когда служил в Германии.

— И не купил? — спросил заинтересованно Чарли.

Они приехали в муниципальную библиотеку. Как выяснилось, нужно было перевезти рояль, стоявший обычно в читальном зале. Рук вполне хватало, но в узком месте — как обычно, на лестнице — к роялю нельзя было подойти. Ивану достался угол — тяжелый, блестящий. Музыкальный ящик отзывался на усилия мужчин глухим ворчливым гулом.

Неизвестно, где лучше быть при переноске такого предмета. Если идти первым, то он наваливается на тебя всею тяжестью, грозя раздавить, а если сзади — то он тянет вперед и выskalывает из рук, грозя раздавить товарища. Спускаясь, Иван видел место, где попадет в ловушку, но ничего нельзя было поделаться. На крохотной лестничной площадке, где рояль поворачивался, Иван неизбежно оказывался в углу один на один с тяжелой частью. Стены мешали товарищам подойти и помочь.

От чрезмерного усилия Ивана бросило в жар, секунды растянулись в вечность. Поза была трагически неудобной, но изменить ее он не мог. Перед глазами поплыли буквы плаката, висевшего в мастерской: «Если вы получили травму, поднимая тяжесть *неправильно*, то страховка Вам выплачена *НЕ будет*. Благодарим за ваше понимание».

— Ивана задавило! — раздался тревожный возглас Марка, и эмигрант почувствовал, что тяжесть уменьшилась. Это бригадир подлез и подставил спину под инструмент, пока тот поворачивался в тесном пространстве. Кстати, есть фортепьянные пьесы, которые Иван очень любил. «Письмо Элизе» — какое чудо!

Колени у него легонько дрожали.

На улице ребята поставили рояль на платформу с колесиками и вкатили в грузовик. Они обложили его одеялами и привязали веревками. Теперь инструмент не казался таким огромным. Рабочие остались с ним в кузове: мало ли что.

Больше рояль носить не пришлось. Они привезли его к церкви, и человек, ходивший перед порталом, подбежал, показывая, как нужно подъезжать. Он дирижировал грузовиком, словно оркестром. Руки его взлетели и трепетали, будто жаворонки в

небе, он манил шофера к себе, отступая, а потом энергично бросил руки вперед и вниз, и грузовик замер.

— Отлично, ребята! — сказал человек лет сорока с пышной гривой волос, в свитере и шарфе. — А теперь опускаем... окей! и везем.

Рояль опустили на платформу и закатали в церковь. И поставили неподалеку от алтаря.

— Вероятно, будет концерт? — осторожно предположил Иван.

— О да, — ответил человек равнодушно, не поворачивая головы. Видимо, в рабочей одежде Ивана он видел окончательный приговор. В спектакле жизни все роли расписаны вплоть до носок и пуговиц, это железная вещь.

— И вы будете выступать?

— О нет, я здесь органист. — Он уже почти уходил, но Ивану отпустить его не хотелось. Тем более, органиста!

— Вероятно, вам знакома история этой церкви? — сказал Иван. — Правда ли, что художник — автор витражей — изобразил в персонажах Евангелия свою жену и друзей?

Органист остановился и медленно повернулся.

— Вы это знаете? — Он не скрывал удивления, хотя, казалось бы, эти сведения доступны публике. Во всяком более или менее приличном путеводителе...

Его лицо просветлело, он протягивал руку:

— Андре. Идемте, я кое-что вам покажу.

И он поднял руку к высоким цветным окнам. Действительно, в изображениях событий тысячелетней давности фигурировали и жена художника, и он сам, и сестра жены, и архитектор, и подрядчик, и их жены и сестры. Они, между прочим, жили в основном недавно, до последней мировой войны. Ивана это не возмутило, хотя, конечно, видна разница между лицом вообще и лицом живого человека. Впрочем, и черты живых людей можно несколько обобщить, изображая.

— Ребята, я останусь, — сказал Иван коллегам. — Уже скоро пять.

Они едва успевали вернуться к пяти в мастерские, чтобы от туда разойтись по домам. Марк заворчал, но Иван мог позволить себе эту вольность: *титულярным* он не был. Андре пообещал вернуться через минуту и подняться с ним на трибуну органа.

Иван любил пространство этой церкви, первой, построенной в 30-х годах из бетона, с полом, покатым в сторону апсиды. Конечно, цвету витражей было далеко до благородной таинственности Шартра или живости XVI века. И, однако, в религиозной постройке всегда есть щемящая нота, вздох грусти о прошлом. Странно, что цвет ныне не удается почти никому.

Тут Иван обнаружил, что он не один. Почти скрытый колонной, сидел человек. Неподвижно. Нет, не бродяга, не спит. Иван шел мимо него совсем близко, и было поздно менять направление. Почувствовав взгляд, Иван повернулся. Он всегда чувствовал, если на него смотрели, даже издали или в бинокль.

Немолодой человек с коротко подстриженными — под спортсмена — волосами поднимался со стула и одновременно протягивал ему руку. Нельзя было не ответить на этот жест дружелюбия, хотя Ивану и случалось попадать таким образом в ловушки.

— Kahn, — произнес он с сильнейшим английским акцентом.

Иван назвал. Некоторые время они смотрели друг на друга. Взгляд Кана был пристальным, но одновременно несколько грустным.

— Вы, вероятно, католик? — спросил Иван наудачу, словно предлагая Кану объяснение его присутствия в церкви.

— Агностик. Но мне понравилось это место: здесь легко сосредоточиться. И попадаются интересные люди. Вне часов многолюдных собраний, разумеется.

Кан был художав и несколько сутул, вероятно, из-за своего роста: рослым людям часто хочется спрятаться среди других, особенно в юности. Потом это проходит, но остается сутулость. Да и мебель для них неприспособлена, и сутулость усиливается.

Из-за хлопнувшей двери появился Андре, пожал Кану руку и увлек обоих вихрем своего энтузиазма. По винтовой лестнице они поднялись на трибуну органа. С нее открывался изумительный вид на неф. Пропорции стали другими, а вес собственного тела, казалось, уменьшился.

Иван передернул плечами, как это бывает у людей, если им холодно.

— Что с вами? — участливо спросил Андре. — Вы изменились в лице. У вас кружится голова?

— Простите, я пережил странный момент рассеянности!

— Это был момент концентрации, — дружелюбно предположил Кан.

— Так вот, — продолжал Андре, — вы видите, это построенное из бетона здание культа воспроизводит черты античности. Намеренно. Возьмите колонны: они уменьшаются в диаметре кверху, глаз, оценивая перспективу, обманут, и потолок нам кажется выше, чем на самом деле. Но самое главное — ощущение свежести. А это нечасто. Слепок души строителей, вы понимаете? Их молодость и любовь, семейственность в основе, так сказать, окрасили целое. В музыке это обычная вещь. Кстати, хотелось бы вам что-нибудь услышать? Я с удовольствием сыграл бы.

На Ивана Андре не смотрел. Влиял, несомненно, тот факт, что он оставался в рабочем костюме. Обычная история, и не только с органистами.

Кан молчал. А потом взглянул на Ивана, словно поняв и уступая ему место.

— Ах, сыграйте одну вещь, Андре, — попросил Иван.

— У вас есть предпочтения? — Органист улыбнулся. — Итак?

— Знаете, это... К сожалению, я не могу дать точной отсылки... Это прелюдия Франка... Прозрачная, печальная, словно вы смотрите издали и узнаете родные места.

Андре сделался серьезен и мягок. И взяв несколько нот, смотрел вопросительно. Иван кивнул.

Органист изменился, играя. Исчезли его широкие плечи борца и шумное дыхание.

— Вам повезло, — сказал он. — Однажды я готовил эту вещь для концерта, я знаю ее наизусть.

Как хорошо было бы сменить здесь слова на звучание музыки! Принять это созерцание пространства, завершенность дня и жизни, успокоение однообразных порывов тела. И вздохи органа — в молодости они казались Ивану посторонним досадным шумом, а теперь он и их полюбил, догадавшись, что несовершенство есть признак живого. В механическом — например, в чертеже колеса — нет случайных добавок. А образу дерева не вредит и сухая ветка, скорее напротив, нужна.

— Прежде, чем снова надеяться, надо успокоиться! — произнес Кан, когда Андре кончил играть и сидел склонившись над клавиатурой не двигаясь.

— Вот что: я хочу предложить вам стаканчик. Идемте ко мне! — сказал Андре. — Это напротив.

Они сошли вниз скрипучим ступенькам. Выйдя на солнечный свет, они поневоле прищурились. Органист уверенно шел через улицу, не оглядываясь на автомобили.

— Могу предложить вам уиски, пастис, ром, порто... Иван, извините: водки нет, именно водки и нет! Кан, а вы...

— Уиски, пожалуйста.

— Водку я ненавижу. Знаете что? Дайте мне сиропу черной смородины с газированной водой!

Андре был озадачен, но с заказом справился.

— А я сам? Я последую примеру нашего австралийского друга!

Треугольник встречи еще не приобрел четкости. Спустя время роли распределятся: вот родители, а это приемыш, призывительный слепок семьи. А если неясно, кто хочет быть кем, не получается дружбы.

— Дорогой друг Кан, что вы делаете в жизни?

— Я преподаю английский язык.

— Вери гуд! В эпоху глобализации и нам, в нашем городке, пора научиться правильно произносить название кока-колы. И уж тем более песенок.

— А вы, Иван? — манера Андре спрашивать была прямой, но доброжелательной. — Впрочем, видел, вы работаете в...

— При мэрии. Но вообще я подстригаю траву и деревья. Профессия — ждать у моря погоды.

— Как интересно. И вам удается?

— В этом году ожидать стало блаженством.

— Почему же именно в этом? Да и погода обыкновенная, ни бурь и ни засухи.

— Кажется, я полюбил женщину, — вдруг сказал Иван смущенно, и это выглядело странно в разговоре при первом знакомстве, всегда несколько шутливом и в полутонах.

— Ого! Ну что ж, если любите — любите! — искренне сказал Андре, немного задетый и взволнованный откровенностью Ивана.

— Плоды бывают поздними, мой старший друг, — продолжал он. Нотка зависти прозвучала в этом слове «старший», нотка ревности неизвестно к чему, хотя и верно, что Андре явно моложе Ивана лет на десять. Так говорят «старший», имея в виду «бедный». — И что же, если не секрет, ваша избранница — из нашего кантона?

— Вы хотите спросить, француженка ли она? — с напускным простодушием сказал Иван, немного мстя за «старшего». Андре, поняв это, засмеялся. Им нравилось, очевидно, чуточку поддеть друг друга.

В холостяцкой квартире Андре виднелись островки увлечений: пачки нот, книги, исписанные листы, комнатный велосипед, покрытый густым слоем пыли, гантели на коврике. Из окна была видна церковь.

— Кстати, почему она под лесами? Такая недавняя, и уже на ремонте.

— Видите ли, в тридцатые годы мешать бетон не умели, вернее, мешали вручную, и не могли получить однородную массу. Достаточно выпасть камешку, как вода проникает внутрь до железа, железо ржавеет, ржавчина взрывает бетон. Но тогда полемика шла вокруг другого: архитектор намеревался пристроить туалет. В церковном здании, впервые! Возмущение было всеобщим.

— Что ж, все должно быть священным в здании культа, — заметил Кан. — Только коснись его, приблизь слишком к земле — и скоро трепета никакого, и всем наплевать.

— Вы берете часть человека, — сказал Андре. — Вы лишаете его цельности.

— Я? — удивился Кан. — Понятие священного зависит от эпохи. Помните, при царе Соломоне вблизи от Святого Святых лилась кровь животных потоком. Ныне подобное кровопролитие коробит, кажется знаком незрелости. А тогда проблема отхожего места стояла ребром: поедание мяса и жира было частью обряда, не так ли. Представьте себе пресыщенье священников, завороты кишок и перитониты! Смерть от запора была будничным явлением.

— Время царя Соломона прошло! — защищался Андре.

— Ну, не скажите. Скажите — проходит.

— Еще уиски?

— Слушайте, почему бы и нет. Посмотрим, будет ли второй стаканчик столь же удачным.

— Иван, а вы?

Апатрид наслаждался дружественностью обстановки.

По понедельникам Иван оставался в мастерских во время обеда, чтобы вымыться и постираться. О, блаженство горячей воды, обильно льющей! О, мыло, делающее тело скользким и гладким! Нагрелся и воздух в кабинке, пришли воспоминания о море и пляже, об игре в волейбол, о телах загорелых и ловких, с прилипшим песком.

В минуты довольства плоти легко приходят также мысли о вечности, о том, что после количества лет на земле — непременно начнется что-нибудь — не может не начаться, даже если химия и физика пока не открыли мест обитания душ. Всякое знание человечества не беспричинно, всё, сказанное словами, есть знание.

Уже пора бы и выходить, а он медлил. Пар, горячие тонкие покалывающие струйки. Говорят, Римский Папа каждый день купается в бассейне. Иван его понимал.

Наконец, он закрыл воду и вытирался. В тишине донеслись странные звуки, напоминавшие всхлипывания. Даже послышались жалостливые причитания. Душевая примыкала одной своей стенкой к кабинету Жожо. Иван приложил к ней ухо: гул и шум другого пространства сделались отчетливее, а вместе с ними и вздохи. Кто-то рядом страдал и горевал о чем-то. И это в наше время, в конце XX века, во Франции!

Бесшумно Иван вышел из душевой кабинки. Стекла перегородки потускнели и заплылились, нужно было приподняться на цыпочки, чтобы видеть. И крайне осторожно: плач — это момент предельной открытости, его легко вспугнуть.

За столом сидел Жожо Пармантье. В руке он держал карандаш, и разграфленный лист бумаги лежал на столе, куда он вписывал фамилии рабочих, отработанные часы и задания. Начальник смотрел перед собой, по его лицу текли слезы. Ах, и продвижение по службе не избавляет нас от горестей жизни.

Заметил ли Жожо тень Ивана или просто почувствовал чье-то присутствие, неясно, но он резко встал и ушел в угол к умывальнику. Только его вздрагивающие плечи были видны. В ворота уже стучали вернувшиеся с обеда работники, громкие голоса просили открыть, и Иван пошел. Это были Пепе и Кики. Пепе (по-русски было б Дедуся) назывался, собственно, Жако, он хромал и имел одышку. На работу его взяли из жалости: ему оставалось два года до пенсии. Все-таки приятен этот жест человеколюбия: патрон на такое не пошел бы. Ну, разве где-нибудь в Японии, как рассказывают. Частники говорят о рентабельности, что приятнее традиционной жадности. Вообще теперь почти всё переименовано усилиями структуралистов. Если б не они, какими чудовищами мы бы предстали.

Пепе был молчалив. Он видел многое в жизни, даже служил в иностранном легионе. Бывших легионеров Иван встречал часто, и легко могла бы возникнуть неправильная мысль, будто половина французов служила когда-то в легионе. Впрочем, попадались и немцы среди бывших, и даже один русский. К сожалению, вор.

Бригада поехала монтировать сцену в колледже, в дальний новый квартал, где предполагался спектакль, поставленный

учениками. Попадались щиты с наклепленными фотографиями кандидатов и программами партий. Усталое лицо женщины-троцкистки, в детстве увезенной из России. Волевое лицо кандидата Союза охотников. Улыбающееся лицо кандидата Национального комитета нырятьщиков. Ну, и более традиционные партии красных и белых. Борьба за власть уже шла: кандидату правых нарисовали знаменитые усики, а левому измазали лоб чем-то коричневым.

— Иван, у меня есть к вам дело, — сказал Жожо, когда бригада усвоила задание и принялась таскать панели из грузовика. Он отвел работника к окну.

— В общем, это даже не дело. Я знаю, вы читаете книги, я хотел вам сказать... дело в том, что в моей жизни... такая происходит история! В общем, уже произошла. Я не знаю только, окончательно ли, настолько она мне удивительна и болезненна. Жена ушла от меня.

— Ах, как обидно! — сказал Иван. — У вас есть и дети.

— И дети, и дом, и всё. Дети остаются пока со мной, суд еще не решил, и потом, поскольку ушла она, то, понимаете ли — и я понял бы, если б она ушла к другому мужчине. Но дело в том, что она ушла к женщине!

— Merde*, — сказал апатрид.

— Не скрою от вас: мне это больно.

— Еще бы! Бывает, приходится терпеть поражение от соперника, мы ведь не боги, и, знаете ли, он бывает как надо — моложе, богаче, крепче. Но когда женщина отнимает жену — тут аномалия. Тут страдает наша *вирцильность*! А между тем ясно, что этой даме не сделать ребенка вашей супруге!

— Ну, знаете, ныне все возможно, вы слышали про английскую овцу Долли? Она заглотала ее постепенно. Китти работала на почте, в окошечке, и эта повадилась туда ходить, разговаривать, потом приглашать, сначала со мной, потом без меня, ужас!

Лицо Жожо хранило детское выражение обиды. Конечно, в наше время мы готовы почти ко всему, но все-таки делается не по себе, когда что-то такое случается именно с нами.

* Дерьмо (*франц.*)

Весь план жизни разрушился, генетический код был в полном недоумении. Жожо смотрел с надеждой.

— Я знаю одного человека, — сказал Иван. — Я с ним посоветуюсь.

— Только никому не говорите!

— Разумеется.

Рабочие устанавливали перила подиума. Прибежала группа школьников, она прыгала по сцене и топала, радуясь новинке, кричала и бегала друг за другом. Вопль учительницы шум перекрыл:

— Ро-же! Рооо-жжже! Прекрати немедленно! Немедленно прекрати!

Держа щетку наперевес, словно копье, Роже старался пасть в апельсин, поставленный на спинку стула.

Несмотря на прохладный день, Иван обедал на свежем воздухе, под знаменитым на весь департамент кедром. Было ясно, и сквозь ветви дерева — сквозь изящную сетку, образованную тысячами мелких побегов, — светило голубое небо. Пир для взора! Синева, тончайшие веточки и мощные разветвления ствола, — поразительное, библейское дерево! Брак нежности и мощи. Что-то тут божественное, не зря древние иудеи опасались шарма ливанского кедра, а крестоносцы, им очарованные, привезли его в Галлию и посадили повсюду.

Иван задумчиво кушал свой сэндвич. Два одинаково одетых человека, шедшие по противоположной стороне улицы, стали переходить ее по диагонали, явно намереваясь подойти к нему. Старомодные костюмы, постиранные рубашки и галстуки, чистые и опрятные. Это была, так сказать, форменная одежда мормонов, или христиан последнего дня, прибывших из далекой Америки, с берегов Соленого озера. Иван их сразу узнал.

— Вы воспользовались свободной минутой, чтобы отдохнуть под этим величавым деревом? — начал один из них, как тут же узналось, Уолт. Второго звали Том.

— Не только отдохнуть, но и подкрепить брненное тело, утомленное затянувшимся переходом земной жизни, — ответил Иван в тон. Ему нравилось удивлять людей.

Мормоны переглянулись.

— Брат живет в этом городе? — спросил Том.

— О, временно, временно, как все в этой жизни, длящейся мгновение, — не поддавался Иван, убегая от скучных социологических вопросов. Где, сколько лет, профессия.

— Не хотите ли придти к нам, — сказал Уолт. — Мы могли бы поговорить на эти темы, которые интересуют нас чрезвычайно... Вот как нас найти...

Он вынимал кусочек бумаги.

Тут Иван увидел нечто, что мгновенно стерло его шутовское настроение. Никто другой, как Матильда-Од показалась на улице, и в каком положении! О таком только и может мечтать влюбленный: она толкала свой маленький автомобильчик, не желавший, ясное дело, заводиться.

— Провидение решит о нашем знакомстве! — крикнул Иван мормонам, побежав.

Молодая женщина чуточку запыхалась от усилий, ноздри ее раздувались, чудный румянец покрыл щеки. Ни грама официальности во взгляде. Напротив, немая просьба о помощи, почти предложение дружбы.

— Здравствуйте, Ма...Од! Позвольте быть вам полезным? Помните, мы на днях... я... и еще эта лекция, и вы показывали диапозитивы, а потом мы несли аппарат.

Она смотрела внимательно:

— Конечно, я помню.

— Аккумулятор? — предположил Иван. Конечно, он.

— Конечно, он. Ночь была холодная, и вот, пожалуйста!

— Садитесь за руль, садитесь, сейчас заведем! — суетился мужчина.

Матильда-Од подобрала длинную юбку, вспыхнули ярко бежевые носочки на щиколотках, и села за руль.

— Од, включите зажигание и поставьте вторую скорость! И когда я скажу, отпустите сцепление.

О, с каким восторгом Иван толкал автомобильчик! И тот набирал скорость, а эмигрант бежал, упираясь в него руками,

мимо ошеломленных братьев-мормонов, мимо кедра, мимо. О, так бы бежать и бежать, любуясь чудной головкой!

— Давай! — крикнул он. Мини автомобиль, подпрыгнув, закачался, словно колыбель младенца, завелся. Матильда отъехала шагов на тридцать и остановилась. И поехала обратно к Ивану задним ходом. Из окошечка на него смотрело обрадованное лицо. Ласка темных глаз. Боже, не умереть бы от счастья.

— Спасибо! — улыбалась она. И почувствовав, вероятно, что Иван заслужил нечто большее, протянула ему руку:

— Спасибо большое!

Он задержал драгоценную руку в своей на две секунды дольше, чем позволяла вежливость. Жасминовая прохлада пальцев. О, почему нельзя прижать их к губам?

— Вам никуда случайно не надо? Я подвезу.

— Иван, вот ты где! Мы тебя ищем!

Крик несся из грузовика, выехавшего на перекресток, и Марк показывал ему кулак из окна кабины. По-видимому, такой оборот дела устраивал молодую женщину, и она, улыбнувшись Ивану, уехала. Ах, какая досада! Ну, почему его жизнь зависит от глупых случайностей? Что им стоило поехать другой дорогой!

— Это твоя знакомая? — ошеломленно спросил Чарли. Он смотрел на Ивана иначе, чем обычно. Вероятно, тот факт, что у него могла быть знакомая женщина, переводил его в более высокий разряд существ. В сознании Чарли, разумеется.

— Да, — отрезал Иван.

— Так ты, может, был и женат? — продолжал изумляться Чарли.

— Чарли, дай ему жить, — послышался голос Адена. — Почему бы Ивану не быть женатым? Что тут такого?

Действительно. Что тут такого. В наше время многие женаты даже по несколько раз. Знаменитый психолог Сирюльник назвал это скрытой полигамией, и с тех пор всё стало на место.

Они поехали заправляться бензином. Колонка стояла в углу обширного хозяйственного двора позади мастерских. Тут оказалась маленькая очередь: заправлял свой «Рено» курьер мэрии

Пьер. Ждал и муниципальный советник Трийе за рулем «Мерседеса». Ребята насмешливо переглянулись.

— Обычно он приезжает ровно в полдень, когда никого уже нет, — сказал Ален.

Курьер уехал, и стал заправляться советник. На его лице блуждала особенная улыбка, несколько смущенная и немного заискивающая, щеки его порозовели, он ни кого не смотрел, хотя на него посматривали не только рабочие бригады, но и маляры, красившие какие-то щиты, и механики, — эти везли через двор какую-то деталь... минуточку... ну да, коробку передач от сенокосилки.

— Да что тут особенного? — сказал Иван. — Ну, заправляет человек свою машину.

— Все в порядке, не бойся, — засмеялся Чарли. — Что тут особенного? Человек заправляет свою машину, не краденую. Он едет куда-нибудь на уик-энд, и он наливает бензина в бак. Хороший мотор работает и на бесплатном бензине.

Трийе взглянул в их сторону. Может быть, до него донеслись обрывки фраз, ключевые слова, интонации, и он понял, что о нем речь? Чарли потупил взгляд, словно ему стало неловко. Естественно: кто он такой против советника?

— Ребята, срочно на площадь генерала Де Голля: там грузовик рассыпал гравий! — Жожо кричал из окошка своего пикапчика. — А потом возвращайтесь в мастерские. Сегодня можно.

День зарплаты.

Гравия оказалось полтонны, на шестерых это немного. Пришлось грузить лопатами: погрузчик не мог туда въехать.

И надо же такому случиться, что зарплата не пришла!

Событие исключительное, казалось бы, именно в виду его редкости люди должны отнестись к нему спокойно. А получалось наоборот. Возбужденные кучки служащих ходили по мастерским, по садику мэрии. И даже в отделах, этом оплоте местной выборной власти, на вопросы приличных посетителей отвечали без обычной любезности. Красавица Полина из бухгалтерии расплакалась: она с трудом выносила общее на-

пряжение. Мэр отсутствовал: он уехал на совещание департамента по снижению роста преступности. Его сотовый телефон не отвечал.

— Мой друг, нелегко помочь вашему другу, — сказал Кан, выслушав резюме любовной трагедии Пармантье. — Сердце женщины полно противоречий, превосходящих пронизательность и самых острых умов нашего века. Быть может, ее посетил дух обновления? Так и змея протискивается в узкое отверстие, чтобы сбросить старую кожу. И вот Китти устремилась в щель разрыва и развода! Да, именно в щель! Гм! В наше время это наиболее распространенный мотив. Заметьте, она сохраняет — в известном смысле — верность вашему другу, то есть своему супругу. Ее соблазнителем стал не мужчина, а женщина, что в рамках традиционной католической морали — а есть ли другая? — не встречает однозначного приговора.

Они стояли на пороге церкви, ожидая Андре.

— Хорошо бы попробовать сильное средство, а именно, найти соблазнителя, который соблазнил бы соблазнительницу жены вашего коллеги.

— Не слишком ли надуманно? — сказал Иван. — Это напоминает сюжет бульварной пьесы.

— Другая возможность — если она, конечно, есть, — подружиться с обеими женщинами, познакомиться с Жожо — так ведь? — и затем обнаружить ценность Жожо в глазах его бывшей — но еще психологически с ним связанной — жены.

— Кан, да вы просто гуру!

— Ну, вот еще! — улыбнулся Кан. — Это величание сделалось бранным. Пожалуйста, не шутите так при посторонних.

Не дождавшись Андре, они разошлись. Удаляясь неторопливо, Кан шел преподавать свой английский язык. Он не любил спешить. И случалось, что отказывался от предприятия, если видел, что придется поторопиться. На поезд, например. Может статься, его неторопливости споспешествовал и какой-то дефект ноги, — он немного хромял, и казалось, будто он слегка подпрыгивает. Но это только казалось: на самом деле он прихрамывал.

Ярко освещенное окно школы языков обещало, прежде всего, тепло и уют. То были вечерние курсы для взрослых, решивших по каким-то причинам освоить язык Шекспира и Т.С.Элиота, или хотя бы язык объявлений «Нью-Йорк Таймс» (газета; поясняем на всякий случай, вдруг вы читаете нашу книгу в то время, когда газета уже не существует). Кан мог преподавать и классический английский, британский, но спрос на этот последний уменьшался.

Ученики почти все собрались.

— Good evening, — сказал Кан. — Сегодня мы посвятим наше время некоторым неправильным глаголам, например, to go, идти. Я вижу, среди вас есть новички? Вы совсем новички — или вам пришлось сталкиваться с английским?

Новичками были осанистый мужчина лет тридцати пяти, уже с некоторою выпуклостью живота, и молодая женщина — по виду ближе к тридцати, одетая с большой тщательностью.

— I speak English, — с апломбом сказал мужчина. — My name is Dupont!

— Я учила английский в лицее, — порозовев, сказала женщина. — Меня зовут Од.

— Очень хорошо, — сказал Кан. — Через два-три занятия вы скажете, устраивает ли вас уровень трудности, или вы хотели бы идти быстрее: to go quicker! To run!

Спустя полтора часа все порядком устали переименовывать привычные действия и предметы. Все-таки язык Мольера был тоже неплох.

Од и Дюпон разговаривали после занятий, — и малая общность в судьбах объединяет, это известно, а они оказались новичками среди учеников.

Кан это заметил, и ему сделалось почему-то неприятно, хотя он не мог сразу понять, почему. Впрочем, посмотрев однажды им вслед, Кан подумал, усмехнувшись, что экологически они далеки: рядом с Дюпоном, напоминавшим танк, Од казалась газелью.

Кан поселился в угловой квартире дома начала века, в стиле венского арнуво, с глазурными виньетками по фасаду. Квартира немного нависала над улицей, подобно средневеко-

вой крепостной башенке. А сама улица была знаменита тем, что русские анархисты тут делали бомбу в конце XIX века — и нечаянно на ней взорвались.

Он лениво разогрел ужин, заключающийся в сосисках с горошком (привычка, усвоенная в Кембридже, когда он был молод), и принялся разбирать свою библиотеку, наконец-то пришедшую морской почтой. Словари, энциклопедии и философские трактаты были слабостью Кана. Но он любил почитать и поэзию, считая ее хранительницей древнего дара пророчества.

Тогда, посмотрев в спину удалявшемуся Кану, Иван двинулся в противоположном направлении. Дорога шла вверх, и вскоре улица кончилась, домов не стало, да и асфальтовое покрытие сменилось песчанистой тропинкой, выведившей на холм и на пустыри, заросшие акацией.

Здесь дышалось легко и сладко, ветер приносил запах сырой глины и прелой листвы. Там и тут виднелись провалы; то были обрушившиеся подземные галереи. На северо-востоке Париж окружен поясом брошенных каменоломен, шириною от сотен метров до нескольких километров. Тут не строят: опасно. Лишь высоковольтные линии гудят над головою, да воры пригоняют автомобиль, чтобы просто бросить или все-таки сжечь.

На пустыре жили люди. Тунисец Мохамед, Альфонс, Отшельник (мы как-нибудь зайдем к нему в гости, если останется время). Некоторое время жил здесь Пьер в своем караване, путешественник и искатель истины: спустя два года рак унес его в могилу. Жил марокканец Джеф в деревянном сарайчике; он в нем и сгорел по оплошности пьяного человека.

Иван шел проведать цыгана Альфонса. Он превратился в оседлого и жил в бараке на границе двух департаментов. Здесь начинался лес Союза охотников и фермерские поля с кукурузой, уже убранной.

Поднявшись на холм (им названный в шутку Фавором из-за одинокости посреди равнины), апатрид созерцал постепенное снижение местности к реке Марне. Черный кустарник, заросли бурьяна, почерневшие на холоде. Черный цвет зимою преобладал.

И над местом нависало серое дождливое небо с лунками и прорывами голубизны, туман, почти скрывший вдали высокий противоположный берег. Островки зеленой травы и желто-коричневой глины вносили свою ноту — надежды, может быть.

Вчера до Ивана дошли слухи, что Альфонс сделался болен, может быть, умер. Его собаку видели бегавшей по рынку с оборванной веревкой на шее. Альфонс обычно приходил к закрытию рынка и убирал мусор вместе с другими. За это он получал — как и остальные, впрочем, три-четыре человека — остатки мяса для себя и своей собаки, а также овощей, иногда неплохих. И денег ему давали немного, которые он немедленно тратил на бутылки с вином.

Так вот, Альфонс не пришел, а прибежала его собака.

И теперь ее лай и подвывание слышались, доносимые порывами ветра. Пошел дождь, холодные жгучие капельки били в лицо, Иван старался как можно ниже нагнуть голову, покрытую капюшоном. Под ногами хлюпала жидкая глина в глубокой колее прошедшего трактора, — откуда он взялся?

Забор, сделанный из досок и всякой всячины, отгораживал обработанный участок земли, где Альфонс выращивал некоторые овощи, лук и зеленый салат, помидоры. В глубине начиналась молодая рощица акации, и перед нею стоял домик, сделанный из остатков всего на свете: дерева, железных щитов, кусков фанеры. Увидев Ивана, собака не залаяла, как обычно, она повизгивала и скулила, словно приглашая войти.

Дверь не была заперта.

— Тут есть кто-нибудь? — кричал Иван. — Альфонс!

Никто не отзывался. Глаза привыкли к полумраку, и он увидел Альфонса, сидевшего посередине хибарки на стуле. Глаза цыгана были открыты, он смотрел на посетителя. Лицо его — обычно бордовое от действия холода и вина — было черным, — того цвета, какой бывает у застарелого синяка.

— Добрый день, Альфонс! Ты что тут сидишь? Ты болен?

Альфонс начал говорить. Нет, не говорить, а хрипеть, — голосовые связки ему не повиновались. Наконец, Иван понял:

— Я не могу пить... — хрипел Альфонс. — Это конец.

Полвека своей жизни он пил каждый день, и вот привычное действие сделалось невозможным. Оно было, повторяемое неизменно, если не гарантией, то хотя бы заверением в его, Альфонса, бессмертии. И вот, подступала смерть.

Вода проникала повсюду. Стояли ведра, ржавые кастрюли, стеклянные банки, в которые капала вода через пробоины в крыше. И даже на столе слышался звук капель, но у Альфонса уже не было желаний и сил подставить какой-либо сосуд. Он сдавался.

— Тебе надо в больницу, — сказал Иван.

— Они приезжали, — хрипел Альфонс.

— Кто они?

— Красный Крест... на вездеходе.

А, вот что значила эта колея.

— Ну и что?

— В больнице умирают... я не хочу...

— Тебе нужны лекарства, горячий бульон и постель!

— Ты думаешь? — спросил он упавшим голосом.

Он боялся и ничего не хотел.

Очень трудно хотеть за другого. Помочь другому легко, если он хочет. Нужно, чтобы он хотя бы хотел.

Как тут быть, думал Иван, пересекая пустырь в ином направлении, чтобы выйти к железной дороге. Применить силу или принять его отрешенность? Вероятно, его можно уговорить, соблазнить, пообещать вылечить и вернуть в привычные обстоятельства. Ах, что-то сломалось в теле Альфонса, и упорство к жизни ушло из души.

Иван прикрыл дверь, но не плотно, и собака, просунув морду, смотрела на Альфонса, скуля, преодолевая страх перед боями, — входить в жилище ей запрещалось. Интересными оставались разные звуки падения капель, в зависимости от формы и наполненности сосуда: легкое эхо из ведер, сухие щелчки о стол, пенье железной коробки и бульканье в банках. Это помогало Альфонсу не думать и не бояться, он слушал и медленно погружался в дремоту, и ему виделся брат, наливав-

ший бульон в тарелку, и жена брата, резавшая колбасу, а он сам уже наполнял стакан вином, чтобы, как прежде, поднести его к устам и выпить залпом, а потом не спешить, радуясь тому, что бутылок несколько, и всё стало по-прежнему. Болезнь ему просто приснилась.

Собака, повозившись, выбрала сухое место и свернулась клубком. И спрятала нос в черный мех на животе.

Иван хотел выйти к железной дороге, чтобы поехать на работу, вернее, на приработок. Он не руководился нуждой в деньгах, — настолько он привык к минимуму, достойному, так сказать, философа. Просто однажды судьба свела его с адвокатом по имени Ив Дюваль де Марн. Он подвез эмигранта на машине, и с тех пор тот стал ухаживать за газоном и садом юриста. И не только его Провидение послало Ивану: были еще и процветающий врач-гинеколог, и профессор Сорбонны, глава многодетной семьи, и одноногий офицер морского флота, живший со своей племянницей, и женщина трудной судьбы, вероятно, владелица в прошлом дома терпимости, и... Иван рассмотрелся всего.

Ив был мужчиной в расцвете сил, миновавший *акмэ*, — так греки называли сорок лет возраста человека. Ему всё удавалось. Симпатичная жена Магали и очень красивые дети Пьер и Лиз, лицеисты. Он владел домом в квартале таких же домовладельцев. Не панельных «павильонов», Боже упаси, а добротных буржуазных особняков начала века. И сад был такой же. Поразительно, до чего жилище, сад и окружающие животные делаются похожими на хозяев!

Мощные заросли кавказского лавра вдоль стен, кусты орешника и кряжистые замшелые яблони, тис и кипарис, залившие своей тенью весь *редшоссе* (первый этаж) и нижние комнаты.

После покупки дома владелец, очевидно, сам занимался садом, это демократично и полезно для здоровья. Да и экономно. У него подобрался отличный инструментарий: косилка, ножницы электрические и такие, превосходные пилы. Все хранилось в отдельном сарайчике, тоже добротном и под че-

репичною крышей. При воротах стояла обширная сторожка, очевидно, когда-то жил в ней привратник. Или, может быть, кучер, Ив Дюваль де Марн не знал с точностью. Он купил этот дом, когда положение его упрочилось после громкого процесса о драгоценностях президента пивного треста.

И, тем не менее, в последнее время в доме чувствовалась какая-то печаль.

— А, Иван, добрый день, как поживаете? — спортивный адвокат сбежал по ступенькам, протягивая издалека руку. — Первым делом, пожалуйста, подстригите газоны, они заросли, потом подрежьте туи при входе, лавр и орешник, и если будет время, покрасьте сторожку при входе. Кстати, если время останется, пройдите наждачной бумагой лестницу на этаж, и потом покройте лаком, и, если останется, конечно, время, подрежьте нижние ветви тиса! Мы едем на теннис, кстати, вы завтракали, если нет — возьмите фрукты и йогурт (род простокваши) в холодильнике, действуйте!

Загорелый, в белых шортах, стремительный и уверенный в словах и жестах. Осторожно выглянул из дома сын Пьер и пробормотал добрый день, а красавица Лиз вышла быстрой походкой, одетая в белую безрукавку и голубые шаровары, и поздоровалась:

— Иван, как поживаете! — тем тоном, когда девушка знает о производимом ею восхищении и испытывает от этого удовольствие. И исчезла, чтобы тут же вернуться в шортах. Как папа. Его пример разрешал и ей поступить так же, больше того, к подражанию приглашал. А Иван переоделся в рабочий костюм, то есть в когда-то выходные рубашку и брюки. Ботинки все те же: грубые, крепкие.

Лиз и Пьер принялись играть в бадминтон на газоне, и папа благосклонно наблюдал за детьми, время от времени поднимая глаза от листов бумаги, разложенных на столе и прижатых гладкими морскими камнями. Иван старался не смотреть в сторону Лиз.

Колени с симпатичными косточками, начинающие круглеть бедра, блестящая кожа, покрытая летним загаром. И погода ис-

правились: это на пустыре идет дождь, а в десяти километрах осеннее солнце щедро светит здоровой французской семье. И правильно делает: они красивы, полны энергии, живы. Чудная Лиз, хохоча, схватила ракетку Пьера и с ней убежала, а потом пряталась за Ивана, строя милые рожицы брату. Горьковатая сладость желания подошла к сердцу одинокого мужчины и не хотела превращаться в бескорыстное любование. Тогда он стал нарочно вспоминать Матильду, ее спокойные движения и весь облик, и его обдало любовью к ней, омыло словно горячей водой. Он завел торопливо косилку, и скоро бензиновые клубы дыма и тарактеные мотора прогнали подростков с лужайки. Кстати, другой хороший инструмент для борьбы с искушением — пылесос с его ноющим голосом скуки. Иван открыл это однажды в Париже, когда работал в квартире одного чиновника. Тамощняя домработница то и дело просила подержать лестницу, пока она сначала снимет с верхней полки кастрюлю, а потом поставит ее обратно. Однажды она покачнулась и, вскрикнув, начала падать. Апатриду пришлось удержать ее за бедра, но лестница в этот момент поехала, и девушка вынуждена была схватиться обеими руками за его шею. Раскрасневшееся лицо с блестящими глазами было совсем близко, и если б не скрежет ключа в замке — это вернулась хозяйка дома — неизвестно, во что вылилась бы сложившаяся ситуация. Ивана несколько ночей мучили сновидения, он просыпался с наполненными упругой плотью ладонями.

Он давно хотел предложить Иву проредить ветви тиса и кипариса, чтобы открыть перспективу сада, сохранив, однако, некоторые ветви, а с ними — и нотку таинственности, что особенно ценится в городе, где взгляду почти нечего искать и угадывать. Ну, разве в подземном паркинге, но ведь там нет никакого романтизма, там плоский страх. Странно, конечно, что такие места не стремятся облагородить, ведь беззаботность души чего-нибудь да стоит, не одни же доллары и евро должны быть в голове, и не только кино. Ив согласился с предложением апатриды. Вот что-то творческое. Твердое смолистое дерево тиса нужно пилить, повиснув белкой в ветвях. Красные ягоды

с клейким соком и чуть сладковатые на вкус. Говорят, страшный яд в зернах ягод — упаси Бог проглотить! Вот образ жизненных искушений, — подумал Иван.

— Мы обедаем в городе, вы нас не дождетесь, — объявил адвокат.

— Ключ я оставляю, как обычно, вечером вашей супруге?

— Ее не будет. Бросите ключ в почтовый ящик.

Ив остановился, размышляя. И потом произнес, глядя мимо:

— Мы разводимся.

— Ах, какая жалость! — воскликнул Иван. Обидно, когда гибнет замечательное произведение, — в данном случае, произведение жизни. Дом и семья, и всё есть, и всё хорошо, и на тебе! И ничего нельзя сделать.

— И ничего нельзя сделать?

— Нет-нет, давно загнило, назрело, так дальше продолжаться не может.

Ничего нельзя сделать. А, казалось бы, у них было место встречи. У живущих вместе всегда должно быть место встречи: постель, например, любимая работа, что еще? Путешествия, слава, или просто собака и кошка.

— Пока, Иван. — Иву почему-то было жаль уходить, и он медлил. — А, перспектива! И в самом деле, хорошо получилось!

Он стоял у окна, глядя задумчиво вдаль. Там бегали Лиз и Том.

— Всего лишь несколько мгновений, — пробормотал адвокат.

Подростки бежали к дому. Лиз все в тех же шортах и белой курточке. И она закричала:

— До свиданья, Иван! Вы завтра тоже придете?

— Нет-нет, я работаю целый день.

— Ну, тогда как получится! До скорого!

Она подбежала поцеловаться на прощанье, как это водится во Франции, точнее, четырежды прикоснуться щекою к щеке. Ивана обдало свежестью, нежностью, юностью, и он с облегчением почувствовал, что отцовские чувства теснят в его сердце мужские.

Он усердно косил траву сада, как делал это уже сотни раз, если не тысячи. Рассудив, что компост обеспеченной семье ни к чему, он снял короб для сбора травы, и ее выбрасывало веером на скошенные круги газона. Она высохнет и исчезнет. Нечаянно он наехал на спрятавшийся в траве холмик муравейника, нож его срезал. Бедные насекомые заматались, бросились спасать микроскопические яйца, утаскивая их под землю. Апатрид, смутившись, подумал с досадой о своем всемогуществе. Он даже сел рядом с местом катастрофы и смотрел на муравьев, ожидая каких-нибудь философских мыслей. Сопоставления с человеческим обществом показались банальными. Один муравей сумел-таки добраться до его руки и впился в кожу, кусая и жертвуя, быть может, собой. Иван отметил, что не чувствует гнева, и подумал, что вряд ли гнев чувствует и Создатель, если человек — муравей в некотором смысле, не так ли — вдруг стал бы Его кусать, например, говоря, что Его нет, что Он умер и прочие глупости. Он дунул, и муравья унесло в траву.

Мэр вышел на крыльцо мэрии валкой походкой тучного человека. Суетливый курьер Гастон семенил рядом, неся палку с микрофоном. Служащие шумели перед входом, аккуратно толпясь в проходах между клумбами. В этом было что-то праздничное: шевелящаяся масса людей, разделенная прямоутольниками лоснящейся земли, только что вскопанной на зиму. Там и тут звучали голоса более громкие прочих, — то заводилы пробовали свое влияние. Народ поднимался на борьбу за справедливость.

— Нет, послушайте, как только возможно такое! — возмутился Патрик.

— Малоимущие всегда страдают первыми!

— А им — наплевать!

Гастон, путаясь в проводах, прилаживал микрофон. Наконец, мэр вскинул голову и обвел скверик перед мэрией долгим взглядом, словно исчисляя силу собравшихся подчиненных. Его дыхание несло через громкоговорители, — дыхание утомленного вола.

— Я очень рассержен! — сказал мэр. — *Очень* рассержен! — повторил он, нажав на «очень». Да и «рассержен» он почти воз-

гласил, так, что голуби сорвались с крыши мэрии и сделали круг над площадью. У всех ослабли колени: кто знает, чем может быть рассержен начальник? Уж не кем-нибудь ли из них?

— Так дело не пойдет! — угрожал кому-то мэр. — Всему есть мера! И теперь ясно, что эта *мера перешла все пределы!* Неприятную новость мне сообщили сразу после совещания по проблемам безопасности. Мы подготовили ряд важных решений, которые значительно улучшат качество жизни! И я тут же принял надлежащие меры!

Стали догадываться, на что намекает народный избранник и начальник, и ветерок облегчения пронесся над головами: он был с ними, трудящимися. Он был за них.

— Зарплата будет привезена завтра, и каждый работник — *каждый и каждая* — получит письмо с извинениями! Спасибо за ваше внимание и понимание.

— А теперь мы можем отправиться на наши трудовые места, — сказал адъютант мэра, получив в свою очередь микрофон, и мэр слегка поморщился. Долголетний — вернее, вековой — опыт ему говорил, что переход между увещанием и отправкой на работу следует делать мягче, искуснее.

В мастерской только и разговоров было о речи мэра, пока их не смела потрясающая новость: Ален получил новое назначение! И не куда-нибудь, а смотрителем кладбища! Такого поворота дела никто не ждал, да и из других служб стали приходить люди взглянуть на счастливирика.

— Он не будет касаться *конверта!* (то есть зарплаты) — волновался Ахмет. — Ему хватит на жизнь одних чаевых! А конверт отправится на банковский счет! И через три года можно купить дом!

И Ален потерял свою обычную флегматичность агностика. Предложение занять место умершего смотрителя, его согласие и назначение произошли практически мгновенно, и он еще летел на крыльях удачи. И как это часто бывает, радость с трудом находила себе выход, настолько к ней мало привыкли, и выливалась в непристойностях. Она почему-то переживалась в терминах гомосексуального акта Алена и мэра, хотя ни тот, ни

другой подобной репутации не имели. Впрочем, двусмысленность коренится в человеческой природе.

Появилась бутылка и пошла по рукам, замелькали скрипучие белые стаканчики. Иван мог уйти совершенно спокойно, в такой толчее он исчезнет незаметно. Никто не хватится его отсутствия, он человек будней.

Иван шел через площадь, мимо векового кедра, наслаждаясь осенней свежестью и синею неба. Бывают же такие дни. Мимо Французского Сувенира, как называется цементный солдат 14—18 годов, бросающий свою гранату в пустоту. Мимо довольно сложной скульптуры, поставленной здесь в разбуженные семидесятые годы: схематичный обнаженный мужчина делал спортивный «мостик», а сверху помещалась женщина, опирающаяся на него животом в позе спортивной «рыбки». В духе стремлений и порывов 68-го. Впрочем, Иван пережил тот год совсем иначе: в Москве начиналась Пражская весна, они там надеялись и мечтали. Парижский май им был непонятен, — как, глядя из тюрьмы, непонятно всенародное возмущение скверной работой транспорта, например.

Переведя глаза на землю, он почти столкнулся с Матильдой. Она тоже улыбалась своим, разумеется, мыслям, нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы принять ее улыбку на свой счет. И все-таки, знаете ли, как знать...

— М...Од! — воскликнул Иван от неожиданности. — Как вы поживаете?

Она смотрела внимательно, стараясь сообразить, в чем дело, и улыбка медленно изглаживалась из уголков ее рта.

— Помните, эта лекция, и еще не заводился автомобиль...

— Вы меня просто спасли! — сказала она и улыбнулась (теперь-то, конечно, ему!). Сердце у него ёкнуло.

— Я не знал, как вас найти, Од... слушайте, предстоит интересный концерт! Хотите пойти послушать?

Она вынула изящную записную книжку, но вдруг спохватилась:

— Простите, так жаль, что у меня нет времени поболтать: меня ждут.

— Скажите, а завтра...

— Завтра у меня занятия английским. Простите.

И руки она не протянула, уходя. В конце аллеи мелькнули плащ и зонт. Их владельца Иван узнал сразу: Бруно, уполномоченный советник по урбанизму, восходивший все выше и выше. Как же так! Его больше не устраивала секретарша, очаровательная длинноногая Полина! И он зажег огонек, и на него летела его бабочка Од! Гм, «его»... Не слишком ли быстро мы начинаем мыслить в терминах собственности...

И зачем ты ему, дорогая, — думал Иван, глядя вслед молодой женщине. Разве ты не видела Полину? Что общего между вами? Разве ты не заметила, как он трется возле мэра и его советников на Празднике уборки винограда (как будто тут есть еще виноград? Но вина, конечно, хватает), вокруг их супруг и особенно дочек? А ты, мой нежный архивариус, какое звено его карьеры ты можешь заполнить, какую ступенькою послужить?

Эти выкладки его немного утешили: ясно, что для вирильного карьериста Од — всего лишь этап. Развлечение, разминка. Увы, и через это нужно пройти. Через всё нужно пройти, это Ивану давно стало ясно, именно пройти и выйти. Но ему самому выпадало служить этапом, и когда это осознаешь, то бывает особенно больно.

Жизнь, о, милый архивариус, не состоит из двух-трех сильных моментов, когда слово «счастье» приходит на ум. Жизнь — это долгая вереница дней нищеты всякого рода: материальной, и это еще полбеды, но вот и сердечной — и это похуже. А нет хуже ощущения пустоты, когда твоя экзистенция никому не нужна, когда ты коченеешь от холода. Тогда придет его время: осторожно взять умирающее лицо в ладони и поднести к губам, ко рту, и напоить тебя дыханием любви. Иван — человек будней, его время всегда приходит, их больше всего в году.

Повиснув на шее Бруно, болтая ногами, Матильда звонко смеялась. Ее колени сверкали белизной в лучах заходящего солнца. Ивану было грустно. Она не осталась с ним, и это еще ничего, но ясно, что ее радость хрупка и кратка.

Ивана опять завораживала предопределенность всего. Судьба, как и прежде, раскрывала ему свои секреты, но на все тех же условиях: Ивану не дано ничего изменить, ни йоты. Стоя рядом с прицелившимся охотником, не имея права ни толкнуть его, ни вспугнуть газель.

Но руки опускать нельзя. Даже нужно предвидеть время прямого, так сказать, действия. И именно после того, как Иван увидел Бруно и Од вместе, он пошел к дантисту.

Собственно, эмигранта тревожил не самый зуб, а его отсутствие в нижней челюсти. Что ж, оно говорило о старении тела. Но главное, что оно обличало Ивана в социальной запущенности. Он был наг социально, это видно с первого взгляда (а как вы знаете, первый взгляд вы бросаете на обувь, второй на прическу. Детали потом, если молния-осмотр удовлетворил. Откровенность взгляда тоже служит шкалой значительности: важных персон вы не им не ощупываете, на них вы смотрите неподвижным внимательным взглядом).

Доктор Ларжо вырывал зубы Ивану и раньше, поскольку социальное страхование оплачивало эту операцию на все сто. Собственно, только вырывание и показалось законодателю необходимым. Но вот желанье Ивана вставить недостающий зуб доктора озадачило.

— И не можете обойтись без него? — спросил он недоверчиво. — Знаете ли, некоторые просто выбирают пищу помягче. Кроме того, не затруднит ли новичок вашу речь? И кстати, при каких обстоятельствах вы его потеряли? Кариес?

Конечно, было бы приятно намекнуть, что он потерял зубы в борьбе с жестоким советским режимом, и отчасти это было так, но лишь отчасти. Главная причина — молодецкое к ним отношение в юные годы, словно то была не хрупкая часть Иванова тела, а слесарный инструмент: разгрызть орех или перекусить проволоку (до сих пор его всего передергивало при этом воспоминании) тогда ничего не стоило! Несомненно, и тут проявление таинственной славянской души. Позже оказалось, что надо платить и за это.

Опытный специалист выяснял осторожно, какие у Ивана ресурсы, чтоб предложить подходящую смету. Социальное обеспечение относится, как известно, к зубам и зрению с пренебрежением. Жизнь среднего француза от них непосредственно не зависит, возиться с ними за счет бюджета не стоит.

Поговорив с дантистом о положении в восточных странах — по сообщениям телерадио, там царили право сильного и разбой, — и, получив *рандеву* ровно через неделю, Иван отправился в универмаг Монопри купить новую рубашку. И нашлась замечательная! Именно такую он представлял себе в детстве, читая у Стивенсона и Дефо о «дюжине рубашек тонкого голландского полотна». Синяя, отбеленная по швам, крепкая, тонкая, — неправда ли, иногда одежда словно хочет облечь ваши плечи и груди, чтоб защитить от непогоды и позвать в путешествие на край света, где, наконец, все и найдется — дом и любовь? Ведь не может так быть, чтоб кончилась жизнь среди жевателей резинки и грызущих орешки перед телевизором?

Рубашка оказалась такой нарядной, что даже кассирша вдруг взглянула на него с любопытством и улыбнулась. Она догадывалась, вероятно, что происходит в сердце стареющего покупателя.

Органист Андре чувствовал себя превосходно в беспорядке книг, нотных партитур, стульев, дивана, лампы со старинным зеленым абажуром. Несколько картин висело на стенах: гуляющие по берегу Марны, вид на стрелку, — там, где Марна впадает в Сену. Натюрморт с яичницей, где художнику особенно удалось яичные скорлупки. И всегда спавшая кошка на этажерке, иногда мяукавшая во сне, может статься, ей снились мыши или кот, появлявшийся в марте на скате крыши напротив.

Старинные настенные часы мелодично пробили шесть вечера, а седьмым был звонок в дверь: это пришел Кан со своей поразительной, почти пугающей австралийской точностью.

— Кан, проходите, располагайтесь, — начал Андре, и тут снова в дверь позвонили. Явился Иван, постоянный наблюда-

тель и почти писатель нашего рассказа. На нем была великолепная синяя рубашка, совсем новая, и даже брюки показались отглаженными (как это ему удалось?), а ботинки были, несомненно, начищены.

— Я вижу, my dear friend, вы хотите показаться кому-то привлекательным? — улыбнулся Кан, тронутый усилиями Ивана. — Ошибусь ли я, если предположу, что речь идет о той женщине?

Иван, грустно улыбаясь, вздыхал.

— О да, житейское нас влечет и тащит, — сказал Андре. — Хотите что-нибудь выпить? Соки, вода, портвейн, уиски? Иван, чаю?

— Как же так, чаю! — хмыкнул Кан. — А водка?

Иван помотал головой:

— Не все русские пьют водку. А я ее ненавижу: это запах пьяного дяди, ползающих соседей, пятна рвоты в подъезде, — нет, господа, увольте! И лежащие на улицах в день зарплаты, словно мертвые на поле боя.

— На поле боя жизни, — задумчиво вставил Андре.

— Слушайте, а Достоевский, Толстой, Бердяев? Наконец, Дягилев с его балетами, Стравинский с его Петрушкой? — Кан сыпал сюжетами, как из капиталистического рога изобилия. — Не будете же вы отрицать...

— Кстати, о Стравинском! — вспыхнул Андре. — Какая странная музыка! Качество, блеск, современность — и в то же время ничего более вульгарного в музыке я не знаю.

— Она под стать теме: возрождение язычества. Пляшет восставшая плоть, торжествует и попирает.

— В конце концов, во всем есть свой смысл, — сказал примиряюще Кан. — Даже в Петрушке с его Стравинским. И, по моему, главное не в содержании — например, нашей беседы, — а во встрече. Нам почему-то приятно наше общество.

— Понятно, почему, — сказал Иван. — Один человек смертен, а втроем — мы уже человечество, а оно бессмертно. Поэтому люди стремятся быть вместе хотя бы в кафе, и...

— Мне скоро нужно идти, — предупредил Андре. — Месса.

— Видите, как все буднично, — заметил Кан. — Взглянув на часы, услышав будильник, придется зевнуть и пойти служить великому Богу. А где обещанный трепет и обильные чудеса?

— Видите ли, дело в том, что символика, эмблематика...

Ивану было неприятно это услышать.

— Мы живем во время, когда мысль перестала гореть, она теперь — паразит на биении сердца предков.

— Быть может, она исчерпалась?

Они шли по лестнице вниз.

— А как ваш английский, гуру Кан?

— Вери гуд. Пришли двое новеньких, начинающий министр и молодая женщина. Он — танк и волк, а в ней есть мягкость и, скажем прямо, изящество. Типичное изящество француженки, ну, вы знаете, этот шарм, не нуждающийся в особенной красоте, даже, может быть, от нее он погиб бы.

— Иван, вы согласны с нашим австралийским другом? Та, о которой вы мечтаете, отвечает подобным критериям?

— Я об этом не думал. Мое восприятие женщины... впрочем, он прав: изящество, шарм. Это продукт встречи юга и севера: живость юга, рассудительность севера, бег и медлительность. Не знаю: вы застали меня врасплох.

Ивану казалось, что Кан говорил о людях, которых видел и он.

— Слушайте, если хотите — оставайтесь, я быстро, — сказал Андре. — Послушайте проповедь: многие приходят ради нее.

Неф церкви был довольно наполнен. Впереди люди сидели густо, затем головы редели и лишь три и четыре поднимались над стульями в последних рядах. И тут уселись наши знакомые. Солнце пронизывало витражи, и огромный фиолетовый крест окрашивал сумрак в свой цвет.

Иван был немного печален: с тех пор, как рядом с ним образовалось место для Матильды-Од, занять которое она не спешила. И неясно, займет ли когда-нибудь.

Внимание ассамблеи ошутимо усилилось. Проповедник стоял перед пюпитром, словно собираясь с мыслями и призывая к сосредоточенности.

— Мы живем в особенное время, — начал он негромко. — Не случайно многие говорят: такого мы не ожидали, мы и не думали, что придет однажды подобное время! И вот она все-таки наступила, эта ни на что не похожая эпоха. И наша реакция — человеческая прежде всего, понятна. Да и трудно ожидать иной, ведь все мы созданы из плоти и кожи. Разумеется, нам хотелось бы избежать непоследовательности, всего того, что могло бы неблагоприятно отразиться и на нас самих, и на наших близких, и на странах третьего мира. Однако поставим вопрос прямо и честно: *franchement**, сделали ли мы все, что могли? Учли ли все обстоятельства? Я полагаю, что всякий непредвзятый человек ответит: нет! Наверняка есть слабые звенья в нашем анализе! Есть еще гласные и согласные, которые мы не использовали!

Проповедник сделал паузу. Напряжение аудитории достигло предела. И даже Кан подался вперед, стараясь не пропустить ни одного поворота диалектической мысли. Андре, закрытый буфетом органа, отбрасывал сложную тень на трубы; вероятно, он читал книгу.

— Как же нам быть? Некоторые скажут: ну, тут от нас ничего не зависит. Что мы можем сделать? Претендовать на то, чтобы влиять на события — не значит ли баюкать себя иллюзиями? *Franchement!*

Иван терял нить рассуждений. Французский не был его родным языком, этого нельзя забывать. Да и грусть, свившая гнездышко в глубине его сердца, хотела иных тем. Он подумал, что раньше, до встречи с Матильдой, он был если не счастливее, то спокойнее в своей отверженности. Ее появление осветило страницу его жизни, — быть может, всю оставшуюся главу. И оно же стало источником печали.

Вы заметили, что наш город-пригород одним своим краем выходит к пустующим километрам с провалами бывших карьеров и высоковольтной линией. Часть места заняли свалки строительного мусора. Еще недавно бросали и пищевые отходы, что

* Искренне, откровенно (*франц.*)

привело к обильному размножению крыс. Стали происходить коллективные нападения этих умных животных на кошек и кур. Жители лимитрофных улиц потребовали запрещения свозить сюда съедобную дрянь. И спустя десять лет победили.

Попадались также плакаты, запрещавшие вход на пустырь ввиду опасности обвала. Впрочем, были и другие плакатики, — о том, что территория принадлежит Охотничьему клубу.

Из города вышли два человека. Асфальт почти сразу сменился размытой проселочной дорогой. Похоже, они знали местность: они углубились в заросшие акацией проходы между холмами и затем свернули на почти неприметную тропинку, утонувшую в молодых зарослях все той же акации, — как известно, превосходно растущей на известковой почве, — и вышли к глубокому провалу. На его краю стояло небольшое кирпичное здание кубической формы, а вниз полого спускались ржавые рельсы колеи вагонеток. То была пришедшая в негодность шахта.

Провал они обходили по краю, мимо кустов жимолости и огромного куста орешника, и старой замшелой яблони. Как ни странно, и орешник, и яблоня были ухоженными, с подрезанными ветвями. Дальше идти становилось все труднее. Они уперлись в колючий завал из ветвей акации, терна и шиповника.

Пришедшие двое были молодые мужчины. Один из них, с бородою, громко позвал:

— Эй! Э-э-эй!

Никто не отзывался.

— Может быть, его нет, — сказал молодой безбородый.

— А нельзя ли подойти с другой стороны? — спросил молодой бородатый.

— Час ходьбы обходить.

— Позови еще.

Молодой безбородый принялся кричать:

— Эй-о, эй-о!

Они не знали, что на них давно уже смотрят глаза человека, сидевшего за колючим валом веток. И теперь он выпрямился и показался им.

— Привет, Ашер, — сказал он.

— Салам алейкум! Можно зайти к тебе в гости?

Человек кивнул и отодвинул в сторону связку терновника. Обнаружились прорезанные в склоне ступени, по которым гости взойшли.

— Это мой друг Али, — представил Ашер молодого борода-того. — Он слышал о тебе и пришел говорить. Если ты согласен, конечно.

Житель пустырей смотрел внимательно. Смотрели на него и пришедшие. В городе он вполне сходил за клошара. Но тут, среди зелени и солнца, в тяжелых ботинках, в поношенных изрядно джинсах и рубахе, подпоясанный ремнем, он производил иное впечатление. Его бороды и волос ножницы касались не слишком часто. Иван называл его Отшельником, но населению он был больше известен под именем Натурист.

— Ты верующий, — сказал Али.

Отшельник кивнул. Он видел в глазах нового знакомого особенную тревогу, ту, которая заставляет молиться. Беспокойство молящегося, встревоженного до глубины души Молчанием. Ясно было, что речь пойдет о фундаментальных вопросах, иначе и незачем к нему приходиться.

— Бог говорит через своих пророков, — сказал Али. — И последний по времени пророк — наш Магомет. Он принес последние новости от Бога, и его следует слушать.

Отшельник не отвечал. Молчали и гости. Наконец хозяин места медленно заговорил.

— В мире много посланий и пророков. Но есть религия, основатель которой назвал себя сыном. Так указана степень близости к Богу, не превзойденная до сих пор. Это важнее, чем раньше или позже.

— Как же так! Как можно быть сыном Бога? — тут же начал раздражаться Али. — Просто глупо! Посмотри, куда привела ваша нелепая вера! Крутом разврат и преступность!

Отшельник молчал.

— А мы против разврата! Ты разве за него?

— У Исаака родились два сына, Исав и Иаков, — уверенно-весело начал Отшельник. — Исав был волосатый, а Иаков — будущий патриарх и родитель двенадцати — имел гладкую кожу. Первым вышел из чрева Исав, а вслед за ним Иаков, его близнец. Иаков вышел, держась рукою за стопу Исаву. Это образ истории. За волосатым временем жестокости следует гладкое время мира и знания.

На мгновение посетители присмирели, настолько сказанное было логичным и ясным. Но потом возбужденье вернулось.

— Ну, объясни мне, если можешь! — яростно говорил Али. — Неужели и ты веришь во все эти сказки, которые рассказывают по телевизору? Бог создал землю и все остальное в шесть дней! И каждое утро восходит солнце! Почему я должен им верить, что Земля вертится? Докажи, если можешь!

Такого поворота Натурист не ждал. Как доказать, не сходя с места? И почему не сделало это народное образование? Оно ведь обязательное в этой стране?

— Во-первых, Земля круглая, — начал он примирительным тоном, — круглый почти шар, — вспоминал он напряженно рисунки в школьном учебнике, где сначала дым показывался на горизонте, потом труба и, наконец, пароход. — Если б ты находился в самолете...

— Вот именно, в самолете, — вмешался Ашер. — Когда ты в самолете, то дело другое. Самолетом можно делать великие дела!

— Маятник Фуко! — вдруг вспомнил Отшельник. — Ты можешь видеть в Париже маятник Фуко! Этот опыт доказывает, что Земля вращается вокруг своей оси.

— Вы едите свинину, — не сдавался Али. — А в вашей книге сказано прямо: не ешь свинины! Не ешь!

— Я не ем мяса, — сказал Отшельник. — Вы хотите покушать со мной?

Практические вопросы несколько успокоили взрыв, вызванный различием доктрин. Отшельник предложил на обед молодые побеги крапивы, сваренные в воде и политые оливковым маслом. И сухой хлеб. Подобная скудость была аргументом, Али и Ашер это почувствовали, и не знали, как возразить. В такой

нищете долго не проживешь, если ее не дополняет что-то такое. К этому «что-то» и хотелось приблизиться.

— И что же это за маятник? — осторожно спросил Али.

В наступавший уик-энд очередь иметь детей была за матерью. Ив Дюваль де Марн отвез их к Терезе, и теперь не торопясь возвращался. Он даже зачем-то заехал в центр города и посидел в кафе за чашечкой кофе. Из окна был хорошо виден знаменитый ливанский кедр, 350-летие которого недавно справляли. Праздник затеяли экологи; пришлось приехать и мэру и произнести речь о зеленом богатстве Франции. И Ива пригласили, и охотничий клуб, и филателистов, и всех.

Ив подумал, что поступил опрометчиво: нужно было предвидеть отсутствие детей и организовать что-нибудь. Вылазку, встречу, поездку. Знакомых, которым можно позвонить и приехать, у него не было. Да и не принято импровизировать у людей комильфо. Нечаянный звонок намекает на бедствие, а оно разительно, это знает любой деловой человек. От терпящих бедствие нужно немедленно отойти. Во всяком случае, выждать.

Адвокат вспомнил о подчеркнутом к себе внимании со стороны девушки-юриста, стажера. Он даже подумал, не порыться ли в бумагах насчет ее телефона. Но и тут приличнее позвонить предварительно, поболтать о том и о сем и затем предложить продолжить общение.

Рациональнее всего заняться делами, хотя ничего интересного не было, все пустяки. Кража саженцев в питомнике города, незаконная выемка гравия в карьере, или вот еще драка в казарме, дело, запутанное донельзя, когда одному парашютисту сломали руку. Точнее, будущему парашютисту: рана помешала ему совершить дипломный прыжок. И он подал в суд. Скучая, Ив смотрел на пустынную улицу и увидел, что молодая женщина в телефонной будке испытывает затруднение. Поймав его взгляд, она заулыбалась и стала показывать монету, пожимая недоуменно плечами. Иностранка не знала, что монеты давно упразднены из-за постоянных взломов и что нужна карточка. Ее-то Ив и вынул из кармашка бумажника и помахал в воздухе,

а потом протянул в ее сторону. Она понимающе кивнула и направилась к двери кафе.

Ив почувствовал удар жара. Впрочем, профессиональное умение владеть собой пригодилось ему и тут, и когда иностранка оказалась у столика, он улынулся и пригласил ее сесть. Ей было лет двадцать пять, не больше. После смешных попыток объясниться выяснилось, что легче всего им это делать на английском. Ив помнил многое из школьного курса, а женщина прямо-таки говорила на языке Шекспира. И неудивительно: она была немка, схавшая домой из Лондона в Дюссельдорф через Париж. Где-то в окрестностях у нее есть знакомые, но она не может до них дозвониться. А ей хотелось бы задержаться на день или два.

— *Плиз, но проблем,* — сказал Ив. — *Ай бринг ю ту май хоум, ай хав телефон.*

Ее звали Эльза.

Рюкзак был положен в багажник. Эльза, смеясь и болтая — чересчур быстро, чтобы Ив что-нибудь понимал, — уселась рядом с ним и тут же похвалила марку автомобиля, а через минуту, когда они проехали квартал, похвалила и умение Ива водить машину. Она даже добавила жест, подняв вверх большой палец.

Иву было приятно. За годы семейной жизни он привык к постоянной критике. И вот, пожалуйста, хоть что-нибудь он умеет. Но машину он и вправду водил хорошо.

Ворота открылись автоматически, и Ив въехал во двор по хрустящему гравию.

— Ты здесь живешь? — удивленно спросила Эльза. — Один?

— Со мною дети, но сегодня они у матери.

— А! Понятно.

— Пожалуйста, проходите. Послушайте, если ты... вы... ты...

Эльза засмеялась:

— Ты, у тебя, с тобой! Окей!

— Если уж мы здесь, то давайте поужинаем?

Эльза согласно тряхнула головой, ее золотистые волосы разлетелись.

В ней были легкость и быстрота, заражавшие Ива. Впрочем, беспокойство зашевелилось в печенках. Он даже подумал, что предпочел бы видеть на месте молодой Эльзы свою сорокалетнюю полнеющую — несмотря на все притирания и сухарики — Терезу. Но Эльза школьницей не была, это ясно. Она приближалась к тридцати.

Ив поставил куски мяса в духовку. Стол он накрыл в гостиной, словно столовая еще оставалась священным семейным местом. А гости могут откусать в гостиной.

— Хотите что-нибудь выпить? — спросил адвокат.

— И типично французское! — сказала Эльза, немного жмурясь, отчего припухлость вокруг ее глаз увеличивалась.

— Кир, например?

— Например!

Эльза сказала, что она очень соскучилась в Лондоне по Дюссельдорфу. Точнее, в Кембридже, где она изучает английский и преподает немецкий. И какие англичане зануды. (Тут Ив удовлетворенно хмыкнул.) И какой там противный туман, гораздо хуже немецкого. Ив понимающе кивнул и предложил выпить на брудершафт. Гостья охотно продела свою руку в кольцо, образованное рукой адвоката. Они опустошили рюмки, а потом лицо женщины оказалось совсем близко, и ее приоткрытые влажные губы (она быстро их облизала). Адвокат поцеловал их осторожно, а Эльза ответила на поцелуй энергично, она даже произвела звук удовольствия, что-то вроде «mmm».

Иву этот звук очень польстил. Легко и просто, без всякий усилий он нравился миловидной женщине. Фактом своего существования, удобством устроенного быта. Он чувствовал, что его жизнь качнулась куда-то, не сказать в пропасть, но уж конечно в неизвестность. Он вспомнил, что в молодые годы, когда предполагалась встреча с Терезой, он пользовался таблетками «кис куль», и сейчас пошел их искать. А тем временем свет в гостиной сделался приглушенным, и приятная расслабляющая музыка звала забыть обо всем (кроме, разумеется, самых важных дел, точнее, дела о разводе директора гостиничного

* Kiss cool (англ.)

концерта, которое приносило Иву достойный доход вот уже одиннадцатый год). Легко касаясь слуха, виолончель Ростроповича удаляла из сердца горечь семейной неудачи и экзистенциального поражения.

Ив подумал, оправдываясь перед кем-то, что этот жизненный опыт ему необходим: ему легче будет вникать в детали семейных драм и бракоразводных процессов, особенно если обнаруживались любовные перипетии тяжущихся сторон. Они казались ему почти выдумкой и обычно раздражали. Оказывается, бывает.

И он, присев рядом с Эльзой, взял ее руку. Размягченная пищей, теплом и событиями дня, женщина улыбалась, рассматривая на него с любопытством. Ив, привлекая ее к себе, потянул за руку, она вынуждена была податься к нему и опереться на его колено. Адвокату стало там горячо, и стрела желания пронзила его насквозь.

Снова ее губы оказались совсем близко, а также ее глаза, как теперь стало видно, слегка подведенные. Движением руки остановив его приближение, она сказала:

— Мой рюкзак остался в машине.

Адвокат перевел дыхание. Пришлось оторваться и выйти внутренним коридором в гараж, минуя неприметную дверь, в действительности стальную. За нею хранились произведения искусства: Ив следовал совету экспертов и помещал деньги в творения, иногда и не дорогие, но звезда авторов которых восходила, и произведения тоже росли в цене, подобно некоторым винам. Недавно он перекупил знаменитый рисунок Кульбака «Умиленный кондотьер» и маленькую бронзовую «Обечку в пейзаже» Лежена, и был очень доволен.

Ив вынул рюкзак из машины и понес его в дом сам, по-рыцарски.

— Я положу тебя рядом с гостиной, — сказал он.

То была комната для гостей, *спеарум*, как называл ее Ив в то время, когда ею еще пользовались. Ныне она пришла в запустение, и даже проходящая женщина перестала проходить

тут пылесосом. «Комната для пик», если выразиться, несмотря на глобализацию, по-французски.

— Комната для пик, и ни одной... пики! — раскованно пошутила Эльза.

У адвоката сосало под ложечкой, и холодок проскакивал мимо сердца, когда он принес свежие простыни, и гостья беззаботно помогла ему застелить постель, становясь на колени и выгибая спину, стараясь дотянуться до края матраса.

Потом она вынула из рюкзака мешочек и еще что-то, вероятно, пижаму, и расстегнула пуговицу джинсов. И оглянулась на Ива. Хозяин не знал, как ему поступить.

— Спокойной ночи, — сказала она, подойдя совсем близко и целуя адвоката. Ив подумал, что ему лучше уйти. И он поднялся к себе со смешанным чувством облегчения и разочарования. Правда, он не спешил улечься, несмотря на усталость. Он долго чистил зубы, рассматривал свое лицо и убеждался, что в нем появился новый штрих: две еле заметные складки, сходящиеся к уголкам рта миной хронического уныния, как бывает у некоторых собак. Его удивила розовость щек, — и правда, они немного горели, как когда-то, когда он ждал Терезу в спальней.

Ночью он носил пижаму, состоявшую из штанишек и длиннополой рубашки. Он, наконец, покинул ванную комнату, огромную, светлую, богато украшенную разноцветным кафелем, словно восточный дворец. Паркет приятно поскрипывал. Он почему-то оставил дверь в спальню приоткрытой, испытывая удовольствие и опасение. Перевернув двадцать раз подушку, он нашел, наконец, удобное положение для головы. И тут до него донесся голос Эльзы.

— Ив!

Адвокат вскочил, словно пожарник по тревоге.

— Я не могу справиться с отоплением!

Ив пошел вниз с бьющимся сердцем. Он почему-то вспомнил недавнюю статью в юридическом журнале, трактовавшую запутанную проблему презумпции невиновности. В конце концов, все невиновны, — был смысл этой статьи. Ибо общество до сих пор не достигло равенства на старте жизни. Вот вы его

достигнете, писал автор, тогда и говорите о вине, арестовывайте и судите молодых людей.

Он открыл дверь в комнату для пик, и в тот же миг лампа у изголовья кровати потухла.

— Ай! — засмеялась в темноте Эльза. — Теперь и с электричеством что-то случилось!

И правда: в ее голосе звучало напряжение.

Разумеется, Ив знал, как устроен его дом, он мог пройти его вдоль и поперек и на ощупь. И сейчас он осторожно пошел прямо, протягивая руку. Она коснулась чего-то гладкого и теплого, и оно вздрогнуло от прикосновения. Это было, как постепенно сообразил Ив, бедро Эльзы. И не только оно.

Утро застало Ива в его спальне. Бодрый, спортивный, он вскочил и размялся, а потом проделал несколько упражнений с гантелями. И затем заторопился завтракать и ехать в город на аукцион. Пропустить его не хотелось: знакомый эксперт утверждал, что на торги будет выставлен настоящий Кандинский, если не Шагал, но ранний, еще предметный, и никто не знает, что это Кандинский, да и сам он, эксперт, узнал об этом случайно только вчера. Судя по официальной оценке, никто ничего не знал.

Ив открыл тяжелую дверь подвала и проник в свой Лувр. По углам стояли огнетушители, комната была оборудована распознавателем дыма и прямо связана с пожарниками и полицией. Только знающий код мог включить и выключить эту связь. Гвоздем коллекции Ива была знаменитая «Либерасьон II», признанный шедевр 50-х и ныне стоивший почти столько же, сколько сам дом. В материальном выражении он представлял собой писсуар устаревшей модели со специальным кармашком для льда, распространенный в Нью-Йорке перед Великим Кризисом. От него, кстати, пошло выражение *piss on ice*, то есть «вести роскошный образ жизни». Такой писсуар позволяли себе лишь богатые рестораны и отели. Франк Синантроп его обожал.

Это важно для понимания генезиса произведения, тоже элитарного, вышедшего за пределы вульгарного эстетиче-

ского конвенционализма. Иву было неловко вспоминать, что он просто не заметил шедевра, приняв его за санитарное оборудование. Впоследствии он познакомился с известным трудом Клемана Бербенно, установившим все точки над *i*. Разумеется, рынок последовал влиятельному критику в установлении цен.

«Либерасьон II» стоял величаво посреди комнаты на специальной подставке из красного дерева. Пересекавшая его трещина символизировала хрупкость всякой свободы в современном мире, а отбитый кончик носика — ущербность человеческой экзистенции, потерявшей ориентиры и упорно движущейся к своей гибели. Глубина произведения была поистине неисчерпаемой. В конце концов, благодаря ему Ив приобрел реноме в мире искусства: всякая репродукция произведения сопровождалась пометкой мелким, но четким шрифтом: «Коллекция Дюваль де Марн».

Стараясь не шуметь, он прошел мимо комнаты для пик, где безмятежно спала Эльза. В гостиной тут и там лежали ее вещи, из рюкзака торчал плюшевый мишка, и юриста это тронуло. Он даже заколебался, уходить ли, и вернулся с полпути. Эльза спала, разметавшись на постели, и он, подкравшись, поцеловал ее... гм, глаза разбегаются при виде стольких возможностей! Ну, так и быть: в ямочку на спине. Женщина зашевелилась и проговорила что-то по-немецки сонным голосом, и затем потянула на себя одеяло. Этот обычный жест Терезы оступил Ива. Он вышел из дома и захлопнул дверь.

Советник по урбанизму Бруно чувствовал подчас стеснение рядом с мадам Пешмор, как, например, вчера на представлении проекта благоустройства бывших карьеров. Рядом с ним сидела довольная Од, и от делегированного архитектора не ускользнуло, что умерла мина приветливости на лице могущественной дамы. А многие уже видели представительницу департамента министром и даже президентом, если б не Салический закон, сохраняющий влияние почему-то и в республике (если вы случайно не знаете, — он запрещает женщинам занимать королевский трон.) И проект, которым руководил он,

Бруно, неожиданно натолкнулся на критические замечания весьма острые, хотя и не вовсе несправедливые. Однако критика мадам Пешмор все больше не хотела считаться с чрезвычайными трудностями местности. Мало того, что почва изрыта и изобилует провалами, сами политические интересы завязались в настоящий Гордиев узел. Мэр так и сказал: «В нашей коммуне обнаружился сложнейший Гордиев узел», так, что из публики даже спросили: «Простите, чей?» Все хотели своего. Город — застроить и использовать, экологи — чтобы все оставалось по-прежнему, потому что это место единственное в Ильде-Франс (как зовется парижский район), где водится редкое насекомое богомол. Охотники также хотели *статуса-кво*, смыкаясь с экологами, несмотря на то, что те требовали запретить всякую охоту на территории департамента.

А между тем «железная Леди», как лестно и льстиво называли мадам Пешмор, превращалась в очаровательную почти шаловливую женщину, когда она встречалась с Бруно наедине. От острого ума предпринимателя эта двойственность не ускользала. Он считал ее в порядке вещей и даже видел тут шанс побыстрее шагнуть на следующую ступеньку карьеры.

Признаться, он не придавал особого значения своей связи с Од. Ему льстила привязанность молодой женщины, ясно, что она в него влюблена, а это не каждый день, даже и редкость. Пешмор интересуется им совсем по-другому, скорее как потребительница. Од его немного раздражала своей мечтательностью и интересом к вещам, не обещавшим рентабельности. Искусство, какие-то манускрипты, явная склонность к строительству семейного гнезда, хотя для него нужно еще таскать и таскать материалы! Если действительно хотеть комфорта, а не так, что лишь бы поставить кровать и стол.

Поскольку Од скорее склонялась остаться, чем идти на важный и скучный прием, Бруно этим воспользовался.

— Ну и прекрасно, — сказал он. — Мне нужно там быть обязательно, ты понимаешь, это важно для дела. Я покажусь и быстро вернусь.

Чертыхаясь, он перевязывал плохо завязавшийся галстук.

— И потом, там будет Пешмор, ты понимаешь, ты сама женщина. Ей приятней и легче помочь мне с проектом, если... ну, не делай такую мину: ты же понимаешь, это нужно не только для меня, но и для тебя!

Од держала в руках книгу. Она вдруг почувствовала испуг, словно в гладкой доселе поверхности отношений пробежала трещинка, и она была в этом сама виновата, снова сама она, как прежде с другим, и не раз! Но ведь Бруно говорил здравые вещи, вернее, логичные, так живут и действуют все.

— Если я задержусь, то поеду к себе, — сказал он. — Чтобы тебя не беспокоить.

И чмокнув ее мимоходом в щеку, он вышел. Она видела через занавеску, как он сел в машину и тронулся с места резко, по-спортивному, завизжав колесами. Далекий всплеск душевной паники Од испугал. Нужно кому-нибудь позвонить, поболтать и отвлечься. Сестре, например, переехавшей жить в Эльзас. «Потому что там люди страдали больше и стали добрее». Но ей было неловко искать сочувствия и совета у сестры, всегда удачливой, любимицы родителей. Не позвонить ли Камиле — лучшей подруге? Нет, это последнее дело — жаловаться подруге на любовные трудности. Это определенно не советуется в путеводителях любви, и, кстати, кем? Од вспомнила об «Искусстве любви», когда-то читанном — и внимательно — в студенческие годы. Овидий должен помочь ей. Он, конечно, поможет, античный поэт и знаток женщин! И мужчин! В его сборнике целый раздел посвящен ловкам любящей женщины.

Од устремилась на поиски. Книга была где-то здесь, разумеется, в ее библиотеке, рассованной по квартире. Книжные островки расположились повсюду. «Искусство любви» обнаружилось под ножкою этажерки. И кто туда засунул его? Од наудачу раскрыла. «Пусть твои жесты будут редкими и сдержанными, если пальцы толсты, а ногти не слишком гладки, — писал римлянин. — Та, чье дыхание жарко, не должна говорить натошак, но держаться на расстоянии от мужчины, с коим она говорит. Если зубы твои черны, слишком длинны и неровны, ты причинишь себе убыток, смеясь». Од бросилась к зеркалу.

Из него выглянуло милое испуганное личико. По щекам ползли две слезинки.

Жоjo догнал медлительный грузовик на пронираливом пикапчике «Рено» и велел немедленно ехать на кладбище, на помощь Алену. Они развернулись и поехали. Правда, пришлось остановиться «У Робера», чтобы вылечить Чарли от депрессии, которой он страдал после вчерашнего перепоя. Стаканчик пастиса вызвал слабую улыбку на его чернокожем лице, а второй оживил. И другие приняли участие в борьбе с депрессией, с дурными новостями из всех уголков земного шара, с последствиями взрывов и ураганов. В конце концов, не так уж плохо жить во Франции!

Но вот некоторые умирают, подумал Иван, помогая Алекси-су заезжать в кладбищенские ворота задним ходом. Дело оказалось несложным. Назавтра предстояли похороны, а в семейном склепе усопшему не хватало места. Ален уже перенес кости предыдущего покойника в яму с известкой; им предстояло погрузить еще замечательно крепкий гроб и избавиться от него приличным способом. Например, сжечь на пустыре.

Ален выглядел неважно. Красно-фиолетовые круги под глазами говорили о том, что легкие деньги не впрок, что подчас недостаток средств нас бережет от чрезмерного потребления, прежде всего алкоголя. До мэрии уже дошли протесты: новый смотритель не следит-де за состоянием могил, бумажки и мешочки из супермаркета валяются всюду. И даже его сторожка оказалась запертой в часы открытия.

— Ты знаешь, некоторые недовольны, — сказал Ахмет.

— Таковы люди, — пофилософствовал Ален.

— На это место много желающих, — сказал Чарли.

— Поехали, ребята, — торопил Марк. — Возьмите бензина и поехали. На сегодня еще есть работа в парке, там сломали скамейки.

— «Вечное владение», — прочел Алексис надпись, выдавленную в цементе склепа. — «Вечное» — это как?

— Тридцать лет, — сказал Ален.

— Немного для вечности!

— Все в мире относительно, мой юный друг.

Как это вечное может быть относительным, почти возмутился Иван, однако ничего не сказал, чувствуя, что коллеги останутся равнодушны. Они отперли тяжелый замок на воротах карьера, и грузовик въехал на дорогу с остатками тощего асфальта, затянутого глиною и песком. Акация заглушила здесь всю остальную растительность, молодые побеги пробивались через трещины покрытия. Воробьи прыгали в поисках корма. Всюду жизнь.

Местность делалась все менее приветливой. И неудивительно: земли здесь было немного, сорок-семьдесят сантиметров поверх мусора свалки. Тут царствовали буйные заросли шиповника. Голый красный холм глины, явно искусственного происхождения, возвышался вдали. И на нем виднелась неподвижная человеческая фигура.

— Натурист, — равнодушно сказал Чарли.

Грузовик приблизился к роще акации, за которой прятался барак Альфонса. Раньше немедленно послышался бы собачий лай. Но теперь все было тихо.

— Так что Мусташ? — спросил Ахмет. «Усы». Это было еще одно наименование Альфонса, которым он чрезвычайно гордился. Вернее, он гордился усами, как может гордиться человек своими успехами. Иван иногда думал, что Альфонс держится в жизни за две вещи: за бутылку вина и за свои усы. Как все мы, впрочем, хотя наши усы и бутылка могут выглядеть внушительнее. Диплом научного исследователя, например, коллекция современного искусства. Но и усы Альфонса — кое-что. Упомянем и их, не пропадать же им вместе с хозяином.

Марк хотел сбросить гроб на землю, но раздумал, и велел Чарли и Ивану спустить его на руках. Тяжелый, дубовый, с бронзовыми ручками, отсыревший, загорался он неохотно, так, что даже политый на него бензин выгорел, а он едва тлел.

— Все-таки странно человеческое исчезновение! — вырвалось у Ивана.

— Что тут странного? — недоуменно спросил Чарли.

Ахмет наблюдал за их действиями с заметного расстояния.

— Да, пожалуй, — согласился с Иваном Алексис. — Но ведь все не исчезает? Мой отец говорит, что все не исчезает, что есть душа.

Чарли присвистнул.

— И где же она? Все это глупости! — Он потянулся подтолкнуть ногой доску, отпавшую от общей горевшей кучи, и вдруг, сделав пируэт, словно поскользнувшись другой ногою, шлепнулся задом в грязь. Коллеги взорвались хохотом.

— Вот так, глупостей не говори! — сказал Марк, отсмеявшись и вытирая выступившие слезы. Чарли, чертыхаясь, вытирал зад пучком сухой травы.

Оставив головни догорать, они ехали прочь по той же ухабистой размытой дороге, мимо сваленных бетонных обломков. На холме стояла одинокая фигура Натуриста. Или Отшельника, если предпочитаете. Он смотрел вдаль, поверх грузовика и деревьев. Иван тоже любил приходить на этот холм и знал, что он видит.

Долина колоссальных размеров с рекою, но воды скрыты домами. Русло отмечено извилистою лентою зелени. А излучина блещет на солнце. Противоположный склон обильно застроен павильонами и гроздьями блочных зданий. Оттуда еле доносится гул Восточной автострады, проходящей за гребнем, по равнине.

Отшельник спокойно смотрел на долину, заполненную голубоватым воздухом. Здесь дышалось легко, и он любил приходить на холм, названный им горою Фавор. Зимой вся местность приобретает оттенок торжественности и величавости гибели: черные кроны деревьев, черные остья травы. Он подумал, что его жизнь достигла предельной ясности, за которой ждать уже нечего. Уже нужно явление Бога, чтобы завершить великий эксперимент. Но Бог медлил. Не приходил, несмотря на обещания учителей и аскетов разных столетий. Это его чуть-чуть удивляло.

Он спустился с холма в сторону громадного отверстия в склоне. Тут начиналась большая галерея, уходившая под землю на сотни метров, где он иной раз скрывался в особой «точке молчания», как он ее называл, чтобы проверить, не зовет ли его к себе вечность. Тишина тут стояла предельная. Жизнь тела

делалась невыносимо громкой и шумной: стук сердца, работа легких, шорох крови в артериях. Постепенно все замедлялось, удары сердца делались реже, и тогда приходило странное наслаждение — бытием, думал он. И всё. Великий Бог молчал.

Он пошел по тропинке к себе. Перед ним выскочила и побежала, кудахтая, фазанья курочка, еще одна. Они бежали, ища, где броситься в сторону и скрыться в траве и кустах. Охотничий клуб привез и выпустил птиц, на которых предстояло охотиться его членам, а дичь, спасаясь, ушла из леса, что в трех километрах, сюда на пустырь, под покровительство Натуралиста.

Обнаружился и человек. Этот жадно срывал оставшиеся ягоды ежевики, незрелые и даже загнившие, и ел их. Он был так увлечен, что Отшельник спокойно приблизился к нему на расстояние приветствия и сказал:

— Здравствуй.

Человек рванулся и почти подпрыгнул, повернувшись в воздухе, но мгновенно оценил ситуацию и вернулся к сбору ягод, ничего не ответив.

— Я вижу, ты голоден, — сказал отшельник. — Если хочешь, можно зайти ко мне — тут в двух шагах, я дам тебе пищи.

— С какой стати ты хочешь меня кормить? — резко отвечал незнакомец.

— Потому что ты хочешь есть. Как твое имя?

— Зачем тебе знать мое имя? — в его голосе слышалась ярость. — Ты что, из полиции? — Он поправил пиджак, и тогда Отшельник увидел, что из заднего кармана брюк незнакомца торчит рукоять пистолета. И он почувствовал легкость в ногах, как всегда бывало в момент опасности. Не страх, но легкость. Предвкушение, быть может, исхода: не посылает ли Бог за ним в этот раз? Убийцу и смерть, чтобы Его наконец лицезреть.

— Мне нужно знать твое имя, чтобы помолиться за тебя, — сказал отшельник. Такого довода вооруженный человек не ожидал. Он даже смягчился.

— А, это ты — Натуралист, — вдруг догадался он. — Я про тебя слышал.

Человек ел недозревшие ягоды. Вдруг он оставил все и повернулся. Колючий взгляд, тонкая синяя жилка, пульсирующая на виске.

— Послушай совета: не задавай незнакомым людям так много вопросов, если хочешь жить спокойно. Если хочешь жить.

И он ушел в чащу зарослей. Некоторое время слышался треск сучьев, будто там пробирался зверь.

Отшельник прислушивался к себе. Легкость в конечностях, почти невесомость стали уходить, словно кости вновь наполнялись весом и тяготением, необходимыми для передвижения по земле. Он был немного разочарован.

Кан решил, что жена начальника Ивана Жожо — это миловидная востроносая блондинка в окошечке почты. Он подумал, что ее зовут Китти. Во всяком случае, так звали жену Жожо. Он ожидал своей очереди перейти полосу на полу почтового отделения с надписью *distance de discrétion* (предел нескромности, если попробовать перевести) и приблизиться к окошечку. И получить свою почту.

Писем было несколько, и все из Австралии, надписанные одним и тем же почерком. Блондинка в окошечке даже задержала на секунду конверты в руке, рассматривая почтовую марку с изображением кенгуру.

— Я могу подарить эти марки вам, — сказал, улыбаясь, австралиец.

— Даже так! Но я вас не лишаю чего-то важного?

— Что вы! Простите, вас зовут Китти? Я не ошибся?

Женщина насторожилась.

— Обычно меня называют Катрин, но и Китти тоже. Мой муж называл меня Китти.

Кан улыбался в окошечко:

— Позвольте представиться и мне: профессор Кан, преподаватель английского, австралиец. В Австралии я преподаю французский.

— Ах, как интересно! — сказала Китти.

Очередь начала шевелиться и покашливать, и Кан откланялся. Он засек время закрытия окошка, отмеченное на картонном диске: 5 часов 11 минут пополудни.

Сделав покупки холостяка, а именно, сосиски, консервы и уиски, Кан вновь появился и встал у служебного входа. Ожидала кого-то и женщина, и Кан вообразил, что это счастливая соперница Жожо, отбившая у него супругу. Она была по-спортивному подтянута, узка в бедрах и держала голову высоко. Марта, Кан знал это со слов Ивана. Вышла Китти и расцеловалась с подругой. Они двигались по направлению к Кану. Австралиец кашлянул.

— Ах, это вы! — оживилась Китти. — Марта, представь себе, этот господин — австралиец!

— И я хочу подарить вам почтовые марки с писем, которые вы так любезно мне сегодня вручили! Ду ю спик инглиш? — обратился он к Марте.

— Йес, — ответила та не слишком уверенно.

— Если бы вы оказались среди моих учеников, то я уверен, что их рвение к учебе возросло бы в пять раз! — сразу польстил Кан, полагая, что это расположит подруг в его пользу. — Поверьте, в наше время глобализации вам крайне необходим английский язык.

Нельзя сказать, что лицо Марты было особенно привлекательно. Разве что карие глаза, это правда. Но следы какой-то экземы скорее настораживали. Как и волевой подбородок.

— Китти, простите меня, *антипода*: я даже не представился вашей очаровательной подруге. Профессор Кан.

— Марта, — сказала женщина, явно потерявшая инициативу и контроль над ситуацией.

— Вы должны обязательно придти хотя бы просто взглянуть, как идут наши занятия, — обращался к ней Кан и протягивал уже квадратик визитной карточки. Марте, разумеется, хотя и Китти могла бы принять приглашение австралийца на свой счет. Кан церемонно откланялся. Он был доволен первым контактом и даже подумал, что положение Жожо не совсем безнадежно. А его самого этот отчаянный приступ как-то омолодил.

— Ну, вот и кончился праздник, — сказал Ален, сидя вместе с другими в кабине грузовика. — Меня убрали с кладбища.

— Не принимай близко к сердцу, но я скажу, что ты немного преувеличивал, — сказал Ахмет. — Люди хотят уважения к своей могиле. Больше, чем к себе самим. Тут они очень чувствительны. Немного травы — и они уже бегут жаловаться.

— Мне стало неинтересно, — сказал Ален. — Каждый день одно и то же, и все время деньги, деньги.

— И они тебе надоели, — саркастически заметил Чарли. — И вот ты опять с нами!

— Близость к смерти наводит на размышления, — сказал Ален.

— Осторожно, не спать.

Они развозили пенсионерам подарки мэрии на Рождество. Это были симпатичные корзиночки с утиными головами, тоже плетеными из прутьев. В них лежали паштеты, сыры, консервы, две бутылки вина. И конфеты: старики любят сладкое.

Обычно этим занимался курьер Жиль, но он заболел, и целый квартал Пеплие (Тополей) остался без подарков. Да и место было такое, что лучше одиночке не появляться: там царствовал известный в городе Ичкок и его присные. Реноме его росло: после поджога лица Ичкока даже показали по телевизору.

В молодости Иван относился спокойно к некрасивым квартирам, к блочным домам. Казалось тогда, что все можно переделать, улучшить, дойдут только руки и будет лишь время. С годами, когда стало ясно, что поезд жизни замедляет свой ход, что Машинист тормозит и вот-вот остановится у пятиэтажной бетонной коробки без лифта и со скучающими подростками на ступеньках... Тогда плетеная уточка от мэрии выглядит жестом Господа Бога. А может, и есть. Так восприняла бы подарок его мама в далекой Москве.

Это, конечно, приятно: после минуты настороженности и опасения люди понимали, зачем постучались в их дверь. Лица смягчались. И даже дарили улыбки. Старушки искали очки, чтоб расписаться, старики предлагали стаканчик. И Чарли не

отказывался. Его растущая развязность стала тяготить Марка, и он велел коллеге сидеть в кабине, где тот и заснул.

— Понравилось быть Пернозлями? (Так французы называют Дедов Морозов) — спросил Жожо, довольный.

— Да, есть профессии на свете! — сказал мечтательно Алексис.

А общее настроение в городе делалось скорее тяжелым. Нападения подростков на пожилых людей участились, полиция была вынуждена принять крайние меры. Проводились собрания, где старикам объясняли, что нельзя появляться на улице с соблазнительными предметами в руках, как-то сумочка, телефон и уж тем более деньги. Мэр не мямлил, он прямо сказал: «Хулиганству бой!» Напечатали план города, где наиболее опасные улицы и кварталы отметили красным пунктиром. Старикам советовалось их избегать в определенные часы и особенно в среду, когда уроков в школе нет. Правда, жители делали это и сами уже давно, но скорее инстинктивно и без всякой системы. А вот закон об обязательном ношении каски начиная с 60 лет не прошел. Оппозиционные партии увидели тут покушение на личную свободу граждан.

Когда пернозли вернулись к Жожо в мэрию, то попали в самый разгар: представители фирмы женского белья привезли свою продукцию для показа и продажи. Возбужденные женщины рассматривали образцы со всех сторон, обсуждали качество кружев и тканей и особенно цвет. Они потеряли всякую осторожность, и Чарли, бледнея, впервые увидел бедро красавицы Полины во всю его длину и мощь, когда она, приподняв юбку, старалась сообразить, подойдет ли ей цвет новых колготок. Да и Алексис с Иваном побледнели. Лишь Ахмет остался по-восточному невозмутим, хотя его глаза превратились в узкие блестящие щелчки; остаток дня он молчал и не слышал никаких вопросов.

Жожо приказал им немедленно ехать к вокзалу: там грузовик рассыпал щебень на повороте, и его нужно было быстро убрать. Они торопились выйти на улицу, но вместе и медлили, взволнованные происходящим, а в холле мэрии вообще застряли. Здесь группа женщин во главе с социологом Одиалью

толпились перед зеркальной стеной, прикладывая поверх блузок и жакетов лифчики, чтобы посмотреть, идут ли они им. Красивой Одиле шло всё, а вот надменной Шантале ничего не удалось подобрать.

— Нужно быть очень осторожным, — сказал Ахмет. — В наше время легко потерять голову.

Щебенка оказалась сырой и тяжелой, они порядком вспотели и устали, и через час вполне успокоились.

От Кана не укрылось, конечно, что архитектор Бруно перестал ходить на его курсы. Од появлялась, но ее настроение стало совсем иным. Она сидела рассеянная и даже подчас не слышала, когда Кан говорил ей что-нибудь, стремясь вовлечь в общий разговор по-английски.

Пришли и Марта с Китти, однако непоседа Китти спустя полчаса начала зевать, шептаться с подругой, а потом, извинившись и сославшись на что-то неотложное, ушла вообще. Кажется, план Кана начал осуществляться. Он любил наблюдать за капризами либидо и умел подстроить ему ловушку, и указать новый предмет привязанности.

— Марта, вы очень способны, — сказал он. — Ах, если бы вы согласились получить несколько частных уроков: какой был бы прогресс. Знаете что? В Париже собираются поставить английскую пьесу в оригинале: хотите поехать? Это одно из лучших творений Чехова. Разумеется, пригласим и Китти, если она согласится. Но ей, видимо, английский не слишком дается.

Китти было не только трудно, но и тревожно. По-женски она чувствовала в неожиданной австралофилии Марты человеческий интерес к антиподу Кану. Присутствие Марты сделалось менее плотным, образовались пустоты. Китти вдруг вспомнила с неожиданной теплотой некоторые привычки Жожо. И как он хорошо стряпает. И как бывало приятно вечерами, после работы, особенно осенью или еще лучше зимой, когда шел дождь, а Жожо ходил в теплых домашних туфлях и вельветовых брюках, мягкий, как плюшевый барашек, которым она играла в детстве. И сегодня шел дождь, и было холодно. Марта пригласила

ее на спектакль и сама же отговорила, сказав, что Китти будет трудно и скучно. И уехала с Каном в Париж. Китти подумала, не позвонить ли Жожо: предстоит раздел имущества, и хорошо бы как-то обо всем предварительно договориться. И самое главное, как быть с домом: продать и разделить стоимость, или разделить дом и продать свою половину?

«О, май бэби!» — напевал Ален песенку странствий своей молодости. Впрочем, однажды он уже заметил, что внутренне не откликается на этот привычный призыв к бодрости и действию. Словно его сокровенное я отделилось от какого-то пространства, с которым сообщалось и черпало там желание видеть и чувствовать. Словно накопленный груз усталости отвердевал, и шевелиться больше не требовалось.

Дети возились в своем уголке. «О, май бэби...» — напевала младшая тоненьким голосом. Сильви смотрела телевизор. Загостившийся безработный брат читал газету. Они переехали из кладбищенского дома в свою старую квартиру, ее даже не успели сдать новым жильцам. Это изгнание с кладбища не особенно задело Алена, хотя он и понимал, что шанс накопить денег на павильон позорно упущен.

— Ну что же ты, дурочка, делаешь! Он же тебя не любит! — взволнованно воскликнула Сильви, глядя на экран. — Нет, я не могу на такое смотреть! Это разрывает мне сердце! Давайте ужинать.

Стены украшали картины, сделанные вышивкой, пейзажи, сложенные из кусочков пюзл (из английского пазл). Несколько страусовых перьев образовывали букет, а на подоконнике вытянулись в ряд маленькие горшочки с кактусами.

Брат вынул бутылку вина.

Ах! — сказала Сильви встревоженной.

Брат вопросительно взглянул на Алена, и тот кивнул. Штопор, скрипя, вонзился в пробку.

— Все-таки твой лекарства... врач говорил, что они не очень сочетаются с алкоголем. Да и на коробке написано.

— Стаканчик или два — так даже неплохо: лекарство быстрее разойдется по организму.

Сильви старалась наложить на тарелку Алена побольше, чтобы еда обезвредила опасные молекулы. Но у мужа не было аппетита.

— Что-то сегодня как-то печально, — сказала она. — И маме я давно не звонила. И в кино мы давно не ходили.

Брат снова налил. Удовольствия от хмеля Ален испытывал с годами все меньше. Теперь приходила усталость, сонливость. Вот что ему не нравилось в себе: безразличие ко всему, какая-то корка, которая задерживала смешное или загадочное. Мир потерял глубину, думал Ален, держа на вилке листик салата, словно то был сигнальный флажок.

— А твои ребята в бригаде? — словно угадав его мысли, спросила Сильви.

— Славные, — сказал Ален. — Иван очень смешной, когда Чарли доводит его. Марк умный. А Жожо не везет с женою: ушла.

— Вот странно: у них есть и дом, и хорошие дети.

— Семейная жизнь — как блюдо на столе. Если мало соли и перца, кто станет есть?

— Человек — не бифштекс! — протестовала Сильви.

— Что такое человек, — сказал Ален. — Призрак, эфемерное существо, сегодня он полон энергии, завтра наполовину пуст. Завтра в гробу.

— Моя мама ходит на мессу, — сказала Сильви.

— Да и моя ходила. А с тех пор, как она на кладбище, никаких от нее новостей.

— Ты очень тяжелый сегодня, — сказала Сильви. — Я чувствую, что ты не прав, но не умею сказать.

Брат съел свое блюдо и теперь играл в футбол, стараясь загнать зеленую горошину в ворота из куриных косточек.

— Кан говорит, что Жожо очень чувствительный, — удивленно сказала Марта.

— Он его знает? — спросила Китти.

— Нет, но он знает Ивана, который работает у Жожо.

— А откуда он знает Ивана? Он ведь из стран Востока.

— Не знаю. Иван много путешествовал.

— И еще он сказал, что в характере Жожо есть черты благородства, — продолжала Марта. Китти, пораженная, молчала. Такие вещи ей в голову никогда не приходили, хотя она их и слышала с экрана, особенно часто в фильмах о шпионаже. И это после всех иронических замечаний Марты в адрес ее бедного Жожо, как выясняется теперь, благородного и чувствительного! После беспощадных насмешек!

— И что он хороший отец и любящий муж!

Китти сделалось жарко, и она поторопилась спросить:

— Ну, мы едем на скачки?

— Ты знаешь, Китти... Мне очень жаль, но на этот раз мы пропустим. Кан просил меня помочь приготовить сообщение об Австралии.

— И чем же ты можешь помочь? — У Китти закружилась голова.

— Ну, сделать ксерокопии... подобрать иллюстрации... он мне покажет в книгах. Пока!

Китти долго смотрела на закрывшуюся дверь. Она вдруг испугалась возникшей рядом с ней пустоты, куда грозило хлынуть все: ее уверенность в завтрашнем дне, привязанность Марты, все их разговоры и планы. Она набрала номер телефона, но не сразу отозвалась, когда услышала мелодичный, певучий, с ноткой печали голос:

— Аллэ. Аллэ?

— Жожо, это я, — сказала Китти.

— Это ты, Китти? — Голос Жожо дрогнул.

— Ты понимаешь... дело в том, что... я давно хотела тебе позвонить... видишь ли... ты знаешь, конечно, что в парке поставили детскую карусель? Давай поведем туда детей? Им будет приятно.

— Еще бы! И мне тоже! А тебе?

— Ну да. Я приду часов в пять, хорошо?

— Очень хорошо: вместе поподем. Давай поподем.

— Вместе, — сказала Китти.

Не знаю, как вам, но Ивану сегодня немного грустно. Тому отчасти причиной серое небо, а главное, вероятно, в том, что после долгих лет и стольких порывов в какое-то божественное «навсегда» приходится согласиться, что — нет, не прорвался. И выбрать цели пониже. Вернее, увидеть, что нет больше сил заглядывать в космос.

Смеркалось. Идя мимо церкви, Иван услышал глухое звучанье органа. Андре готовился, вероятно, к концерту. Иван вошел осторожно, придерживая монументальную дверь.

Было темно. Только две свечи горели перед статуей св. Терезы. Их тонкие белые стволыки растаяли в темноте, огоньки казались висящими в воздухе. Витражи померкли и почернели, и серые цементные стены тоже. Можно было исчезнуть совсем, раствориться среди пустых рядов стульев. И погрузиться в звучание. И забыть обо всем.

Андре играл вступление к Страстям. Иные скажут, что органа тут недостаточно, чтобы вполне воссоздать волновое движение струнных и оркестра, и тем более голоса, но эмигранту хватало одной мелодии, чтобы озвучить в памяти все. Мелодию печали прерванной встречи божественности — и практичной скучной земли. О, мечта, ради которой не спали, не ели! Отказывались от всего! Ее обступили толстые ноги и нависли жадные животы. Это закон везде и всюду, непреложный, как смерть: пеньковую веревку Франциска сменяет шелковый шнурок францисканцев. Веселый взгляд студента — оловянный взгляд министра.

Окровавленную длань Основателя сменяет пухлая рука прелата.

Плотность этой точки истории — начала всего — необъяснима. Ее миллиардам хватило, чтобы жить две тысячи лет, и нам еще падают крошки зашифрованной в звуках и словах любви.

Темный силуэт человека двигался в проходе и растворился в сумраке нефа. Послышался звук открываемой двери, и эхо каблучков, несомненно, женских, хотя и было ясно, что их обладательница старается не шуметь. Зажегся новый огонек

свечки и поплыл в темноте, в сторону освещенного полукруга возле статуи святой.

А невидимый Андре играл теперь прелюдию Франка. Слово медленно открывалось окно, откуда можно было взглянуть на долину Ивановой жизни, где было столько всего и все, наконец, прошло, и где медленно подступал к нему отдых в окружении любящих. Какие тонкие касания звуков, небывалая ласка, прозрачность. Боже мой, только музыка может выразить невыразимое, коснуться, исцеляя, раны. Если б она еще послужила душе и воздушным шаром, чтобы отделиться, подняться, наконец, отсюда.

Андре кончил играть и сидел молча. Не шевелились тайные его слушатели. Городские шумы, отрезанные толстыми стенами, едва доходили. И лишь иногда вздрагивал пол церкви: она стоит на холме, а у его подножья мчится к Парижу скорый до безумия поезд.

Андре спускался с трибуны органа по скрипучей лесенке. Он повозился, запирая дверцу внизу, и громко сказал:

— Закрываю. Есть кто-нибудь?

Впереди Ивана кашлянули, и это был кашель Кана. Женщина пошла к выходу не скрываясь. Поднялся и Иван. Они не удивились, узнавая друг друга. А вот женщину они видели в первый раз. Несомненно, беременная, она поздоровалась с ними тихо, и они тихо ответили. Андре запер церковь. Приятели посмотрели друг на друга вопросительно. Нет, сегодня быть им вместе не нужно.

— Бон суар, мадам, — сказал Андре, улыбаясь. — Спасибо, что вы пришли. Женщина ему улыбнулась.

— Друзья мои, до скорого, — раскланивался Кан.

Иван дошел не спеша до площади генерала Де Голля; его имя носила эта вторая по величине площадь нашего городка. Площади никуда не деться от имени генерала в любом населенном пункте Франции, как от имени Ленина в покойном Советском Союзе. Впрочем, и почившему генералу никуда не деться от площади. Пока, конечно, другая война и другой герой не займут место в сердцах потомков.

Кафетерий выходил окнами на площадь. Высокие во всю стену окна. Внутри вдоль окна тянулся длинный узкий прилавок, снабженный высокими стульчиками. Иван взглянул и замер. На одном стульчике сидела Матильда-Од.

Она сидела на высоком стульчике перед окном, сложив руки перед собой. Оставив пластмассовую лодочку с картошкой-фрит и салатом, и бокал вина стоял едва отпитый. Она смотрела куда-то вдаль, поверх голов прохожих на тротуаре, поверх Ивановой головы. На ее лицо легла удрученность, та неизбывная печаль, которую спустя время врач назовет депрессией и пропишет таблетки. Ее волосы — каштановые, лившиеся волной и сиявшие (и сившиеся Ивану столь часто) свисали жидкими немывтыми косицами.

Иван мог созерцать ее вволю. Руки и плечи, сузившиеся в движении, словно ей сделалось холодно, и она поежилась и так и осталась. Удлиненное лицо и припухлые чутьчку щеки, как у ребенка. Высоко поднятые брови, отчего казалось, что Матильда чем-то удивлена. Изящный носик. И губы, оттопыренные от обиды.

Волна нежности поднялась в сердце эмигранта. Большую часть в его привязанности и любви к людям занимала жалость, он давно это осознал. Да и как любить, не жалея?

Великолепный Бруно оставил архивариуса и отправился дальше, ища, где же, наконец, взобраться на небосклон крупных заказов. Хорошо было бы ему врезать, подумал Иван, но ведь врезать без объяснений ничего не дает, кроме страха. Впрочем, и не врезать не имеет других последствий, кроме дурной наглости.

Од было горько и пусто. А между тем в метре от нее, почти касаясь — стекло, к сожалению, не позволяло — ее колен, стоял человек, готовый за нее умереть. Во всяком случае, дать ей все, что у него было: некоторый опыт жизни, знания, верность и нежность. В наше время рентабельности это кое-что, согласитесь.

Иван поискал в кармане и нашел талисман, который всегда носил на счастье, маленькую серебряную медаль с изображением святого Николая, и тихонько постучал ею в стекло. По-

терянный взгляд юной женщины опустился вниз и нашел лицо прохожего. Некоторое время она не понимала, чего хочет от нее этот не слишком молодой мужчина в курточке с меховым воротником авиатора (и кожа, и мех были искусственными, и носивший их летчиком не был).

— Са ва? — сказал Иван, улыбаясь.

Теперь она смотрела на Ивана внимательно. Она догадывалась о сказанном по движению его губ. Если вы попадали в подобные горестные положения, то помните, конечно, как становишься отзывчив к малейшему проявлению доброты. «Спасибо» уличного нищего грело сердце, благодарность бродяги, которого вы подвезли на машине, казалась бальзамом. Если я говорю все это с уверенностью, то потому, что сам бывал и первым, и вторым, и третьим. А вот Иван попадал в совершенно новое положение.

Он с детства любил печальные лица. Может быть, потому, что часто видел его у своей матери. Она ему никогда не рассказывала, он сам все вычислил — чисто по-детски, но, впрочем, и размышляя, — этого советскому ребенку нельзя было не уметь, иначе он не выжил бы. И альбом фотографий помог. В нем была одна — красивого юноши Миши, о котором мама вспоминала особенно, делая паузу и вздыхая. Он однажды пропал. То есть не вернулся домой, выйдя из института, где учился вместе с мамой. Они хотели идти вечером на репетицию в пролетарский клуб. Но он и туда не пришел. Потом по поводу Миши созвали собрание, он оказался врагом народа, а мама заболела с температурой и горячкой и на собрание не попала. Кажется, Миша был еще и шпионом.

В лице Матильды стояло страданье утраты.

Иван вошел в кафетерий и снова сказал:

— Са ва? — помогая улыбкой немного смущенной женщине, которую застал чужой человек в беспорядке чувств и мыслей.

— Помните лекцию? Вы так ловко показывали диапозитивы Шартра!

В другое время эта похвала показалась бы ей глупой, да и сама встреча обременительной.

— Очень рад вас встретить, М... Од! Я и раньше хотел вас искать, да мы и сталкивались — помните? Но столько разных занятий, они все мешали, а главное — неизвестно, будешь ли кстати, не попадешь ли, как волос в чужой суп!

И другие поговорки просились Ивану на язык. Он говорил, говорил. Радость, знаете ли, болтлива. А Од эта болтовня оказалась лекарством, он видел. Он жалел ее — о, до чего ее было жалко! И почему говорят, что женщине это неприятно? Крути под глазами, воспаленные веки, и стрелки-складки горечи возле рта. Она казалась много старше своих почти тридцати. Отвергнутые люди стареют.

— Слушайте, Од, а не пойти ли нам, знаете ли, в театр на славную какую-нибудь классическую пьесу? — вдруг предложил Иван. Это само у него вырвалось. — Да и просто в парк или музей, есть некоторые праздничные по настроению. Да вы знаете сами! — вдруг вспомнил он.

— Но не сегодня? — неуверенно сказала Матильда. Вечер близился к ночи.

— Я вас провожу, — сказал Иван. Она кивнула.

Так он узнал, что она живет на улице генерала Де Голля в недавно построенном доме. Улица начиналась сразу за площадью мэрии и шла к кладбищу и затем поднималась круто на холм к новым кварталам.

— Вон мои окна, — сказала Од. Они были освещены.

— Вы оставили свет, — догадался Иван. Она немного смутилась.

— Приятно видеть освещенные окна, когда возвращаешься, как будто там ждет кто-нибудь, так многие делают, — сказал Иван. — Завтра вечером я жду вас, окей?

Она кивнула, засмеявшись чему-то смущенно. Лицо ее смягчилось. Закрывая входную дверь, она оглянулась и помачала ему рукой.

Ему было легко.

Нужно, наверное, пояснить. Иван — человек будней. Не то, что он не бывает на праздниках, нет, он приходит, но оста-

ется где-нибудь сзади, чтобы людей не тревожить скромной одеждой. И лучше видеть. Пусть крепкие и удачливые выйдут вперед, стяжут аплодисменты и крики одобрения. Потом все едят и расходятся. Наступают будни. Люди праздника тускнеют и засыпают. Им нужен опять стадион, купанье в толпе, как вполне сознательно говорят в Ватикане. Напиться народным веселием и энергией, и ожить.

Время Ивана приходит всегда. Будней в году гораздо больше, чем праздников.

— О, май бэби... — пел тоненький голосок из-за высокого забора особняка, когда Иван шел мимо. Какой-то ребенок не спал. Словно он имел порученье напоминать об Алене. Он был крепкий парень, Алэн, ничего не скажешь, несмотря на некоторую худобу.

Иван старался вообразить, что такое — жить в своей стране. В России у него не было этого чувства, там всё-всё — даже сама его жизнь — принадлежало государству жестоких людей. Ну, кроме самого раннего детства, когда он этого еще не знал, и мир казался иным: мама, бабушка, дедушка, кузены, кузины. И друзья, разумеется. Впрочем, было чувство владения каким-то богатством сердца — не правда ли, столько людей, и все интересные, и всех можно любить. Потом оказалось, что Иван-то любит, а они уже нет. Остались сослуживцы и соседи по дому: — Как дела? — ничего — ну, заходите, выпьем вместе — пообедаем. А чтобы чувствовать себя вместе с народом, нужен президент на экране телевизора и футбольный матч.

Утром они стояли, сбившись в кучку перед воротами мастерских. И были встревожены.

— Кто бы мог подумать! — повторял Ахмет. — Нет, никто не мог бы подумать!

— И никто не говорил ничего!

— А Сильви что сказала?

— Алэн, сказала она, я хочу тебе сказать...

— Что такое, ребята?

Обрадованные появлением ничего не знающего, на Ивана обрушили новость сразу несколько ртов: Ален умер. Лег вечером спать, а утром жена смотрит — а он мертвый. Умер во сне.

Господи, спаси нас от подобного ужаса.

Так и лежал в трусах и майке. И даже уже остывший почти. Сильви закричала, бросилась звонить пожарникам (во Франции им поручена скорая помощь). Полиция приехала, прибежали соседи. Детей увезли к бабушке.

Постепенно они справлялись с волнением. Тем более, что рядом с ж.д. переездом грузовик едва не перевернулся, рассыпав строительный мусор. Бригада немедленно выехала на место. Битой штукатурки оказалась целая куча, и скрежет лопат заглушил слова и мысли. А потом смерть Алена начала отдаваться, словно уносимая прочь каким-то течением.

И однако, что-то произошло. Слово через Алена Иван был присоединен к коллективу. Быть может, он Ивана любил. Или в нем, иностранце, сошлись нити юношеских порывов коренного француза: путешествовать по дальним странам, там найти все великое, страшное, славное.

— Он был неплохой, Ален, — сказал Ахмет. — Бог его примет в рай.

Марк недоверчиво хмыкнул. Но с мусульманином Ахметом на эти темы не спорили.

— Вот ты, Иван, говоришь: чтобы попасть в рай, нужно сначала умереть... (когда он говорил такое? Или писал?) Однако вот что странно: все хотят в рай, но никто не хочет умирать!

Наблюдение было емким.

— Пусть он подаст нам сигнал, что ли, знак, — сказал Жожо. — А то одни разговоры. Надоели! Сто километров одних обещаний.

Нетерпение человечества. К счастью, оно разное в разных районах земного шара. А то мы уже давно лопнули бы. А так, лопнув в одном месте, человечество терпит в другом, и тем временем приходит в себя там, где лопнуло.

Если умер, то надо потом хоронить. Выяснилось, что семья — то есть отец и дядя — не хотела никакого обряда. Просто взять и отнести на кладбище.

— Как же так! — высказался Ахмет. — Конечно, мое дело сторона, но надо что-нибудь сделать. Нельзя же зарыть... — он понизил голос — ...как собаку.

— Как собаку, — громко подтвердил пьянчужка Патрик.

Иван тоже покачал головой. Важнейшее событие жизни требовало установленной формы жестов и слов, для импровизации не было нужной легкости. Но другие члены бригады молчали, да и некогда было в тот день: в парке упало старое дерево и разрушило часть ограды, и их бросили всех туда.

На другой день многие работники мастерских толклись возле входа на кладбище, бродили по дорожкам, читая имена и фамилии на памятниках. Ждали тело и мэра. И они появились почти одновременно. Грузный и пожилой, глава города шел не торопясь по аллее, поддерживая вдову под локоть, одетую в черное, опушную от слез. В нем было что-то от священника. Осанка и поступь свидетельствовали, что причастность оккультным силам ему не чужда. Пусть они ему не подвластны, он знает, как их умиловить.

Мысль о кремации тела Алена поддержки не нашла.

— Есть еще место в земле для коренного жителя нашего города, — твердо сказал Марк.

Зиявшая могила была перекрыта досками, и гроб поставили сверху. Лакированный, блестящий зловеще в лучах несветлого солнца.

— Он был молод и горяч, — громко сказал мэр. — Он любил жизнь. И вот его нет с нами. Болезнь нанесла свой страшный удар, и его не стало.

Что-то такое было в голосе мэра, что тронуло многих. Они откровенно отворачивались и сморкались. Сильви плакала. Человеческое сочувствие, вот что было неподдельным в этой почти проповеди. Мэр даже обратился к Алену на «ты», словно тот мог его слышать. Это вообще очень сильный прием, если вы замечали: обратиться к отсутствующему, как если бы он находился рядом, будь то умерший или Бог. Все невольно затаили дыхание, чтобы не пропустить возможного ответа, и хотя его

не последовало, миг напряженного совместного ожидания запомнился надолго.

И вдруг могильщики засуетились, стали вытаскивать доски из-под последнего прибежища Алена и цеплять крючками за ручки гроба.

Сильви простирала руки, плача, ко всем, словно призывая на помощь. Там и тут всхлипывали в толпе. Сам мэр вынул белоснежный платок и приложил к глазам. Ивану стало его жалко: тучного пастыря человеческого стада, тяжело дышавшего в костюме и галстукe, которому пришлось нести в придачу к своей еще и тяжесть горестей своих подчиненных.

Все пошли к выходу, оглядываясь еще на могильщиков, которые воздвигали холмик и устанавливали венки. Мэр вел под руку вдову, коллеги шли следом. Брат Алена тихо пустил в тягущую толпу приглашение к заупокойной трапезе. Несколько человек отправились в дом родственника и друга. Бригада в тот день не работала. В мастерских ждали бутылки пастиса и воды, соленые орешки и прочая дребедень.

— Сначала поселился на кладбище временно, — сказал Ахмет, — потом его уволили, но он быстро вернулся — и теперь навсегда!

— Это случайность, — по-юношески уверенно сказал Алексис. Жожо задумчиво посмотрел и он увлек Ивана в своей кабинет:

— Ты знаешь, Китти вернулась! Ее подругу отбил один австралиец, какой-то гуру Кан.

«Браво, мой друг, твое знание человека начинает меня удивлять», — подумал Иван.

Словно Кан умел восстановить правильный ход вещей, нарушившийся по неизвестной причине. А правильный ход вещей — наилучший. Иван думал об этом, готовясь встретиться с Од. Вот и здесь был немного нарушен природный порядок: Бруно подходил ей по возрасту лучше, но этого мало. Парадокс в том, что урбанист был старше Ивана, словно молодость эмигранта продолжалась вопреки документам (а кто не знает их

власти над нами, простыми людьми! Но она, оказывается, не безгранична).

Условленное место встречи с Од просматривалось хорошо, и Иван не спешил на него выйти. Оставалось десять минут. Ему вдруг стало казаться, что Од не придет, хотя, разумеется, милостивой женщине прилично и опоздать, показывая свою независимость и самооценку. Они договорились встретиться в кафе, увы, переполненном людьми и табачным дымом. Сотня любителей ожидала результатов скачек, проходивших во многих городах Франции и Европы. Они условились в случае хорошей погоды ждать друг друга в маленьком скверике напротив, в десяти шагах. И что же, погода отличная: светлый солнечный день, влажный западный ветер, приносящий йодистый запах Атлантики даже сюда, в окрестности Парижа.

Каждый силуэт вдали казался знакомым. Опознавшись пять раз, он почувствовал грусть и вообразил, что нет, не придет, что и ждать не стоит. Стрелка часов над площадью прошла лишних четыре минуты. Он решил сделать круг, и он пошел вдоль домов, образовавших площадь. Вот улица Астролябии, он в нее заглянул — и столкнулся нос к носу с Од! Удлинившееся от унынья лицо. Спустя мгновение изумление его захватило, и радость. Вероятно, то же произошло и с лицом апатрида. В волнении они рванулись друг к другу и хотели дважды коснуться щекой щеки, как это делают знакомые (в Париже обычно четырежды), но сбились в движениях и поцеловали друг друга в губы. Это их окончательно смутило.

— Я думал, вы не... — начал Иван, но его фразу закончила Од:

— ... придете!

— Как же так, не придти?! — воскликнул он.

Од готовилась к встрече, о чем говорили легкие оттенки косметики на щеках и под глазами, аромат духов. Несомненно, и она отметила усилия, которые предпринял Иван, чтобы выглядеть достойным кавалером. Он попрыскался одеколоном, который прислал ему Красный Крест на Рождество.

Они пошли от волнения торопливо, словно Од убегала, а он ее догонял, и оказались в парке. Иван успокаивался, к сердцу

подступали беззаботность и благодушие. Верный признак того, что и Од переживала подобное. Подарок судьбы — возрожденное детство, когда небо становится высоким и синим.

Тут была карусель, и на буланых лошадках уже сидели два мальчишка и девочка, пришедшие сюда с чернокожею няней. Владелец карусели посмотрел с надеждой на них:

— Прокатиться, мсье-дам?

И дети стали их звать, чтобы составился, наконец, кворум пассажиров. Они засмеялись. Од взглянула на Иван, словно шалая школьница — и вдруг потянула за руку к автомобильчику, изображавшему старинную довоенную модель. Им удалось в него поместиться!

Тронулась карусель. В тесноте они сидели совсем близко друг к другу, их бедра соприкасались, и он почувствовал скоро тепло Од, проникшее через черные колготки, юбку и его брюки.

Ему показалось, что события развиваются стремительно, и он не успевает за ними. Человек чуть-чуть старомодный, он нуждался в большем количестве ступеней. А Од была счастлива. После карусели ей захотелось играть в песчаную мельницу, потом она увидела на земле каштаны и устроила матч: кто попадет и сколько раз вон в ту урну? Что же, он попал раз, а она — три, и она стала смеяться:

— Мазила! — кричала она, бегая за каштанами. Они незаметно переходили на «ты». И неудивительно: они были два одиноких человека, да еще раненные другими людьми. Рассыпанная в человечестве раса, неотличимая по цвету кожи или глаз. Лишь складка в уголках рта ее обнаруживает.

Иван шутил, и рискованно, словно смехом желая прикрыть что-то, будто не в силах справиться с собой. Нужно вовремя остановиться, поскольку смех начинает пробивать дорожку — или рыть канавку — совсем другим отношениям, чем нежность. Скорее приятельству, чем любви.

— Знаешь, знаете что, Ма... — начал он, но закончил иначе: — ...Од, дело в том, что...

— Ну, если тебе так нравится имя Матильды, ты можешь взять от него первую букву! — весело сказала Од. — Так или

иначе, но ты угадал: среди моих имен есть и Матильда, так звали сестру моей мамы, но я его не люблю. Да я и не знала тетю: она умерла до моего рождения.

Ивану тоже было смешно, пока он мысленно не соединил два имени в одно. И тогда он вдруг испугался. Его обличили! Конечно, не Од целилась в него этой фразой. Не Провидение ли предостерегало его? Он трепетал.

— Вы... ты не проголодалась? Можно тебя куда-нибудь пригласить?

— Конечно, — задумчиво сказала Од. — И у меня к тебе просьба: ты не можешь починить мне книжную полку? Она совсем накренилась, того гляди упадет. Это в двух шагах отсюда, ты знаешь?

Еще бы не знать. Не однажды Иван нарочно изменял путь возвращенья к себе вечером, чтобы пройти мимо этого архитектурно скучного дома. Но если там кто-то живет?

По лестнице они медленно поднимались, и затем она долго искала ключ в сумочке. Ему слышалось тут колебание и неуверенность, и он был ни в чем не уверен вслед за нею. Однако расстаться им было выше их сил. Во всяком случае, его. Он даже подумал, что так не могут расстаться члены одной семьи.

— Ты можешь повесить свою куртку здесь... или дай, я повешу, — сказала она смущенно. Она открыла шкаф, встроенный в стену. Там висела одежда. Мужской глаз немедленно выхватил розовую кофту и белые брюки, которые прежде никогда на Од не видел. Коридор вел дальше и превращался в кухню, довольно обширную, служившую еще и столовой. Подоконник был уставлен цветочками в горшках, ухоженными, какими-то веселыми, — им было, несомненно, приятно, что хозяйка их любит. Наклеенные на горшки лоскутки бумаги сообщали их имена.

— Ах, так это элексина! — сказал Иван, увидев знакомый зеленый шар из мельчайших круглых листочков. — Как интересно. А это... *peperomia caperata*... — Из гущи матерчатых листочков высовывался пучок стебельков с зеленоватыми кулачками, пальчиками, ручками, похожими на человеческие. Откуда это чудо?

— Тебе нужно немного подкрепиться перед работой — сказала Матильда. — У меня есть прекрасные вкусные яблоки! И сэндвич. Я сделаю сэндвич, окей?

Комната была довольно большая, окном выходящая... минутку... да, окно выходит на бывшее здание полиции, ныне переехавшей в совершенно новое, с претензией на модернизм. Правда, полицейские стали жаловаться на неудобства выезда, они теряют время и не успевают догнать преступников. Да и автомобили у этих последних более мощные, и сами они, мускулистые и без живота, бегают быстрее.

Книг была масса, и полка, в самом деле, опасно накренилась с одной стороны. Ее подпирала доска. Державшие кронштейн винты вылезли из стены. Ну, такое легко починить. Он принялся снимать книги и укладывать их стопками вдоль стены. Тут же стояла и обширная низкая кровать без спинок, занимавшая угол, с лампой и полкой над изголовьем. Классика. Ле Корбюзье. Но были и редкости: толстые большого формата тома.

— А, у тебя есть Эмиль Маля! — воскликнул Иван пораженно.

— Ты знаешь Эмиля Маля? — отозвался из кухни удивленный голос Матильды-Од. И она показалась в дверях. На ней был голубой фартучек, в руках она держала длинный белый хлеб и нож. Каштановые волосы ниспадали по обе стороны лица. Взглянув на нее, он, вероятно, изменился в лице, настолько она показалась ему красивой. У него дух захватило, как бывает только в юношеской повести.

— Что ты так смотришь, — сказала она довольно, видимо, польщенная его взглядом. И улыбаясь, ушла в кухню.

— У тебя есть молоток?

— В коробке под вешалкой.

Там же нашлись и клещи. И гвозди. И отвертка. Современная женщина.

— И кусочек дерева, палка? Чтобы сделать пробку под винт.

— Ты можешь взять доску подпорку. Но уже все готово. Потом.

Они усаживались в кухне напротив друг друга. Стол был не слишком широкий, и он, двигаясь, коленями коснулся колен Од. И она их отодвинула не сразу. Это промедление было как шум налетевшего ветра в ветвях раюадиза.

— Здесь тихо, — сказала хозяйка. — Мне здесь хорошо, я люблю здесь сидеть, но иногда время начинает бежать слишком быстро. У тебя так бывает?

— Бывало, теперь это реже.

В жилище Од были следы остановки. Календарь на стене: клетки дней, заполненные *рандеву*, вдруг сделались пустыми с 22 февраля: ни встреч, ни дел. Потускневшая раскрытая книга, невскрытые конверты, по виду служебные. Но в ее лице не было и тени опущенности: она болтала и шутила! Например, она сказала... нет, сразу не вспомнить, надо посмотреть в записную книжку.

Они выпили сока. Он оказался холодным, и новый зуб Ивана немедленно жестоко занял. Он не подал, правда, виду, но воспользовался паузой и отправился в ванную комнату. Там он извлек потаенный пузырек из кармана и прополоскал рот болезнубуотояющей жидкостью. Полотенца, розовый пеньюар, флаконы и тюбики, интимный мир ароматов и тела. Среди зубных щеток была одна странная, явно мужская, и Иван почувствовал к ней вражду.

Когда он вернулся, Од в кухне не было. Она стояла в комнате у окна и не оглянулась, когда он вошел. Сомнения быть не могло: она ожидала. Он осторожно приблизился сзади. Од, конечно, слышала его шаги. Она даже вздохнула. Он обнял ее за плечи, ощутив под ладонями начинающееся возвышение груди, и привлек к себе. Она чуть откинулась назад и оперлась о Ивана спиной. И потерялась о его лицо головой, волосами, как иногда это делает кошка, желая, чтоб ее погладили. Кончики волос легонько покалывали ему губы. Его вдруг ужаснуло расстояние, которое разделяло их, ткань рубашек, толстой ворсистой юбки. Сейчас Од отдалится, вспомнив о чем-нибудь, решив иначе, и исчезнет этот почти сон, счастье тепла и запаха. Целуя Од в шею, он щекою отодвинул воротник блузки, и

услышал, как расстегнулась ее пуговка. Невыразимая по нежности линия лопатки уходила в полумрак одежды. Участвовавшее биение его сердца отдавалось звоном в пальцах. Маленькие горячие ладони прижались к его шее.

— Ты что, миллион выиграл? — спросил Марк, некоторое время понаблюдав за Иваном, отрешенным от всего и улыбающимся своим мыслям. Иван только фыркнул и ничего не сказал. Да и другие почувствовали необычное рядом с ним, в поле какого-то приятного излучения.

Шарли немедленно пустился в рассказы о неожиданных выигрышах разных людей, и даже близких знакомых. Особенно запомнился случай, имевший место с дальним, но все-таки родственником, который выиграл холодильник. Все посмотрели на Шарли с интересом.

С Иваном произошла перемена, это заметили многие, даже почему-то и те, кто обычно не придавал значения его существованию. Полина, например, когда он принес в ее отдел коробку с бумагой. Она рассеянно взглянула на него, потом посмотрела внимательно и уже затем рассматривала его откровенно, словно видела впервые.

— Что с вами? — спросила красавица. — Вы миллион выиграли, что ли?

Иван молчал, но лицо его сияло.

— Как поживаете, хорошо? — только и сказал он, уходя.

Жожо, разумеется, заметил тоже. Он даже забеспокоился, все ли у Ивана в порядке, и поделился своими опасениями с Марком.

— Ты понимаешь, он ведь один и в изгнании, это нелегко, как ты думаешь, не обратиться ли ему к психологу, кажется, где-то есть бесплатные психологи для иностранцев, ему пропишут какие-нибудь таблетки, ну, ты понимаешь?

— Таблетки, — пожал Марк плечами. — А потом что? Алена мы уже схоронили.

В столовой к Марку подошел Ахмет:

— А что, правда, что Иван выиграл миллион на скачках? Маляры говорят.

— Почему бы и нет? — сказал Марк. — Каждому может прийти удача хоть раз в жизни.

— Значит, выиграл? — требовал подтверждения отец семейства.

Марк засмеялся:

— Пойди, спроси у него сам! Взаймы попроси тысяч десять (1524 евро, если вы затрудняетесь). Если даст — значит, правда.

Ахмет ушел, недовольный легкомыслием Марка. Но и юный Алексис слышал, что говорили рабочие отдела садов и парков. Он пришел в мастерские:

— Жожо, правда насчет Ивана? Что он немного того... Говорят, ничего удивительного: он один, да и на его родине плохо, мафия, война, голод.

Жожо еще больше встревожился: молва подтверждала его опасения.

— Ты что, выиграл миллион? — спросил Патрик.

— Ну, не в деньгах же счастье! — почти взмолился Иван.

— Разумеется, так все говорят, но верят в это только романтики. Ты что, романтик?

Взглянув на Ивана, не отводил взгляда и Кан. К нему в школу Иван принес пачку афиш о концерте Андре, организованном в пользу бездомных детей в Румынии и бездомных румын во Франции. Неподалеку от Кана Марта листала толстую книгу в поисках изображения кенгуру.

— Ну что ж, мой северный друг, — сказал он по-английски. — Вероятно, я не ошибусь, если скажу, что вас любят? И вы тоже?

Марта внимательно прислушивалась, стараясь понять. Она удивительно быстро овладевала английским с помощью Кана. Иван молча улыбался.

— Провидение подарило вам маленький отпуск и праздник... Все-таки иногда оно помогает нам жить, Провидение. Точнее, ждать.

— Мне не хочется вставать, — сказала Матильда. — А что, у тебя есть дела?

— Нет никаких.

— Ну, останься: тепло, когда ты рядом.

Она обняла Ивана за шею и спрятала нос под его подбородок. Она любила выбрать какое-нибудь углубление в его теле, он это заметил, и старалась в нем поместиться. Насколько это удавалось, конечно. Пальцы ее ног переплелись с его, и она шевелила ими, словно что-то спрашивая.

— Мне хорошо, — донесся ее приглушенный голос. — А тебе?

Еще бы! Счастье любимой женщины — это четыре пятых его собственного. Твердые соски упирались ему в живот, он чувствовал, и это его волновало.

— Все-таки я немного боюсь, — донесся ее голос. — Я так счастлива. Я не знала, что так бывает. Я не знаю, сколько времени это может длиться. Я боюсь, что вдруг все исчезнет, как сон, ты понимаешь?

Она вынырнула из-под одеяла и положила голову рядом на подушку, а затем на его висок и терлась ею. Он чувствовал горячие бусинки, они сыпались на ему на лицо и достигали губ, он пробовал их языком. Соленые и горячие.

— Это будет длиться, пока мы не умрем, — сказал он. — Можно тебе сказать одну вещь?

— Ну, скажи, — голос Од прервался. — Но ты не скажешь чего-нибудь страшного?

— Нет.

— Тогда скажи.

Он приблизил губы к ее розовому ушку и проговорил:

— Я тебя люблю беспредельно.

В ответ Матильда-Од прижалась к нему так, словно хотела войти под кожу, или взять его всего в себя — и взяла, и уже не сказала, а выдохнула ему в ухо слова. Он слышал их впервые в жизни. Он повторял их мысленно, не решаясь произнести вслух, чтобы они нечаянно не улетели, точнее, не изменили смысла, чтобы их кто-нибудь не украл.

Как и теперь я не решаюсь доверить их бумаге. Они принадлежат одному Ивану. Вы понимаете. Читатель бывает неподготовленным. Он берет и открывает книгу, где попало, а сам полон вкуса первого глотка пива и предвкушенья последующих.

— В конце концов, жизнь — это приготовление к последнему решительному одиночеству, — сказал Андре.

— Жизнь — это ожидание, — сказал Иван.

— И его нужно уметь наполнить, — подхватил Кан.

— *Элбет*, я готовлю чай? — спросила Марта.

— Что же, пожалуй, — согласился тот, вынимая из рта давно потухшую трубку. Кажется, никто не видел его курящим по-настоящему.

Они собрались в скромной квартире австралийца почти случайно: Иван встретил его на улице возле киоска с газетами, и то только потому, что Кан задержался, зачитавшись некрологом знаменитого адмирала в «Таймс» (эта газета печатает замечательно интересные некрологи. «Самому хочется умереть поскорее!» — говаривал Кан). Андре им попался идущим из церкви. А потом позвонила в дверь и Марта: она уже запросто приходила к своему любимому учителю английского языка.

Это было чаепитие в 5 часов, по английскому обычаю. *Фи-фоклок*, как говорят по эту сторону Ла-Манша.

— Друзья мои, — сказал Кан серьезно. — Последние годы я замечаю в себе перемену: мне сделалась неинтересной всякая философская система, я больше чувствителен к фрагментам.

— Это библейское, — сказал Андре. — Кроме того, это практичнее. В случае проблемы — то есть тревоги по поводу значительной перемены — должно быть немедленно дано объяснение. Указана причина. Необязательно, чтоб настоящая. Хотя и желательно, конечно. Любое заявление, например, «он умер», должно быть объяснено. Сразу спрашивают: отчего? Ах, от рака, ну, тогда ничего, у меня его нет, следовательно, я бес- смертен по-прежнему.

— Вы уловили важный нюанс, — сказал задумчиво Кан. — Но разве и в самом деле визит бледнолицей дамы...

В дверь решительно позвонили.

— Ого! — сказал Кан, засмеявшись. — Не она ли? — И пошел открывать. И другие засмеялись не слишком удачной шутке, скорее, впрочем, от неожиданности, и немного нервно. Только Марта молчала, не разделяя веселия мужчин. Впрочем, она за-

нималась чашками и печеньем и не очень следила за разговором. Ей было просто уютно рядом с говорящими, Каном, в этой квартире. Теперь она старалась расслышать, о чем говорили в прихожей, голос Кана и другой голос, мужской и незнакомый. Следом за Каном вошел молодежавый мужчина со светлым лицом.

— Господа, простите, кажется, я не успел вам сказать, что жду в гости старого знакомого, адвоката Ива Дюваль де Марн, — сказал Кан. — Да и адвоката я не успел предупредить о нашей нечаянной встрече. Но может быть, чуточка спонтанности в жизни не так уж некстати? А ля Достоевский, так сказать. Знакомьтесь, пожалуйста.

— Марта, — сказала Марта.

— Андре, органист, — сказал Андре.

— Нам приходилось встречаться, — улыбаясь, сказал Иван. Адвокат был немного ошеломлен:

— Вы? И что вы... — он замялся. Он едва не сказал «тут делаете».

— Мы иногда болтаем по-английски, — вмешался Кан. — Вы знаете, иногда я скучаю лингвистически, хочется поговорить просто так.

Иву пришлось быстро решить дилемму: или присутствие Ивана снижало, так сказать, качество общества, или, наоборот, поднимало апатрида на новую общественную ступеньку. Борьба чувств и оценок длилась мгновение, Ив был адвокатом, а в этой профессии умение владеть собой, то есть привычка к неожиданностям — главное.

— Очень, очень рад встретить вас, Иван, — сказал он, наконец.

— И я тоже! Надеюсь, ваш садик хорошо поживает?

— Он помнит о вас, — пошутил адвокат.

— Можно ли предложить вам чашку чая? — осведомилась Марта.

— Ах, пожалуйста, госпожа.

— Вы знаете, мэтр, — сказал Кан, — у нас образовался кружок, что ли, почти академия, где можно высказать любые идеи, даже самые сумасшедшие.

— Ну, это так говорится — сумасшедшие! — заметил Андре. — Вы знаете, в этом смысле во Франции с сумасшествием неважно.

— Есть, есть, — улыбался адвокат. — Одно толкование закона о презумпции невиновно... — И он прервал сам себя.

— Жизнь предлагает нам случаи настолько необыкновенные, что они превосходят всякую дерзость мысли, — сказал Иван.

— Вероятно, им все-таки предшествует мысль, — сказал Андре, — хотя, может быть, она и не побывала в нашей голове.

— В вашей?

— Вообще в человеческой.

— Что же это такое? — изумился Ив.

— Это называется идеализм, — примирительным тоном сказал Кан. — Марта, ты не можешь зажечь, пожалуйста, свет?

— А я могу рассказать вам, как однажды муха спасла жизнь человеку, — сказал Иван. Адвокат взглянул на него с опаской: он еще привыкал к тому, что Иван выглядит иначе и сидит рядом с ним как полноправный член культурного слоя.

— Что-то я не знаю такой басни Лафонтена, — поддразнил Андре.

— Какой же величины должна быть муха! — добродушно вставил и Кан.

— Самая обыкновенная, маленькая, домашняя.

— А я в это верю, — неожиданно сказала Марта, и все обернулись к ней и посмотрели.

— Один человек оказался в Сибири, в самой северо-восточной ее части. Ему предстояло прожить тут три года, и два он уже прожил. Посреди пустынной местности с чахлой растительностью, с болотистой почвой. Красивой была тут только трава весной и в начале лета, а потом и она начала желтеть и чернеть. Раз в день он ходил на полицейский пост (его учредили ради него одного) расписываться в особом журнале. Ему дали работу в местных мастерских, но занят он бывал редко: положение ссыльного его от других людей отрезало. И людей было немного: двадцать изб, семьдесят шесть человек.

Он жил надеждой на возвращение. «На Запад», — так в Сибири называют территорию западнее Уральских гор. Он читал и писал (и прятал написанное, разумеется), но главным его занятием было надеяться и предвкушать. И хотя жизненный опыт говорил ему об опасности надеяться чрезмерно, что мог он поделаться? О, он вернется! Окруженный теплом и любовью, он воспрянет, вздохнет, оживет! Со времени их разлуки прошло девять лет, а два года тому назад она сумела его навестить. Слепительная в радости встречи, порозовевшая на морозе, пахнувшая снегом, чистой.

Он был достоин ее. Истощенный телесно, конечно, но исполненный героизма и непреклонности в убеждениях, то, что настоящий мужчина приносит к ногам своей избранницы. И он сохранил все чувства! Они остались теми же с того дня, когда его схватили в пригороде Москвы. В тот день жизнь остановилась. Его как бы поместили в консервную — если не банку, то все же.

Великолепье дорогой женщины его — как бы сказать — чуточку — нет, не встревожило. Удивило, пожалуй. Так выглядит женщина, окруженная вниманием мужчины. Быть может, мужчин. Удивленье прошло, как тень от облака. Но вернулось и стало тревогой, когда в пачке писем — почта приходила сюда раз в две недели — он увидел конверт с драгоценными буквами, ибо написанными ее рукой. Он почувствовал желание бросить письмо в горевшую печь и удивился ему, не зная, что оно внушено, вероятно, ее ангелом-хранителем. И его тоже.

Письмо было длинным, чуть-чуть виноватым по тону, полным ободряющих формул. И он был немного подготовлен к тому, когда из листка бумаги вдруг высунулся блеснувший нож и ударил его в сердце. Д. писала, что оставалась верна ему все время, несмотря ни на что, пока он был в лагере. Но теперь, когда он на поселении и через год будет свободен, она может ему сказать. И должна. Дело в том, что... видишь ли... так получилось, что другой мужчина вошел в ее жизнь. И она его любит, хотя у него и нет тех качеств, какие есть у него. Жизнь не стоит на месте, дорогой мой, нет, не стоит. Она разделяет его

убеждения, в этом смысле ничего не изменилось, но в другом смысле изменилось всё.

— Друзья мои, вы понимаете, там, куда он забрасывал якорь терпения, там образовалась черная дыра, — сказал Иван.

Марта перевела дыхание. Она была, несомненно, самой внимательной слушательницей этой истории.

— Ну, а дальше? — спросил Ив. Его разбирало профессиональное любопытство.

— Девять вымороженных лет позади, и что же, так сказать, впереди? Разумеется, оставались друзья и убеждения; и это кое-что. Но целительная близость любимой? Она-то и питает надежду, а лишение ее грозит...

— Пойдите, — сказал Кан, — пожалуйста, факты, а уж выводы потом. Мы их сделаем сами.

— Несколько часов он созерцал безнадежность. Прежде он знал страдание преимущественно физическое, от голода и холода. Был великий смысл в перенесении их: остаться живым, и тем самым подтвердить истинность своих взглядов! Теперь же не стало смысла. И он, взглянув на часы, решил, что прекратит страдание сам, когда стрелки покажут ровно девять. Ему стало легче. Он поискал и нашел тонкую веревку. В деревянной балке потолка был гвоздь, на котором висела связка лука. За него он зацепил веревку и оставил длину с таким расчетом, чтобы, сев на стул, начать задыхаться. Ясно, что его бумаги и письма попадут в полицейский архив, и навечно. Бросив их в печь, он почувствовал дуновение свободы. Ему захотелось писать, он даже подумал о заголовке: «мои последние 66 минут на земле». Интересно, что он понимал теперь лучше довольно многих друзей, которые ушли таким путем. Их он порицал за малодушие, иногда даже публично. Так вот почему они так поступили.

На столе стояла керосиновая лампа. Он ждал. Он даже почувствовал нетерпение, словно наконец-то нашел дверь в стене и может выйти, и уж там-то всё по-другому!

Часы стояли перед ним, и минутная стрелка медленно, но двигалась к девяти. Никаких поступков делать больше не нуж-

но. Полная безответственность. Принятие сложившейся жизни. Великое одиночество зимней ночи. Завершенность пути. Исчерпанность поступков, слов и воспоминаний. Оставалась только сила, выталкивавшая его из жизни девять лет. И вот она тоже иссякает через шесть... пять... четыре минуты... три... Ну, с Богом!

В этой окончательной неподвижности он вдруг увидел, что кто-то шевелится. Там, где стол примыкал к стене и куда достигал освещенный круг лампы. Темная точка пересекала стол, направляясь прямо к нему несколько неуверенной походкой. Это была муха. Обыкновенная домашняя, проснувшаяся неизвестно почему в самую зиму, когда белый снег от холода кажется серым.

Муха принялась чистить себе лапки, как это мухи обыкновенно делают, правда, пошатываясь, словно от усталости. И потом она приблизилась к руке человека и стала карабкаться, цепляясь за кожу, топталась, щекоча лапками, и сделала попытку взлететь: крылышки ее пришли в движение, она зажужжала! Словно она сообщала что-то на своем языке. Она хотела сказать, вероятно, что наступит весна, как всегда наступала, что зима не вечна и здесь — несмотря на вечную мерзлоту. Что есть капли любви в этом мире, капли, лучики, песчинки. И даже вот что: есть люди, которые держатся тем, что ты существуешь и держишься! Может быть, я выражусь яснее, если скажу, что жужжание этой мухи было арией любви. Этой божественной мухи.

Иван был взволнован. Марта приблизилась к нему с чайником и даже почти коснулась его руки, наполняя чашку. Ее глаза увлажнились.

— И он не повесился, — сказал адвокат.

Все зашевелились, облегченно вздыхая.

— Мне пришлось однажды защищать мужчину, задушившего уходившую от него жену. Какая страшная сила в человеческих молекулах. Мощь тяготения, разрыва, удара! Вся эта химия психики.

— Но вы здорово устроились, мой северный друг, — сказал Кан. — Тут вас любит женщина, там вам ползет на помощь муха, слушайте, вы просто неуязвимы!

— О, пути Провидения, — сказал Андре. — Нельзя ли еще чашечку чая, Марта?

— Самое поразительное, что эта муха оказалась в одной священной книге, — сказал Иван. — И это обнаружил Отшельник. Быть может, вы о нем слышали, его называют Натуристом, он живет в брошенных карьерах.

— Обнаружил в Библии? — с надеждой спросил Андре.

— Представьте себе, в Коране. — Иван извлек ветхий блокнотик. — «Бог не стыдится сделать притчу из мухи».

Я это всегда знала, — сказала Марта.

Это трудней, чем слона, — добавил органист.

— Мне тоже хочется рассказать, — сказал австралиец. — О том, как меня спасла грязь.

— Моральная, физическая? — осторожно выпрашивал адвокат.

— Простая, осенняя. Или вот еще: ил на дне водоемов.

Марта брезгливо повела плечами, и Кан почувствовал, как от нее потянуло холодком. Да и другие почувствовали отчуждение.

— Студентом мне случалось зарабатывать деньги туристическим гидом в окрестностях Грин Вэлли. Может быть, вы слышали о знаменитой Зеленой Долине? Но не буду обременять вас подробностями. Она окружена кустарником и лесом на десятки километров, а потом начинается пустыня. Местность трудно назвать красивой, в ней разлита — как бы сказать — настороженность. Торжественность скудности, если хотите. Но там, где вода — там сущий Эдем. Нас было двое гидов и семнадцать туристов, и мы прошли сорок километров по тропам зверей, до пересечения с дорогой, куда пришел автобус, чтобы отвезти всех в Сидней.

Тогда я остался, я хотел пересечь Грин Вэлли и выйти к морю. Местности по-настоящему я не знал, но подумал, что знаю другие, похожие. К вечеру небо переменилось: сероватые

облака почти касались земли бородами. Бесшумно вспыхивали далекие молнии, но скоро докатился и первый гром. Началась сухая гроза, всегда неприятная какой-то противоестественностью, — хотя всего лишь тем, что мы привыкли к дождю. Привычка, друзья мои, стертость повторяемости, колея наезженности! Вот что нужно нам, бедным людям. Вы согласитесь, конечно, что всякий человек беден, нищ, муравей. Из-за своей телесности, разумеется.

— О, какой приятный радикализм! — воскликнул Андре. Кан посмотрел на него невидящим взглядом.

— Вдруг позади меня послышался топот, — продолжил он торопливо. — Я оглянулся. Семья кабанов бежала ко мне, и это было настолько удивительно, что я не успел ничего подумать и, следовательно, испугаться. Животные были озабочены чем-то. Я посторонился, и они промчались, обдав меня пылью и жаром горячих туловищ. Параллельно дороге тоже бежали животные, между деревьями мелькали коричневые пятна газелей. И запах догнал меня тоже и все объяснил: запах горелого. Молния зажгла лес, и огонь двигался, очевидно, в мою сторону. Я убыстрил шаги, хотя сразу сообразил, что до выхода из леса на равнину нужно пройти километров десять, а это два часа. Меня осенило: впереди было место по имени Таузенд Бруклитс, Тысяча Ручейков. Множество мельчайших источников, словно капилляры, выходили на поверхность. Недостаточно сильные, чтобы родить течение воды, они питают болотистый пруд. Вода стоит всегда, даже в месяцы зноя.

Вдруг свет сделался серым, а конец зеленого коридора сзади меня — огненно-черным. Незнакомый прежде страх поглотил меня целиком, всякая мысль казалась бессильной. Бежать, пока есть силы, и все.

Блеснул водою вождеденный зеленый овал. Яростный натиск меня догонял, пальба ветвей, взрывааемых закипающим соком, и гудение пламени. Я подбегал к спасительной луже, когда вал жара обрушился на меня сзади и сверху, и бросил меня в воду.

Смерть и избавление одновременно. Вода покрыла мне спину, а подо мной расступалось жидкое и густое, ил или глина. Жар, слава Богу, спал, я старался оглядеться, но это был еще не самый пожар, это был шар жара, накатывающийся первый и воспламеняющий всё. И затем начинается собственно пожар, и он длится десятки минут, часы. Потрясенный, я увидел, что моя лужа уменьшилась вдвое, что я сижу уже не в воде, а в жидкой грязи, защищенный по пояс. Я брал пригоршнями теплую грязь и накладывал себе на голову. И вдруг мне сделалось всё безразлично. Усилия без должного результата, в конце концов, утомляют.

И я сдался. Последним усилием я углубился в жижу и увидел совсем близко от моего лица круглые от ужаса — или мой ужас так в них отразился — глаза жабы, налившиеся кровью. Ход событий от меня ускользал: на поникшей осоке лежал тлеющий рукав моей рубашки, но мои обе руки были целы, а плечи и спина несли странную тяжесть, и я не мог пошевелиться и сбросить ее. И тогда свежая волна прибоя омыла меня, мне стало вновь десять лет, и я потерял сознание.

Слушатели молчали, переполненные чувствами Кана. И только теперь они вздохнули и убедились, что он с ними и жив. Марта взволнованно коснулась его руки, словно извиняясь за недавний жест отчуждения.

— Но вы рисковали! — сказал адвокат. — Вы могли испечься в этой рубашке из глины!

— Вот нужное слово — рубашка! — улыбнулся австралиец, с наслаждением расправляя плечи. — Почти.

— Боже мой, Боже мой, — приговаривал Андре. — О, какой шок! На всю жизнь!

Все смотрели на Кана.

— Интересно, что я, окаменевший, пришел в себя. Первое желание было пошевелиться; не удалось. Я чувствовал, что слезы текут и промывают глаза, что я немного вижу и что огонь отдалился. Мои воспоминания крайне скудны, они словно зарегистрированы частью моего существа. Потом я увидел людей, но не было сил удивляться, плакать или понимать. Меня выкапывали осторожно, словно драгоценное растение, при-

готовяемое к пересадке. Действительно, меня пересадили на вертолет, как я узнал об этом впоследствии.

— Да откуда он взялся? — почти с неудовольствием сказал Иван, словно вторжение техники нарушало эпическую, библейскую картину.

— Мой коллега вернулся с туристами в город и сказал, что я могу быть в зоне пожара. И на всякий случай послали.

— *My God*, — неожиданно сказала Марта, — бедный *Эл-бем!* Ты столько страдал!

Проявление женской сердечности тронуло и смягчило собравшихся. Кан раскуривал трубку по-настоящему, весь уйдя в это занятие. Так бывает с застенчивыми людьми, нечаянно завладевшими общим вниманием.

— Мне тоже вдруг вспомнился случай, который до сих пор питает мое подсознание, — сказал Андре. — Только не прозвучал бы он диссонансом в нашем сегодняшнем клубе, в нем нет ничего героического.

— Вот и было бы кстати вернуться к реальности, — с ноткой сарказма заметил адвокат.

— Видите ли, я часто тогда бывал у Анриэтты, нашей прихожанки и певчей, чтобы ее поддержать. Дело в том, что ее дочь заразили при переливании крови, — помните это дело?

— Конечно, конечно! — вскричал адвокат. — Десятки больных и мертвых — и ни одного виноватого. Слишком крупные были чиновники, правосудию не по зубам.

— Ну, тут я судить не могу. Не это меня поразило — да и кого это удивило бы? В то утро я долго говорил с Натали. Болезнь ее очень пугала, а зашла уже далеко и приближалась к концу. Страх смерти отнимал у молодой женщины силы. Знаете, как гипноз: все бесполезно, все равно я умру, и так далее. Конечно, такой гипноз нам тоже необходим, он предотвращает абсолютное сопротивление смерти. Всему свое время: и гипнозу, и смерти. Так вот, выяснилось, что Натали надеялась на выздоровление, хотя в то время никакого средства еще не открыли. Надеялась. Ей подробно не объясняли, в какой стадии она находится, однако завеща-

ние было уже написано, и так далее. Анриэтта-то знала, конечно. Ее самоотверженность была беспредельна.

— И понятно, это же ее ребенок, — сказала Марта.

— Нет, тут что-то другое, она хотела родить ее во второй раз, — заметил Иван.

— В то утро Натали было очень плохо (и забегая вперед, скажу, что она утасла через несколько дней). «О, да, Господь Бог меня здорово затормозил, — так выразилась она, — и, может быть, вовремя! Но слишком жестоко: мне хватило бы вполовину, чтобы понять. Теперь же я, кажется, не успею воспользоваться пониманием». Потом пришел Жорж, сын Натали, нечаянно заразившийся тем же недугом от матери, точнее, понесший в себе с рождения неумолимый вирус. В свои одиннадцать лет он был необыкновенно умен и вместе — полон страданий, страхов. Он превратился во взрослого раньше, чем выросли его кости и тело.

Анриэтта устроила файф-о-клок с чаем и печеньем. Я подарил Жоржу кусочек красивого минерала, специально купленного для него (в детстве я сам любил красивые камни). Если тебе плохо, сказал я ему, то считай до двадцати двух, глядя на самый красивый узор. Я подумал, что так подарю ему плацебо: кто не знает, что физическое страдание состоит из частей, и одна из них — душевная?

— Андре, можно налить вам чаю? Или вы предпочтете кофе? — Анриэтта была подчеркнуто любезна со мной. Она ценила мужское присутствие, будучи вдовой сама, а теперь, после бегства мужа дочери, испуганного одиозной болезнью, — особенно. Круг их общения весьма изменился, не стало приятелей, когда люди просто симпатизируют. Теперь приходили добровольцы из разных ассоциаций, люди идей и веры. Да и я, признаться, следовал скорей убеждениям, хотя и жалости было место. Впрочем, в наше время жалость почему-то предосудительна.

— Я провел юность в стране, где она запрещалась государственной моралью, — вмешался Иван. — Считалось, что лучше убить, чем жалеть, потому что жалость унижает человека.

— Какая парадоксальная мотивировка! — сказал Ив. — Когда-нибудь расскажите мне об этом подробнее.

— Мы пили кофе, то есть пили мы, Натали же присутствовала. А ей наше присутствие было скорее приятно, она смягчилась. Жорж вдруг вынул мой минерал и смотрел на него, шевеля губами. Потом снова он смотрел и шептал, и я вспомнил о своей выдумке. Мальчик считал до двадцати двух, чтобы боль прекратилась. На пятый раз я почувствовал стыд: увы, получилось не плацебо, а обман. К счастью, мальчик убедился в его бесполезности и оставил.

— Вот и весна, — сказала Натали. — Если ее пережить, то почти обязательно переживется и лето, и осень.

— О, разумеется, — ответила Анриэтта, — ничего окончательного не бывает, несчастье для чего-нибудь нужно.

— Мама, почему ты не покажешь Андре последние диски? — сказала Натали и вдруг закашлялась.

— Жорж, пойди, поиграй в свою комнату, — немедленно распорядилась Анриэтта и устремилась к дочери. Та наклонилась и свесилась с кровати, рискуя упасть, и кашляла сухо, а потом со странным бульканьем, будто кто-то пил жадно воду. Но нет, это у Натали горлом шла кровь. И потом вдруг все успокоилось, и больная откинулась на подушку.

— Мама, не трогай меня, — сказала она.

Мать принесла тазик и губку, намереваясь убрать лужицу с пола, и вдруг побледнела. Она переводила растерянный взгляд с дочери на лужицу, с лужицы на меня, с меня на дочь. Лишь через долгие секунды я понял, в чем коварство ситуации. Кровь была для Анриэтты смертельно опасна, не переставая быть кровью дочери. Слово отныне запрещалось коснуться себя самой! И в это мгновение мать и дочь разделились, я это почувствовал остро.

Органист остановился, словно мысль его пресекалась.

— Слушайте, что вы устраиваете Достоевского! Не лучше ли просто взять резиновые перчатки и вымыть?

— Именно так! — живо отозвался Андре на замечание Кана. — Анриэтта пошла и вернулась в резиновых перчатках.

И она еще взглянула на меня, словно хотела убедиться, что свидетель не возражает. Мой интерес... нет, не то слово, правильное сказать — потрясение — было вызвано столкновением двух экзистенциальных мотивов. Вы понимаете? Жест доброты, ставший смертельно опасным.

— Несомненно, тут особенный случай, — задумчиво сказал Иван. — Исполнение морального императива грозит гибелью...

— Скорее, подчинение моральной привычке, традиции, — заметил Ив.

— И еще это библейское верование, что душа человека живет в его крови, и запрет ее есть.

— И в то же время — повеление ее пить в церковном обряде.

— Как же, запрещение! — воскликнула Марта. — У мясников сколько угодно кровяной колбасы.

Кана передернуло.

— И жира.

— Марта, вы сгущаете краски, — поморщился адвокат. — Согласитесь, эти разновидности пищи ныне не в почете.

— Может быть, здесь, вблизи столицы. А отъедьте на сто километров...

— Марта, ты не сделаешь ли нам снова чаю и кофе? — спросил Кан, поспешно хватаясь за трубку.

Прибытие чая и коржиков заняло всех на мгновение, но затем все обратились взглядами к адвокату, ожидая и от него сообщения.

— Кажется, у нас сложился кружок рассказчиков, — сказал он. — Боюсь, на моей памяти нет ничего судьбоносного.

— Никогда не поверю! — сказала Марта. — Включите телевизор — там убийства да суды.

— Ну, в жизни это все-таки реже.

— В нормальной жизни. Теперь ее нету нигде.

— Даже у нас. Знаете этого типа — Ичкока? Пойдите вечером на станцию — мужья и вообще мужчины встречают своих женщин, когда те возвращаются из Парижа. От семи до де-

вяти. А потом нигде ни души, все сидят по домам. И ничего нельзя сделать.

— Глас Марты — глас Божий, — сказал Кан.

— Всегда были зоны, где правосудие отсутствует, — смущенно сказал адвокат, словно он отвечал за такое положение дел. — Во времена Людовигов, например, Булонский лес был практически недоступен, там жили разбойники. Его приходилось протесывать войсками.

— Существует взгляд, что человечество не может жить без преступников, — заметил Кан. — Без них не стало бы одного из элементов, связывающих людей в общество.

— Даже тут богачи оправдались! — возмутилась Марта. — Конечно, в *ашелем* они жить не поедут! (Этот страшный неологизм означает блочный дом пригородов).

— Мое первое дело и было защитой как раз разбойника, — адвокат улыбался своим воспоминаниям. — Меня удивляет, что мне хочется о нем рассказать, и при этом я совершенно свободен, хотя дело чуть не погубило мою карьеру. Вероятно, вы даже слышали о нем. Но сначала послушаем Марту.

Молодая женщина посмотрела растерянно.

— Почему бы и нет! Положим конец мужскому засилью! Что вы нам расскажете, Марта? — вежливо спросил органист.

— Пожалуйста, пожалуйста, — почему-то обрадовался Кан. — Твое видение вещей очень важно для нас.

— Да мне... да я никогда... — выговорила смущенная Марта. Она взглянула на Ивана, словно надеясь на помощь.

— Да первое, что придет в голову! — воскликнул апатрид.

— Ну, правда, ничего не было в моей жизни сверхъестественного! — защищалась Марта, но всем было уже ясно, что она вспомнила что-то. — Разве вот один случай... Ну, хорошо. Я работала тогда в одном издательстве — с тех пор оно прогорело — и там был один старенький метранпаж. Очень хороший и порядочный, справедливый. С ним было приятно иметь дело. И умный. Ну, а потом, как это бывает со всеми, он стал болеть, его забрали в больницу, и я пошла его навестить. Прихожу...

— Вы помните, в какую больницу? — вставил адвокат.

— Ах, сразу не вспомню. Скорее всего, Саль-Петриер.

— Он был человек небогатый, — в голосе Ива сквозило удовлетворение.

— Слушайте, ну и что с того, если так? Больница для бедных, тем не менее, очень хорошая, — защищал ее Андре.

— Да почему это важно? — не понимала Марта. — Пришла к нему в больницу и говорю: мсье Анатоль, ваши коллеги вас приветствуют и желают скорейшего выздоровления. А он лежит худенький, бледный на кровати, все крутом белое, смотрит на меня печально и ничего не говорит. Так мне его стало жалко. Вот, думаю, всю жизнь он проработал, а теперь даже пенсией воспользоваться не сумеет. Да и что он делал бы один? Крутом него печаль и одиночество. Люди, как бильярдные шары, я замечала. Ударятся-встретятся — и покатались в разные стороны. Вот и метранпаж Анатоль — хороший, порядочный человек, а умирать собрался, словно всякий другой, может быть, и непорядочный, и вообще вор и мошенник. А он смотрит на меня и говорит: «Марточка, хорошо, что вы пришли. Я, наверно, долго здесь не протяну, да и болит всё, надоело мне терпеть с утра до вечера. Хочу вам сказать одну важную вещь, вы ее запомните и всем там расскажите».

Марта остановилась. Кан посасывал потухшую трубку, готовый придти на помощь. Все молчали, надеясь на откровение. Всегда от умирающих ждут чего-нибудь особенного, и последние слова великих людей передают из поколения в поколение. Гёте сказал, например (в переводе с немецкого): «Больше света!» Между прочим, нечто подобное сказал и один пехотинец, умиравший на Дальнем Востоке в 60-х годах, подумал Иван. «Зажгите свет, здесь темно!» — сказал он, но его словам значения не придали. Их запомнил будущий эмигрант.

— Продолжай, Марточка, — сказал Кан.

— «Марточка, продолжаю, — сказал Анатоль. — Видите ли, всю мою жизнь я любил креветки. Часто мне хотелось их покушать, но я себе в этом отказывал. Сами знаете, они довольны дороги, да и не столь уж необходимы организму, вы согласитесь. В конце концов, это лакомство. Зрелый человек должен владеть собой, подчинять своей воле капризы и страсти. И это

я делал всю жизнь, по крайней мере, в отношении креветок. Теперь слушайте меня внимательно, вот к чему я пришел за это время болезни: если вы любите креветки — кушайте их, кушайте! Не отказывайте себе!» — и Анатолий упал на подушки.

— И что же, вы последовали его совету? — осторожно спросил адвокат.

— Да нет, креветки я не люблю, — смущенно сказала Марта. Вероятно, она вдруг увидела, как незначителен ее эпизод рядом с другими.

— Спасибо, Марточка, — ласково сказал Кан. — Можно подумать, что креветки играли роль в его философии жизни. Были своего рода моральным ориентиром. Это есть во многих религиях. Кстати, мэтр, вы любите креветки?

Ив, размышляя, поднял взор к потолку.

— Откровенно говоря, я предпочитаю омаров, — сказал он, наконец.

— Можно позвонить? — спросил вдруг Иван.

— Разумеется, — сказал Кан, и Марта повела Ивана к телефону. Он набрал номер Матильды, и уже набирал воздуха в легкие, чтобы поздороваться. Но не отвечал никто. Это было странно: она намеревалась вернуться не позже шести и тем более семи.

— Любезные друзья, я должен идти, — сказал Иван.

— Что-нибудь случилось? — спросил Кан, вынимая трубку изо рта.

— Надеюсь, что нет.

— Это далеко? — вдруг забеспокоился адвокат. — Я вас могу подвезти, мне безразлично.

— А ваш рассказ?

— В другой раз. Я вдруг вспомнил о важном randevu.

— Спасибо, вы меня очень выручите. Извините, друзья мои, этот побег, но я очень встревожен.

— Не волнуйтесь, у меня нет никакого предчувствия, все хорошо, — сказал Андре. Он тоже вдруг заторопился к себе.

Адвокат повел машину быстро и ловко.

— Я давно вас не видел, Иван, — сказал он. — Судя по всему, дела у вас пошли хорошо?

— Дела? Простите, какие дела? — рассеянно ответил попутчик. — А у вас как дела? Хорошо?

— Вот ваша улица?

Иван взглянул на окна квартиры Матильды, и сердце его сжалось: они были черными. Уж не накликал ли он беду своими рассказами? Бездна зовет бездну, это известно, хотя люди этого и не знают, они думают, что можно вспоминать и фантазировать без всяких последствий. Как бы не так!

— Простите, Ив, я должен бежать! Я даже не могу вас пригласить!

— Куда? — удивился юрист. — Ах, ничего, ничего! До скорого: нужно скоро подрезать розы...

Он вдруг смутился, вспомнив, что теперь они как бы друзья и равные по рангу знакомства, и добавил:

— Если вы можете, разумеется, если это не...

— Непременно, непременно, — заверял его Иван.

Света в окнах не было.

Он не знал, что и думать. Он был в панике. Чтобы спастись, он стал вспоминать, как обычно, происхождение слова. Что оно от имени Пана, лесного божества, дорогого для французских поэтов, но это его не особенно успокоило. Готовый ко всему, он вбежал в подъезд и бегом поднимался по ступенькам. И задыхаясь от бега, вдруг увидел сидящую на лестнице Матильду. Глазами, полными слез, она смотрела на Ивана, подняв голову от колен.

— Это ты, — сказала она. — Я потеряла ключи... — говорила она сквозь слезы. — Я не знала, где ты, и тебя почему-то не было...

Иван встал на колени ступенькою ниже и осторожно прижал ладони к вискам Од. Она смотрела на него полными тревоги глазами.

— Моя дорогая, — сказал он. И вдруг заплакал. Обильно, неудержимо. Как будто прорвалась плотина. И хлынуло всё накопившееся за последние двадцать лет, за последние десять и пять. Матильда оправилась и тут же стала действовать. Ивановым ключом она отперла дверь и повела его за руку в комнату,

и усадила его на постель. Она расстегнула ему ворот рубашки и, намочив салфетку теплой водой, стала обтирать шею и лицо. И вдруг она взяла его руку и поцеловала. Лучше бы она не делала этого: ласка была чересчур неожиданной, и сердце мужчины почти остановилось. Он решил, что умирает.

— Ма... Ма... — пытался он произнести ее имя, и не мог.

— Дорогой мой, дорогой мой! — негромко повторяла она, прижав Иваново лицо к груди, словно желая напоить его теплом, так, что он слышал стук ее сердца.

— О... О... — но и второе имя ему не удавалось произнести.

— Ведь есть же любовь на свете, правда, Матильдочка? Не всё же умерло, не все, правда? Мы ведь живые и любим, правда?

— Ивануш-ка-дуратшок, — старательно произнесла она название русской сказки. *Petit Ivan le petit fou*. Голос ее дрогнул. Гладкие прохладные пальцы нежно трогали его мокрое лицо.

— Давай мы уже ляжем, — сказала Матильда. — Я хочу прижаться к тебе.

Свет уличного фонаря проливался в комнату. Она вернулась из ванной и подошла к постели. Ее тело белело в полутьме. Он приподнял край одеяла, она быстро легла и, повернувшись, придвинулась к нему вплотную спиной. Завладев его рукою, она прижала ее к животу. Усталые после пережитого волнения, они задремывали, засыпали, и их двойное тепло увеличивалось. Губы Ивана касались бугорков позвонков на спине Матильды. И он благодарил Кого-то, уносимый в забвение течением ночи.

Свет фар проезжавших автомобилей отсвечивал на потолке. Слышались отдаленные звуки дома. Охваченные дремой, покоились они, словно достигшие предела жизни. Матильда взяла его руку и, потянув вверх, поцеловала ладонь. А потом опустила ее и положила внизу своего живота, на покрытый волосами бугорок. И они заснули.

Переплыть эту ночь, прижавшись друг к другу.

Переждать эту жизнь, любя друг друга. Вот занятие, достойное человека. Почему оно не удается почти никому?

Быть может, им удастся? Опыт страдания научает осторожности. И жалости. И ясно, что его время заканчивается. Ночь укрыла их тьмой, ветер сечет окно холодным дождем.

Иван проснулся первым и боялся пошевелиться. Матильда ровно дышала, охватив его за шею обеими руками. Быть может, от взгляда мужчины она начала просыпаться, зашевелилась и залезла носом под подбородок Ивана, что-то шепча.

— Ты проснулся? — спросила она. Голос звучал приглушенно.

— Да.

— Давно? А я еще сплю, сплю... так тепло здесь... Ты очень удобный, чтобы спать с тобой.

— Пока я спал, я думал о нашей жизни.

— Ты можешь делать то и другое? — ее голос и смех звучали приглушенно, поскольку она прижалась лицом к его груди.

— Наш жизненный цикл немного не совпадает, — сказал Иван. — Чисто практическая трудность в том, что я умру раньше, и как ты будешь одна?

Матильда потерлась носом о его грудь и подтянула колени, словно младенец в животе матери.

— Если б я был твой сверстник, — начал Иван.

— Их я боюсь, — сказала Матильда. — Они спортивные, быстрые. Ну и хорошо: нам не придется стариться вместе. Я подумала... — она взяла его руку и прижала к горячей гладкой щеке. — Если будет ребенок... понимаешь? Он будет немного вместо тебя, ты понимаешь? И такой же любимый.

От простоты и наполненности этого рассуждения Ивана пронзила дрожь. Радость столкнулась со страхом поверить. Казалось бы, чем он рисковал? А вот страшно: это же чудо. Поправка к закону природы. К несправедливости жизни.

Он касался губами волос Матильды, шелковистых и колких, и осторожно проводил рукой по спине и лопаткам, и она отвечала на ласку едва уловимым движением.

— Ты понимаешь? — добавил он вслух. — Наши жесты любви.

Он осторожно взял ее голову в ладони, так, что волосы обрамили лицо. Женщина смотрела ему прямо в глаза, и серьезно. Но вот ее веки дрогнули, и розовые губы приоткрылись ему навстречу.

Он любил ее очень сильно в это мгновение.

Патрик не выходил на работу три дня, пораженный запоем. А когда он пришел, Жожо был откровенно рассержен:

— Больше не приходи: ты уволен.

— О, нищета, опять вся моя семья — нищета!

И правда, жена его с ним разводилась из-за его болезни. Патрик боролся за место в жизни последним оружием — пафосом.

— О, сестра моя — нищета! Дочь и жена!

— Так невозможно: хотя бы ты позвонил, прислал бы сказать, предупредить, наконец! А я не знал, что ответить! Меня спрашивают: где Патрик? И я, начальник, не знаю, где мой подчиненный! И почему его нет на работе!

Высокий Патрик сутулясь молчал. И все молчали. К счастью, телефонный звонок вернул нас к реальности: возле дома для престарелых с грузовика упали брикеты соломы, и их нужно было срочно убрать.

— А потом поезжайте в парк, там после праздника грязно, — распорядился Жожо. С возвращением жены он сделался веселым, молодцеватым. И его шутки стали приобретать развязность. И лицо часто делалось красным от грузного смеха. Как ни относиться к Библии, ее замечания подчас справедливы. «Лицо человека в печали лучше», — говорит она.

Они сидели в машине и ехали.

— Скоро конец контракта, — сказал Чарли. — И мы все расстанемся.

— Ну, не все, кое-кто останется в штате, — сказал Марк.

— Ну да, двое, трое, а остальные двадцать?

— А остальные двадцать... — повторил Марк, не зная, куда их деть. — Да не все и остались бы. Иван, ты остался бы?

— Скорее всего, нет, — сказал Иван. — Мне некогда: я пишу книгу. И потом, тут уже все ясно, ничего нового ждать не приходится.

— Он пишет книгу, а здесь больше нет ничего нового! — Тон Чарли был откровенно саркастичным. — После двадцати пяти лет ничего нового не бывает.

— Это правда, но зато после тридцати семи снова все новое, потом после сорока пяти, пятидесяти шести. А после восьмидесяти-девяноста — абсолютная перемена.

— После девяноста! Такая перемена, что жизнь кончается!

— Тогда-то и начинается главное.

— Да откуда ты знаешь?

— Из своей головы.

Чарли посмотрел на голову Ивана с сомнением и ничего не сказал. Растянувшись в цепочку, они шли через парк, подбиграя бумажки, пивные банки, бутылки. Приблизившись, Марк вдруг сказал:

— А я верю.

Иван задумчиво на него посмотрел. Признание Марка было несколько неожиданным: он казался скептиком. Вернее, агностиком, как он себя и называл. Да и многие так говорили:

— Я — агностик, — говорили они.

Иван подобрал очередную бумажку. То был кусочек вырванной страницы. Он рассеянно прочитал:

Lorsque tes mains s'égarent
Sur le bas de mes reins,
Et croisant mon regard
Elles changent de chemin...

Строчки показались ему знакомыми. Неподалеку белел на зеленой траве похожий клочок бумаги, и Иван пошел к нему с любопытством. И прочел продолжение:

Refusant d'assouvir
L'appétit de tes sens,
Jusque dans mon sourire
Transparaît l'innocence.*

* Когда руки твои спешат/К основанию бедер,/Но, встретив мой взгляд,/Свой изменяют путь,//Отказавшись насытить/Аппетит твоих чувств,/В улыбке моей/Сияет невинность. (Из стихотворения Marie-Claude Thébaud).

— Иван, аллѐ, что ты там делаешь! — кричали ему коллеги.
— L'innocence, — бормотал он, разглаживая листки. — Невинность. — Словно то было посланное ему письмо, принесенное не волной и течением вод, а ветром. Невинность и мир. Он подумал и спрятал стихи в густой ветви кипариса.

На прощанье нужно сделать ребятам подарок. Как Иван ни старался, на ум приходила бутылка крепкого алкоголя. Пастис. Ну, что ж, если уж ничего другого не нужно.

Тяжелая зрелая листва на деревьях, обступившее лето. На сердце немного щемило от предстоящей разлуки. Словно он вошел в поток этой жизни и плыл некоторое время со всеми, а теперь оставляет их, не решив ни одного вопроса, не решив ничего.

Он сел на лавочку, чтобы собраться с мыслями. Вдруг ему предстал образ огромного безголового тела, и это было человечество все целиком и сразу, слепленное из крохотных комочков-людей. Комочки отделялись один за другим и исчезали в окружающей темноте, а тело продолжало движение, сокращаясь и извиваясь, наподобие гигантского червя.

— Скоро и мне — и нам — отделяться, — произнес он вслух.
— Настает время великого одиночества.

Знакомый гудок прозвучал почти над его головой, требовательно и раздраженно. Бригада, сидевшая в грузовике, призывала его: близился полдень, обед. Иван доехал с ними до мастерских и там незаметно отстал. Ему хотелось быть в другом месте.

Матильда еще не вернулась, однако он почувствовал ее радостное присутствие: так отнеслись к его появлению вещи и книги, и растения на подоконнике потянулись к нему. «Мистика видимого мира», — подумал он. Все связано и сплетено, всё соткано в громадный хитон бытия.

Он вынул тетрадь и удобно уселся. Накопилось что записать. Новые страницы — со времени сближенья с Матильдой — были другими, они излучали тепло, даже жар. А некоторые, написанные когда-то, казались холодными, скользкими. Иван их вырвал и выбросил: никому не нужна эта горечь, никому.

Перенес — и благодари судьбу, если уж не можешь поблагодарить Создателя. И все.

Он наслаждался нежностью ко многим вещам, словно они были друзьями Матильды. Уголок ночной рубашки выглядывал из-под подушки, светло-зеленая блузка висела на плечиках, а внизу стояли туфли с высокими каблучками, напоминающая о стройности ног, а рядом — баскетки, порядком послужившие владелице.

Ее шаги послышались на лестнице. Щелкнул замок, и тут же раздался голос:

— А, ты уже здесь!

От удовольствия Матильда жмурилась.

— Такая погода! И скоро отпуск! Куда мы поедем в мой отпуск?

— Куда хочешь. Кстати, куда тебе хочется поехать в отпуск?

— А тебе?

— Мне, признаться, и здесь хорошо. Почему-то так пишется, жалко оставить.

— Ну, ты возьмешь бумаги с собой, вот и все, правда? И мы поедем в Нормандию. Ты возьмешь туда свою тетрадь: ей тоже нужно проветриться. Как все-таки странно: твое тело моложе твоего лица и рук. У него другой возраст, правда, странно?

Матильда стояла позади него, обнимая за плечи, и терлась лицом о затылок.

— Когда я закончу книгу, — сказал Иван, — я буду отдыхать.

— Жаль только, что я в ней ничего не понимаю. Даже букв!

— Да ее переведут. В наше время это обычное дело. Тебе я оставляю ее в наследство.

— Ты будешь еще писать? Мне хочется с тобой поболтать, и чтобы ты смотрел. Я немного ревную тебя к твоей толстой тетради, но я ее тоже люблю!

— Я на таком лирическом месте, так все доброжелательно, что не хочется ставить точку.

— Ну, поставь многоточие или восклицательный знак.

Иван еще дописывал фразу, а Матильда смотрела, лежа на животе и подперев лицо ладонями.

— Ну, и что получается?

— «Они стали счастливы и жили еще долго-долго...»

— Да это просто сказка!

И тогда за окном послышался колокольный звон, он делался все сильнее. Матильда открыла окно, и торжественный *Te Deum*¹ наполнил комнату. Часы показывали половину первого ночи. К тяжелому звучанию колоколов примешивались далекие крики «ура» и гул волнующейся толпы.

— Ты знаешь, что это? — догадывался Иван. — Франция — чемпион мира!

— Ах, ну конечно, сегодня только и разговоров об этом футбольном матче!

В городке почти никто не спал, а если кто и успел заснуть, то был разбужен. Китти и Жожо бросились друг другу в объятия. Адвокат и его дети открывали бутылку шампанского перед телевизором. Марк покачал головой, услышав церковные колокола, и сказал:

— Скажите, пожалуйста, и кюре с нами!

Мэр, дремавший перед экраном в кресле, проснулся и некоторое время не мог соединить два противоречивых события, глубокую ночь и колокольный звон. Наконец, это ему удалось, и он облегченно вздохнул.

Взволнованный Андре звонил отцу Фишеру по телефону, желая убедиться, что ничего страшного не произошло.

— Аббат Фишер, вы слышите?

— Франция победила! Я распорядился звонить! Вспомните апостола Павла: «Плачьте с плачущими, и радуйтесь с радующимися»!

— Пожалуй, пожалуй, — успокаивался Андре. К футболу он был равнодушен. Остался спокоен и Кан, хотя он разделал воуду-

¹ Тебе Богу славим. Песнопение католической церкви, здесь — торжественный перезвон.

шевление Марты и даже спустился с нею на улицу, где возбужденные люди двигались в сторону мэрии. Ликование не миновало и полицейского участка. Дежурные не спали и не отрывались от экрана, а потом кто-то поспешил отнести потрясающую новость обитателям камер. Ичкок не проявил никаких чувств, но некоторые обрадовались. И заговорили о возможной амнистии.

Снова Отшельник почувствовал зов. Оставив занятия, он немедленно пошел в сторону покатого склона, заросшего молодыми деревьями акации. Здесь был мало кому известный вход в подземные галереи, уходившие глубоко под холм, на котором опасно жались последние дома городка.

В галереях бывали обвалы, приходилось перелезать через кучи земли и известковые блоки, следуя за едва приметной тропинкой, возникшей за годы хождения здесь Отшельника. После нового поворота галереи его обступили тьма и молчание. Он зажег лампу «летучая мышь» и продолжал путь. Вскоре прекратились и сквозняки: галерея упиралась в тупик. Однажды он вздумал определить глубину залегания своего кабинета и подсчитал, что до поверхности здесь пятьсот или шестьсот метров, не меньше.

Это была его «точка молчания». Несколько лет тому назад он принес сюда стол и стул, подумав, что захочется что-нибудь записать. Не захотелось ни разу. И сейчас он просто сидел за столом. Чернота стояла вокруг и нависала сверху. Он задул лампу. Тьма делалась все более осязаемой. Но тишина отступала: казалось, стук сердца и движение крови в венах наполнили подземелье. Тело жило и пульсировало, словно дневной город.

Он сидел, положив руки на колени. Исчезали последние мысли. И последней была — он ей улыбнулся, старой знакомой: он чувствовал себя наподобие планеты в темном беззвучном космосе, одиноко летящей в пространстве, свободной от всего. Так и он пребывал в темноте, ни в чем не нуждаясь. Но в ком-то он нуждался, и сюда он пришел, чтобы повседневно за-молкла и таинственный голос сделался отчетливее. Тело стало

стихать: сердце билось медленнее, и вслед за ним замедлялось дыхание. Наступало особенное удовольствие, почти наслаждение: пребывание во тьме и молчании. Словно предисловие к чему-то особенному, к сообщению такого рода, что ради него стоило жить. Он ждал и жил в этом ожидании, делавшемся все слаще и свежее.

Пуатье — вила Маргариты Юрсенар во Фландрии — Париж

ПРОЗА МИЛЛЕНИУМ

Машинопись, найденная в строительном мусоре

Стояли мешки, наполненные штукатуркою и обломками плитусов, один к одному по-солдатски, на улице Полковника Бонне. Строительный мусор, какой бывает при ремонте квартиры. Высовывался картонный уголок, я его потащил, предвкушая, и вытащил ветхую папку. Листы потекли из нее. Машинопись, испещренная поправками черными, синими, а то и красными чернилами. Сверху наклеен был лист с чистенькой компьютерной машинописью.

«Cher Dimitri, mes occupations immédiates m'empêchent... — читал я. — Дорогой Димитри, занятость мешает мне уделить время этим запискам. Еще ощущаю, что они принадлежат не мне: сейчас у моей души другие задачи. Возвращаясь из Нормандии, я их обнаружил случайно в мусорном бачке поезда. Оставил ли бумаги владелец, нашедший их или укравший у автора? Неизвестно. Вряд ли кто-либо их похищал: кого в наше время соблазнит машинопись, покрытая поправками, вписками, пятнами кофе и, вероятно, чая?»

Меня это не смутило. В юности я изучал сонеты Бисмарка, по которым ходили русские солдаты. Меня трогало, что человеческая мысль не погибает и в таких условиях. Убитая в стертых местах, она далее проступает неожиданно во всей своей свежести. Так мыгчащий немой вдруг прорывается через узы уст и произносит фразу чисто и звонко.

Наслаждение тебе, несомненно, знакомое, ты не смешаешь его по-дилетантски с удовольствием все запомнившего отличника. Вовсе не обязательно, чтобы всякое чтение оставляло след в нашем сознании вплоть до цитат, восстающих из тьмы прошедших лет, гению достаточно секретной алхимии впечатлений. Имею в виду человеческий гений, не только твой или мой.

Беглое прочтение заставило меня думать, что русский язык записок близок к языку окружения Жана Бунина, но, как ни странно, тематически они принадлежат недавнему времени. Не дать ли в газете объявление о находке?

Будь здоров, надеюсь вскоре видеть тебя и очаровательную Астрид. О переводе Пишона в Лион нечего и думать. Переводы Покермана никуда не годятся. **Z.** »

Я читал предисловие, сидя удобно в тени возле фонтанчика с питьевой водой. Множество их подарил Парижу богач англичанин Уоллес. Благословенна забота о неимущих! Экое наслаждение подставить горсть под холодную струйку, напиться, омыть измученное городскою жарой лицо.

Была еще надпись внизу «В папку всячины 2004». А потом ее позабыли в транспорте, как бывает с зонтиком и газетой. Надписи красною ручкой, пометки похожим почерком и чернилами изобиловали на страницах. Он готовил их к публикации, может быть. Или умер он, бедный мсье Димитри, а наследникам безразличны интересы усопшего? Если они у него были, наследники. На закате жизни сии обнаруживаются, а первые исчезают.

Ну, почитаю немного. Если жара одолеет, то спрячусь пойду в большой магазин, там остужают для покупателей воздух. В некоторых и очищают его, но там нужно предъявлять особую карточку, а ее выдают лишь после крупной покупки.

Машинопись я положил в стопку с другими. И «Прозу милениум» затянуло, словно песком, другими начатками, письмами и проклятыми счетами. И дело забылось: в наше время всё давно напечатано, кто читал бы измученную правкой машинопись? В журналах и издательствах их больше не принимают,

кроме тех, которые можно продать на аукционе. Встревоженная сквозняком пыль вынудила меня заняться однажды, точнее, позавчера, уборкой и разборкой бумаг. Я с наслаждением бросал в черный бездонный холодный гладкий мешок непрочитанные газеты, журналы и даже книги: и их перебор. А это что за пачка листов на самом дне кучи, точнее, в ее основании. Ба, да это же машинопись моя! Пробил час. Пришло время перевернуть предисловие безвестного Z.

*

...comme un diamant dans sa gangue.*

Flaubert

Чтобы не сбиться: отрочество, юность. Пробуждение, подобное восклицанию радости: из кровати он выскочил на пол. Холод под пятками. Взглянув, он увидел сразу и всё: свежесть капель дождя, ползущих по стеклам окна, стальной блеск их. Лоснилось оперение птицы, ходившей по карнизу. Стук ее лапок по цинку. Он, наслаждаясь энергией, прыгал, стараясь достать рукой потолка, — а он был высок в старом доме. Юноша падал плашмя и вперед, в последний миг выбросил руки. Отжимался азартно, но времени не было дойти до сладкого изнеможения мускулов. А потом по потному телу полоснула струя ледяной воды, сжав его в стальную пружину. Он подумал, что мог бы жить в любом веке, не боясь ничего, побеждая.

Другие люди слабее, могут и умереть. А ему — нет, не дано. Если он и не может чего-нибудь, так вот: умереть. О, он изменит лицо земли. Несомненно. Она кажется тесноватой: вся поместилась в карманный атлас. Мыслью юноша пролетел по Сибири и захотел там родиться, но передумал. Он промчался над Африкой, обе Америки проскочил и вернулся через океаны в Евразию. Взглянув на часы, он вскочил — и оказался одетым. Куртка: пятнистая модная, притворилась военной. Атаковать

* Подобно алмазу в руде (франц.)

он тоже сумел бы, не учась никогда. Он побежал быстро по лестнице, прыгая через четыре ступеньки. Споткнуться, сломать что-нибудь, ногу? Никогда.

Стоп. Нужно ли еще алиби третьего лица? Не лучше ли писать «Я» стоп без всяких обвиняков? Даже «я», о, стоп, о, безумец, — с годами претензии сникли, мускулы юности обмякли, осторожность пришла. Этап неизбежный: естественный отдых смирения после бродяжничества по странам, столетьям. Чтобы очнуться от мечтательности под средневековые звуки церковного колокола, зовущего пять, нет, шесть старушек на мессу.

Так давно это было, что не «я» бежал по лестнице вниз, предвкушая множество миггов счастья нового дня. Два главных: во-первых, кое-какие книги... нет, во-первых, Лариса: встреча с нею во дворе факультета. Книги ждали в библиотеке («а нас *гники* заставляют читать», пошучивал он в кругу близких знакомых). Трактат «Наслаждение и долг» философа датского, праправнука принца («а не эти *хилосопы*»). И еще некоторые сочинения он предвкушал, особенно сладкие: запрещенные. От них веяло жгуче опасностью и свободой.

Влекло его к сверстницам. Ну да, ну, понятно, так устроено тело, природа живет в нем неумолимою анонимностью власти. Отправленный на лето в деревню, он видел природное действие. Петух бросился вдруг на курицу, жестоко схватил ее клювом за перья на шее и совершал особые движения ритма. Бык, заревев, поднимался горой над коровой: спектакль приводил его в страх и трепет. А нежные голубые стрекозы его умиляли, склеившись палочками-тельцами в забавном совместном полете над камышами и кувшинками речки. Он не решался проводить параллель: в школе учили другому. Даже полагалось запомнить: «я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Он запомнил, и перед ним явилась она, точнее, они: девочки в школе, кузины и дочери приятельниц матери, и сами приятельницы помоложе. И еще вместе ходили в кружок. Его притягивало (*оно?*) то к одной, то к другой. К Ларисе — сильнее, порождая приятное в сердце. И в голове: наслаждение думать

о ней, вспоминать, да так явственно, будто она была рядом, вплоть до звуков голоса, запахов, и даже — касаний, на какие он не отваживался, но с удовольствием воображал.

Удовольствие (холодок в животе) видеть ее колени, точнее, именно сгиб колена и особенно мускул, появляющийся, когда Натали стояла... Натали? Пойдите, откуда она? Нет, нет, в ту пору Лариса — стояла чуть-чуть наклонившись, юбка приподнималась — позвольте измерить — на палец, на два, стало быть, сантиметра, — и окончанье бедра делалось видно; затем эта ямочка и — начиналась икра, интересной ему не казавшаяся. Он не знал, как схватить — говоря философски, *begreifen* — содержание своего влечения к этому месту, — голень, икра, смешные слова и тем более части! — причину удовольствия видеть его и, если возможно, смысл. Желание было слепым, в нем брезжило рабское нечто, необъясненная, хуже того, не осуждаемая зависимость от чего-то. Его тревожило также предчувствие неведомого наслаждения, не получившее согласия воли. В нем не нуждавшееся. Словно приглашение войти, а оттуда струится сладкая музыка и опьяняющий аромат. Что там ждет? Необратимое.

Он волновался: Лариса садилась на корточки, ища нужную книгу на нижней полке, его взору открывалось колено и верхняя часть бедра, покрытая тонким загаром, а напрягшаяся мышца икры образовывала упругий объем. Мучительный: он не знал, что теперь делать. Коснуться и гладить? Разумеется. Но зачем тогда помеха стыда? Желание твердело в потребность — вот точное слово — присвоить тело Ларисы, места все более тайные, не доступные (полностью) взгляду даже в гимнастическом зале, однако существовавшие, он знал это из книг и музейных посещений и, что делать, подглядываний. К законной, природной потребности, — ее испытали уже другие приятели, мальчики в школе и юноши в университете, не говоря о ребятах, отправленных на заводы работать, и сии рассказывали о деяниях мужа, причем непременно в терминах грубых, словно речь шла о животных, а животными говорящими были они, — к этой нормальной, согласитесь, потребности примешивалось же-

вание *съесть*. Юноша удивлялся тому, что колено и часть бедра чудесной Ларисы, а также мускул икры казались ему похожими вместе, стоп, на куриную ногу в супе. Он не знал, должно ли так быть. В книгах не попадалось, а спросить у старших он опасался. К ним обратился он раз или три в случаях менее трудных, и они обычно не знали, что сказать. В глазах не отражалось ничего, даже удивление, например, — если б его вопрос был глуп или поспешен. Они продолжали смотреть куда-то, и если он набирался смелости проследить за их взглядом, то обнаруживал его упершимся в портреты вождей, в то время обильных повсюду. О, люди естественно предпочитают нечто знакомое, то, что легко узнаешь, увидев во второй раз, и в пятый. Узнавание заменяет вполне понимание. Места для сомнения нет.

И не только гладкое бедро сверстницы. Книга сеяла желание встречи, иной мир открывался с первой же строчки. Его немного тревожило, что она не объясняла себя саму, но он оставлял это неудобство на будущее, когда прочтет эту и те, и все эти книги. Имена сами ложились в его память, как плоды укладываются в корзину при собираньи в саду. Но иные казались ему бесполезными: имена актеров, певцов, народных избранников. Целые жанры вызывали у него скорее неудовольствие: опера и балет, любимое искусство тиранов.

Он касался книжного переплета и уже любил запах древности покоя тысячелетий. Ему нравилось, что в сочиненьях сравнительно новых встречались имена предыдущих мыслителей, словно все они («все мы», — однажды подумал он и почти испугался дерзости самозванства) принадлежали огромному братству, рассыпанному во времени. Цепочка вытаскивающих друг друга из тьмы и забвения. Он улыбался братьям, спеша по улице, лавируя между прохожими и опережая многих, заглатываемых пастью метро. Не он ли небезызвестный Иона, проглоченный якобы кашалотом — а на самом деле повествованием, — чтобы быть выплюнутым на берег по распоряженью Творца? В свой день и час?

Ах, и звездное небо тоже звало к наслаждению. Он встретился с ним, полулежа на скате крыши южного дома, точнее,

хижины, поблизости от моря, несшего свои сильные волны ритмично, с гулом и стуканьем гальки. Стать астрономом? Но как? Бесшумно чертили звездное небо черные силуэты летучих мышей, почти касаясь его головы, пугая.

*

Не получается прятаться в персонажах. Отныне нельзя ими быть. Их поступки скучны, незначительны, они сами словно спешащие на стадион. К ним не нужно принадлежать. Невозможно, даже если бы захотел и решился. Человечество же естественно живет эшелонами. Партиями, поколениями. Племенами, стаями и стадами.

Он мне мешает. Я, я хочу рассмотреть, наконец, какой-нибудь случай и справиться с ним. Раскрыть тайну социальной значительности и воспользоваться этим в личных целях. Намерения мои честны. Прямо скажу: воздух в Париже плохой, я задыхаюсь, вот. Нужно жить на холме, обдуваемом ветром. Город превратился в пытку асфальтовым жаром, в газовую камеру автомобилей. Есть помещения, где вздох и выдох полноценны благодаря аппаратам. Увы, дорогих. Мое жилище под самую крышей нагревается летом нещадно, безбожно, из него не спастись.

Этажом ниже — квартира. В ней живет любитель смотреть ночью *тиви*. Он не включает его на полную мощность, нет. Но далекая мелодия барабана постепенно извлекает меня из сна, сознание мое всплывает из лечебного небытия. Часы показывают три (ах, негодяй!), четыре (фашист!) ночи и пять (убил бы!) утра. Сон убегает, я вялый, никчемный, несправедливый. Я бью в пол молотком, купленным на толкучке. Музыка удаляется: вероятно, телевизор перемещается на колесиках. Спустя время далекий стук (молотка или щетки?) обнаруживает раздраженье другого соседа, и телезритель переезжает опять. О, нищета, ты бедна даже ночной тишиной.

Плач, если помните, Иеремии, когда надоест состязание жизни и смерти. Юность не знает, нет, она беззаботна. Это — центрична. *Эзогого*, восклицает она. Другие люди, ничего не

поделаешь, смертны, легко скользит затверженный силлогизм: все люди смертны, Кай — человек, следовательно, он смертен. Кто этот Кай, умирающий в трактатах по логике? Отчего его имя не трогает никого? Поименованный, он безымянен: пусто имя его. Замени его Иксом Игоревичем, легче не станет.

А люди трогательны в цеплянье своем за все, — за детей, супруга и дело. За нужность другим. Если уж нет любви, то хотя бы ее заместительница: быть нужным кому-то. Участвуя в деле существования гигантского тела, увы, безголового. Человечество бесчеловечно. Вон отдельные головы, маленькие свои и даже подобие коллективных. Но общей головы нет у Великан-тела. Оно тело. Оно ест, дышит, возобновляется. Быть в гуще массы — хотя бы на стадионе, кричащим от радости по поводу гола, или солдатом в марширующей роте, или — да мало ли, стоп. Бессмертие мы.

Смерть всегда одинока, когда Кай больше не нужен.

Она опасна своей завершенностью, смерть. Совершенством. Она получает плацдарм, начальную точку в теле — и даже в душе. Точечка начала конца земного пробега. Ой, какая загадка. Да нужно всё бросить — весь этот вздор значков и отличий, преимуществ в получении пищи и напитков. Подступает великое окончательное, — а они все возьмется с «искусством», «родиной», «один из крупнейших». Ах, дураки. Спешите потешиться пуговкой должности, вишенкою успеха, пока глаза ваши и руки не выпали пеплом.

Однако загнал же я себя в угол. Они не при чем, они просто так, не могут, и все. Всем им довлеет задача существования: они клетки его, клеточки славные, бесчисленные. Если б вдруг мысль вошла в голову их, то им стало бы страшно до крика. Они кричали бы и бежали по улицам. Оставь. Тебе нечего им предложить. Нет вывода у тебя, заключения нет, совета. Твое возмущение, в сущности, есть призыв: на помощь, в виду не решаемой трудности. Они не заняты, как тебе кажется, главным. Но главное не имеет решения: вот и задача о смерти такая. Пойди, успокойся, возьми, почитай что-нибудь — и газета не худшее чтение, если не лучшее, по сравнению с Платоном или

апостолом Павлом: она не обещает ничего, она ни о чем не знает. Она разговор для поддержанья общения умирающих медленно, и настолько, что они бегут по стадиону, у них есть для этого время, — они торопятся, бедные, да еще как! Пробеги-ка сто метров за десять секунд, а еще лучше за восемь, поскольку времени нет — в тридцать лет уже опоздал навсегда — пробежать и спастись от забвения. Спеши, Кай, чтобы услышать аплодисменты. О, Кай, спеши похлопать в ладоши.

И однако не все. Нет, нет, тут что-то такое. Тень невидимой головы. После кровавой войны и горы убитых мужчин начинают рождаться во множестве мальчики. Пока пропорция снова не восстановится. Кто увидел, с каких облаков? Вот он, знак. Хочется встать на колени и звать, звать, — уж не Он ли все видит и знает, и делает? Но если умеет исправить последствия бойни — почему не вмешался заранее? А?

Созерцая бездумно горизонт заходящего солнца. Отгадка медленно приближается, но правила (помилуйте, неужто игры?) таковы, что не успеть ее сообщить остающимся, отстающим на пару деньков. Каждый сделает лично открытие, превосходящее все знание человечества вкуче. Навсегда исцелится в агонии от ничтожества жизни.

Снотворность хвастовства бесконечного великих повелителей муравьев. Засыпаю, друзья мои, засыпаю. Не в идеях, а в горении дело. Ну, идеи должны быть высказаны, чтобы видимость соблюсти. Без видимости было бы совсем голо: неужто и в самом деле, что в голову ни придет — пустышки для автобусной остановки? Нет, скажите мне правду, скажите, что вы об этом думаете. Ах, не думаете? Наплевать? Тогда прочь, объективность!

*

Подытожив продуманное одним только словом «вздор», он пошел было дальше, приготавливаясь пересечь Люксембургский парк — называемый тем не менее «сад» по-французски, хотя для сада тут не было даже чеховских вишен. Весной вывозили оранжерейные кадки с деревьями апельсиновыми, гранатовы-

ми, усталыми, бесплодными. Мимо теннисных кортов он шел равнодушный, — чужд был его образу жизни этот вид спорта. Он вспомнил вдруг соотечественника, говорившего лет двадцать назад, сжимая зубы до скрежета: «Я играл в теннис в Орехово-Зуеве — и здесь буду!» И действительно, надо же, стал он в теннис играть, зарабатывая хорошие деньги на обличении коварных проделок Московии.

Ночью его посетила тревога о незаконченном. Странность предмета его опасений, неуловимость его — обличали присутствие главного предвкушения жизни — смерти. Наверное. Наверняка. Те перемены в его существе, которые еще не обозначились хрипами, стонами, но уже начали прорастать в перезревающем теле.

Он проснулся внезапно, чтобы схватить пришедшую во сне мысль. «Я», — думал он напряженно. — «Я насыщен. Вот искомый ответ на вопрос о безразличии. Я переполненная водою губка.» Его поразило, что мысль не нуждалась в сложных приборах, в лаборатории, в штате сотрудников. Карандаш, и тот казался излишним. И тут упирался он в стену.

В пору остановиться и переждать.

И пропустить выезжающий из ворот автомобиль. Водительница показалась ему знакомой. Ну, конечно, Офелия. Нет, не она. Бригитта? Но она сто лет, как в Америке.

Поначалу даже думалось, что как решит — так и будет. А потом подсчитал: выполнение на решение не оглядывается, идет само по себе. Ну, тогда хоть влиять, подумал. Но и влияния оказалось немного. Француз один догадался. Человек, вообразивший себя королем, говорит, конечно же, сумасшедший. Но и король, воображающий себя королем, сумасшедший.

Ну и ну! Что же, все русские — сумасшедшие? Даже новые? А если сын в Оксфорде, и подружка из Гарварда ему «мой принц» говорит?

Легче с тех пор, как составные Гольфстрима душевного обозначились в утекшем веке. Либи́до ли, власть, зов предков. И все вокруг этого и этим и крутится, и прячется друг за друга. Но чтобы пружины тайные обнажались, нужны приемы осо-

бые. Удары судьбы хороши. Он сам наблюдал: удачливость домовладельца Р., например, вошла в поговорку. Его с ним музыкант М. познакомил. О, какой ценитель, говорит, у него играть одно наслаждение. А замечания-то какие тонкие, изысканные! И цитату вовремя приведет, и шутку выскажет кстати. И ценитель вин, сыров непревзойденный. Поэты ему многие стихи посвятили, композиторы — музыку, живописцы толпой стоят в приемной с кистями и ваятели с резцами, и между собой спорят, кто достойнее.

Вдруг приехали следователи и весь день рылись в его кабинете. И выяснилось, что в отчетности не хватило несколько миллиардов. Сам он приуныл и встревожился: не понимаю, говорит, как это случилось, и почему миллиардов недостача. Не пришлось бы кое-какие владения продать, чтобы залог поскорее внести. И музыкант М. оказался завален работой, в гости поехать не смог. Так и сказал: очень много работы, поехать к Р. не удастся. И уехал в Детройт.

Возьмем другой случай, более простой и менее громкий. Вы, например, любите друга вашего Х. искренне и давно. По-человечески. И он вас любит. Вы встречаетесь, по-дружески кушаете вместе, ну, водочки берете с закусточкой, с селедочкой там, например. Кроме того, в гости к нему приходит красавица Ж., и ваша привязанность к Х. еще усиливается. Вот тут-то и нужно бросить свет анализа на ваше чувство. Х., конечно, приятен и симпатичен, и главное надежен, от него не приходится ждать подвоха. Водочка у него тоже хороша, заморожена и очищена так, как по душе человеку русскому, хорошему. И Ж. чем-то приятна, линией бедер, что ли, или плечико загорелое там, или ключица. Кстати, Х. живет в приятном районе.

Вдруг стало известно, что у Х. *кризис печени*, и врач запретил ему употребление водочки до выяснения всех обстоятельств. Может быть, потому, что Ж. уехала в Венецию на пару недель, и не одна, а с известным велосипедистом. Зачем велосипедисту женское общество — непонятно, но Х. необратимо поник. И вам почему-то тоже неприятен отъезд Ж. Казалось бы, главное ведь осталось — друг ваш, да еще болящий и нуждающийся, веро-

ятно, в вас больше, чем раньше. Вдруг ваше чувство дружбы к нему не обнаруживает прежней силы и яркости. Кроме того, у вас появилась срочная работа, и нельзя вам все бросить и мчаться. Да и другу любимому и дороговому вы ничем не поможете.

Конечно, хочется поговорить о культуре, о душе и судьбе русской необыкновенной, посмеяться над инородцами и иностранцами инославными, да вот беда — водочку стали подавать в другом месте. Туда и пойдите, тем более, что и позвали, и люди серьезные, хорошие, свои во всех торговых палатах мира.

Гм. Старики успели установить, как говорится, критерии. Что, мол, прилично, морально и эстетично, а что нет. Они-то так думали. И миллионы выучили и повторяют, и это нормально, потому что задать и внушить образ мысли, чтоб он еще превратился в привычку — призвание всей жизни. На такое способен один на сто тысяч. Дальше. В наш век демократии главное — количество избирателей. Сколько миллионов проголосовало «за», причем бумажкою денежной. Покупкой. Это и есть востребованность и, если возможно, рентабельность. Туда надо пробиться, но и тут нелегко, поскольку места на витрине — вот уж Клондайк! — совсем не осталось. Пока-то надоест прежний продукт и приестся, и увидят, что из толпы ожидания тянутся руки с романом и оперой. Время голосовать, и, может быть, «за». Значит, выразил чаяния, стал фокусом зеркала, задел струнку, и не просто, а масс. Вот и весь фокус-покус. А то и в обход: угостить, похвалить, сделать вид, что вкусно и интересно и лучше не будет, и пока распробуют — покупают. А потом хоть трава не расти: домишко приобретен, автомобилишко там, или вообще самолетик. Ну, а насчет памяти потомства — это, знаете ли, очень туманно, да и метеорит упадет к тому времени на всех нас, и будет не до того.

Главное, чтоб голос был звучный, громкий. Чтоб только вышел вперед и сказал бы: — Люди русские, братья и сестры! — а сзади уже сморкаются и глаза у всех красные, и уже свобода никому не нужна, и даже насчет зарплаты как-то неудобно напоминать.

Хорошо еще тему свою найти. Право, например, быть как все люди, или борьбу активиста. И ему выгодно, чтоб о нем говорили, и писателю есть о чем рассказать и привлечь публику на концерт с подоплекой. Ну, а вокруг продавцы напитков и закусок, кепок от солнца и вообще. Но я о другом хотел написать, а написал вот это. Не та диктовка пошла, тьфу.

Флобер забавлялся штампами мысли и составлял на досуге словарь. Я их тоже люблю, хотя предпочитаю подчас немецкому «штампу» французское «клише», коли язык наш великий пока своего понятия не изобрел, хотя и склонился в этом смысле к немецкому (у, немчура проклятая, писал Достоевский, понастроили игорных домов, чтоб хороших людей русских обирать!) Потому что я *против отсебятины*. Настоящий, профессиональный писатель должен знать, как и что правильно, а что ни в какие ворота не лезет. Читатель имеет право на хорошую литературу. Как ее распознать? Читатель себя в ней узнает и находит. Вот. Ему не нужны переливания из пустого в порожнее, пышные разглазольствования. Хорошая литература дает ему зеркало, он в него смотрит и усмехается, и говорит: точно, я. Даже если речь идет о несбыточном, она идет так, чтоб читателю оставалось местечко. Например, полковник милиции допрашивает бандита и говорит: «Где вы спрятали жемчужное ожерелье, украденное у Галочки Вишневецкой (или у Танюшки Толстой, неважно)?» Тот злобно молчит, и тогда полковник как даст ему в рыло! И читатель вместе с ним — как даст бандиту по морде! И если настоящий разбойник земли русской еще может дать сдачи полковнику и даже его убить, то до читателя не добраться. Ну, не только в морду, есть и другие струны для задевания. Например, девчушка какая-нибудь приглянется, а тут жена, дети, мораль. Берет он тогда книгу «Лолита» и читает, причем даже в метро, и слова ему никто не скажет. Наоборот, знакомые посмотрят на него уважительно: ого, куда хватил! Лолиту ему подавай! Надоели любезные продавщицы! А он не всегда решится возразить, примерчик на смелость еще не нашелся, но думает: «Да, надоели. А я как решил еще молодым играть в теннис, так и буду.» Пока ноги держат, конечно.

Молодых нужно предупредить вот о чем. То есть, может быть, и не нужно. Да и «предупредить» выглядит суховато. Сказать «молвить» — сладковато, это на десерт патриарху. Живут сколько лет, думал я юный, гораздо дольше меня, а никакой разницы почему-то нет. Говорят, например: не следовало бы трогать Шаталина, — мало ли что там, ну, убивал, так ведь вождь, не хвост собачий. Даже родственники некоторые так говорят. Вот и весь анализ, небогатый, а? Или сейчас: не нужно бы Чечню воевать, так как время колоний прошло безвозвратно. Говорят некоторые. Нельзя кровью платить за керосин. Ужасом обернется, говорят. Так ведь пока говорят — одни разговоры, а когда ужасы начинаются — то уже для других, не для тех же самых. И что тогда говорить? Не с кем.

*

Дело не в том, чтобы написать, а подобрать и перевести. И на какой же язык, думал он озабоченно. Покушать, пощупать, и чтоб еще подрались, как следует. А еще лучше, чтоб убивали, а читатель на это смотрел бы с третьего этажа. И чтобы денег было много. Ну и, конечно, пару цитат из Достоевского, красоту спасет мир, например, или что-нибудь посовременней загнуть, инсталляцию там или вот еще густое слово суггестивный. А самое главное, телефончик записать и с Чумаченко обо всем договориться.

Правда, в писании литературы есть безответственность, то есть свобода, и это и нравится: писать, что в голову приходит. Может, тут и прорвется что-нибудь через выученное и заученное. А что может прорваться? Свеженькое новенькое, чего никто не знает, да?

Вот классик описывает, как мальчик из четвертого класса мучает кошку. Особенно возмутительно, что этим занимается писатель: ему ведь легко страдания животного прекратить, а лучше и вовсе не начинать, пером или там компьютером чуть в сторону повел, и ни крови, ни криков. Да у мучителя защитников рой: потребности, видите ли, сюжета, лирический герой независим, у него, дескать, своя логика. Полно! «Логика». Вон у самого рожа распухла от водочки. Как это сказал? Рожа? Не

правильнее ли — лицо? Попробую: ...а у самого лицо распухло. Если лицо, то, может быть, и не распухло. И вообще не пьет, а ездит с лекциями по всему миру. «Магадан и поэзия», «Происки Ватикана на золотых приисках Сибири». Или вот «Кладбища России»: чудная тема, самородная, по тысячи две за лекцию, до трех доходило. А потом концертишко Мухина или уж сразу Гидони для смягчения американских нравов: «Как мне дороги» да «Калинка-малинка моя». И в ресторан Хилтона, а потом на боковую и в самолет. И вот опять в подмосковном коттедже вынашивает новые темы.

Журналистка [Офелия] мне рассказала. Умирал известный лолитофил. Шторы задернули, камфару впрыснули, профессора позвали Пушкина в отходную читать. А он кашляет и рукой машет, как бы отменяя намерение совета. И шепчет: — Поезжайте в Женеву, найдите долбленный костыль, и в нем, в нем... — Что, что? Говорите! — В нем, на дне... — Что? Бриллианты? — В нем, в нем... — Мы вас слушаем! Произносите отчетливо! — В нём... — И внятно произнес последнее слово: — Нем. — И уже не приходил больше в себя, а совсем из себя вышел и ушел навсегда. Вот так-то. Конечно, магнитофон записывал еще часа два на всякий случай, да ничего не записал, кроме шорохов. Их, впрочем, удачно продали влиятельному журналу.

Лолитофилия, сиропоскопия, и еще третий новослов, забыл, какой. Ах, ну да: компьютеропись. Атомизация, сонливость, необратимость: старение-приготовление к исчезновению. И Папу римского увезли в Рим умирать. Поменьше затруднений к концу, вот и вся недолга. Столько болтовни, а полезной, наверное, космическому червю — человечеству. Как у Державина: «Я червь, я Бог». Помню, завуч в школе читал. И вдруг закашлялся, захрипел, рукой машет и назад оседает. Едва успели носилки подставить. Так что насчет Бога вышло неубедительно. Позвали кого-то помоложе, но тот уже боялся, получилось без выражения. Как раз перестройка кончалась.

Не забыть бы чего-нибудь, ох, не забыть бы!

Боже мой, да что ж такое — обломки, обрывки, остатки, отставки, останки (буква-то О как в конце помогает, а я и не

знал!). А те-то, в гуще, не понимают, что их ждет, все доказывают, на историю ссылаются. Твердой власти хотят, чтоб пожить лучше и веселее. Да и леса еще много в Сибири осталось не срубленного, алмазиков не добытых али вот еще петроли проклятой. Нет, нет, нужна России крепкая власть, чтобы до конца добыть и освоить. А то в Цюрихе-то демократическом как получилось? Банковский клерк взял автомат да пошел строчить по начальству, а потом и сам застрелился. Вот. А ведь десять лет делу учился, и репетиторов нанимали, и дочку хорошенькую свою Блюментали ему просватали. А он всех перебил.

Смесь жанров с насмешками. А что они надуваются? Доклады, профессора тут как тут, чтоб как-то оформить. И уже почти в коме шепчет об особенностях стихосложения у Пушкина. Ну, серьезно ли? — А за что же цепляться над бездной-то? За физику, что ли, за устройство вселенной? Так ведь там шар круглый, до того все правильно и последовательно, не за что уцепиться, брат. Бывало, конечно, интересное, ну, открытия там, философия по их поводу, или вот слово вдруг новое: коан. Батюшки, как же мы без него обходились? И дальше бы ничего, если б не знали, а теперь нельзя. Теперь чуть что: да это, господин товарищ, коан. А тот глаза щурит: уж не опять ли еврей? Может быть, Г забыли, а правильно Ваня Коган? От Когана до коана один шаг — конем, вы и без Алехина догадались, — и это уже считается побег, тут конвой стреляет без промедления, а потом расписывается в платежной ведомости.

То рабочие во всем виноваты, то владельцы, наоборот, капиталов. То твой враг тот, а то этот. Да и самому недолго разориться и обнищать. А еврей тем удобен, что вина его к нему присобачена навечно. Он еще в колыбели лежит, а хорошего от него ждать уже нельзя.

Навалом в развал. Обвал, одним словом, как выразился писатель знаменитый земли обильной. Кто ж знал, что жадных давно перебор? А когда сами жадничаете, не знаете, что ли? Сердца проросли длинными нитями зеленоватыми, тонкими, и по ним ток идет совсем другой, коему нет сопротивления в природе века нашего волкодава. Вот вам и тезис. Я вам еще

подброшу для него рассуждений. А тем временем кто-нибудь нашел бы антитезис плохонький, завалившийся за диван, чтобы мать-диалектику спасти, чтобы логики на пядь найти и не совсем спятить.

Ввиду неясности положения нужно быть особо требовательным к изложению, упорядочить пейзаж умственный, прийти в себя. Если б найти *идущего вместе*, и за ним пойти в то же место. Но вот беда: в литературе их нет, а если найдется Джойс или, к примеру, Кафка (не смешивать с колпачком противозачаточным) или вообще Пруст (не смешивать с префектом парижским... как вы говорите, в отставке? уже?), так ведь они трудятся в неизвестности, а когда делаются известны, то время потеряно, подражателю умирать пора, а что самое трагическое — тысячи хичкоков важное явление давно окружили, раздули и слопали.

Да уж и времечко нам выпало и досталось! Мало того, что бандиты у власти, прошедшие все-таки кое-какую школу, хотя Шаталин и остальные не сумели закончить семинарию. Искусство-то святое постепенно оказалось другим. Отчего оно возносится и упадает, словно фонтан городской, — думал я, отчаявшись, — где вода циркулирует теперь одна и та же до полного изнеможения, пахнущая неразличимо чем, и грязью, и средством от микробов? Где жизненные впечатления после тридцати восьми с половиной перелицовок не имеют больше живого места?

Кое-кто сообразил, как спастись, я знаю некоторых. Спасение художника есть автопортрет. Всегда это было, конечно, один-два, а то и десять у известных в прошлом, да и теперь, мастеров. Автопортрет в самом-самом широком смысле, ну, как говорят, что кисть Жана Э не спутаешь с кистью Ван Дейка, а Хокуся от Кацусики не отличишь. Крупица присутствия личности и есть в малой дозе автопортрет. Натюрморт самого себя, если позволите, пейзаж прячущейся души. Да только в наше время никто не прячется, наоборот, все выставлено на всеобщее обозрение глазастых слушателей. Всемирный овердоз, вот.

А что ж еще можно продать привередливой публике? Оригинальность приелась, нужен каприз самородка. Им торговать.

Готовы многие востребовать и войти под ярмарочный шатер, где показывают. Ну, купили билетик, пошли, а там артист стоит голый на четвереньках. Перформанс, брат, инсталляция. Потом все выходят, и многие на метро к себе прут в духоте, обливаясь потом, а он в льняном костюмчике едет на берег моря в автомобиле со свежим воздухом. И уж Офелия из «Ойленшпигеля» — востроносенькая такая, смешливая, — забрасывает его по беспроводному телефону вопросами о смысле жизни и творчества. «Что значит, когда вы рычите под музыку «Весны священной»? Правда ли, что Дягилев вас благословил перед смертью?»

Не сменить ли осторожно подход? Голова болеть начинает, а это значит, что я вовлекся в борьбу мнений и классов. Остановился на полпути подъема. Но ведь необязательно спорить. Достаточно сказать и отвернуться. Так вот, некоторые наблюдения меня на всю жизнь парализовали. Например, иные люди на виду, а другие нет. Так, хорошо. Веденяпин, скажем так, или Иван Самов. А потом пришлось мне переехать в Галлию, оттуда начал переезжать в Новый Свет, но остановился. Не в этом дело. А в том, что о Веденяпине в Париже не знали, несмотря на усердие посольства страны такой не знаю, где так вольно дышит, и прочее, и профессоров специально обученных. Другие люди были в Париже на виду, скажем так. Совсем другие в Нью-Йорке. В каждой столице, даже в любом городочке есть всё свое. И если парижскую знаменитость Жана Пишона показывают, скажем так, по *твн*, и пористый нос его на всех обложках, скажем так, то в городке за сто километров он в умах много места не занимает, а обложек там не читают (сами иной раз так обложат!) Зато Роже у всех на устах. И булочник, и мясник, и в мэрии, и кюре — если упомянуть лишь местные солнца, — его знают и о нем говорят, и он пользуется славой. А Пишон отодвинулся на задний туманный план. О Веденяпине не приходится и упоминать, и даже Самов, скажем так, остался неизвестен.

Так и шла жизнь, ох-хо-хо. И вдруг стали приезжать из Московии люди самостоятельно. Расскажите, говорю, что там и как. Обильны ли Педемотин и Сомов в своем творчестве, как

раньше, в годы мерзостей свинцовых режима нечеловеческого? А они переспрашивают: вы имеете в виду Гопакова и Муркину? Да, да, они по-прежнему плодovиты и актуальны, но, что теперь важнее, они еще и рентабельны. Если хотите, мы выступим за небольшую мзду-с еврами и расскажем о них парижским работникам культуры.

Видите, какая чепуха-с. Правда, уже в юные годы я заподозрил неладное. И имена исполнителей не запоминал. Стоит ли, если идут они волна за волной? Сколько их тысяч, игравших, к примеру, Шекспира? Некоторые фамилии оседают в памяти из-за повторений, и этого достаточно, чтобы не выгядеть свалившимся из Нью-Йорка в Париж. Или наоборот. А если уж кто-нибудь по невоспитанности пристанет: что вы думаете о творчестве нашего современника Чумаченко Пьера Кардановича? То недолго и отрезать: а вы Еврипида любите? Какую его симфонию предпочитаете? А у него нет времени спрятаться в «ХуизХу».

Нет, нет, тут что-то не так. Тут, то есть в сию минуту жизни сей естественной, числом лет уже отяжеленной. Что-то, конечно, только что? Что они всё делают неправильно? Залезли в купели, а в глазах купюры? Ну, что ж, люди есть люди, хочется, чтоб и завтра было много, и послезавтра. «Завтра» здесь, конечно, и год, и десять, и внуки, и знакомая в Копенгагене. Жалко их. Пусть немцы показательные суды над палачами организуют. Что немцу здорово, то для русского смерть, это еще князь Вальдемар, кажется, басурманам писал, не желая принимать нехорошей веры инославной.

Или вот еще: хотел сделать себе операцию. Ходить стало трудно, какие-то наросты на ногах мешают, задевают друг за друга. А потом думаю: зачем? Уж и так недолго осталось, так что и денежки тратить, и хлороформ понапрасну переводить? Некоторые едут в Бразилию, чтобы исправить себе личико, разгладить его особым способом, открытым еще индейцами. Я даже не узнал, помнится, Кэтрин американку, проездом бывшую в Лондоне. Тогда Дроцкий в Гайд-парке выступал против. Смотрю — из толпы знакомые глаза на меня смотрят. Тысячу

раз их видел. Улыбаются. А всего, что вокруг — не узнаю. Лобик узенький, брови тонкие, носишко изящный, щеки в меру пухленькие, а уж подбородок просто точеный, красавец генетический! И рукой мне машет, приветствует. Между слушателей пробирается, подходит и ну обниматься! Конечно, мне было приятно: вот, думаю, до чего велика сила слова печатного художественного. А она говорит: «Что же вы меня не познаете, господин А.[лтурин], старый знакомый девтшонка Кэтрин?» И другие дала мне доказательства, что это она, даже на берег Темзы увела и там одну приметку на теле показала. Сомнений больше не могло быть, хотя было и потом немного странно. Она писала работу о генетическом сходстве «Братьев Карамазовых» с «Тремя сестрами».

*

Боги правят миром, числа правят богами.

Не будем преувеличивать наших знаний. Но и отчаиваться не будем. Как вывернуться из-под этого противоречия, коль скоро надежда наша в увеличении знания?

Учиться надо, играя. Чтоб смешно было время от времени, тогда лучше усвоится. Дважды два четыре, например, скучно, а если сказать, что и дважды два пять — славная вещь, то сразу же интересно, остраненно. Хочется остранением поскорей со студент[к]ами поделиться. Образованию молодежи всего себя отдать.

Нет, опять не так. Хотел все по порядку, а получается хаос. Хотел, как должно: детство, отрочество, юность, зрелость, старость, и эта, как ее, ну, эта, она. Память народная. Утро и вечер, верх и низ, желание — и его удовлетворение по способностям и труду. А получается, по-видимому, паника. Конечно, я тоже умею забиться и зубы заговорить. Даже себе самому. Никогда не поставлю вопроса: боюсь ли я смерти? Слишком прямо в лоб. Эстетика не велит. Лучше выразиться так: смерти он не боялся. А он-то и есть я! Вот ловко! Мне интересно узнать: а почему? И тут уж объяснений рой и вихрь: смерти-де нет, потому что когда она есть, то меня уже нет, а пока я есть, ее нет, и прочая, и

прочая. Вот что надо в подвалах Лубянки писать, товарищи, вот какие транспаранты на первое мая носить.

Злободневность одолевает. Всю ночь стараешься ее обуздать и расставить, и по полочкам разложить. К утру ясно, что новая злоба дня наступает, а еще старая не закончилась. Радио включишь и слышишь: Двумя ударами топора... Бежал с тремя миллионами... Новый налог... Сгорело девяносто процентов леса... Умерло пятнадцать тысяч... Рациональное зерно тут есть, не может не быть! Ужасы народу нужны, даже война небольшая, но постоянная, он тогда удобнее в управлении. Потому что боится умереть, а как защититься, не знает. И тут президент ему говорит веско: не бойся, я тебя защищу. Пока я у власти, все будет хорошо.

Пойду полежу на кровати. Или Чумаченко почитаю пойду. Или нет, я хотел позвонить, хотя еще не решил, кому. С кем-нибудь поговорить, не слыша стеснения в голосе. Всё уже навсегда расписано. Во вторник Оэнсолмеры. В субботу Дениза приезжает из Брюсселя и свободна до понедельника. Позвонил новенький, какой-то Хур: я, говорит, ездил в Сибирь, и мне нужен голос для озвучивания. Мне ваш номер Вонавина подсказала. А у самого в тоне какая-то двусмысленность. Как в детстве он в коробку заглядывал, чтоб солдатика или там лошадку выбрать и на пол выставить, так теперь и людей примеряет. Позвоню-ка Офелии Пирс, она, наверное, знает.

Ах, ах, заплывать стали трещины, царапины побледнели. Столько лет бились, а теперь, наконец, прояснилось, что зря убивали, что можно просто средствами владеть и в Ниццу поехать. Бывает, конечно, и сейчас, что кого-нибудь, но не могут ведь люди без ревности, — ибо ранено чувство равенства. Человеческое, слишком человеческое! — так, кажется. Зато благодаря всему этому спектакль и бывает возможен. Главное, чтоб получался театр. «Магия театра! На[плев]ать, какой зал и [с]цена, и что на ней происходит. Главное, чтобы происходило», — писал Андрей Покерман. И всех поразил простотой мысли своей неподкупной. Вечером люди добрые с работы придут к себе, если есть куда, сядут и кушают кусочки перед окном в

мир, а там пожары, автомобили взрываются, страшные люди в чалмах грозят еще хуже сделать. От этого кусок слаще: вот он, во рту и на тарелке, до него не добраться и не отнять. А если еще и водочки налить, то поневоле оглядываешься: уж не в раю ли? Отчего так приятно спине? Тут социолог выходит на экране из-за кулис и всё точь-в-точь объясняет: и взрывы, и чалму, и спину. Так, мол, и так, сорок два процента или, к примеру, шестьдесят семь. Ах, вот отчего! Всего-то почти семьдесят! А мы боялись, что конец света. И оппозиция прямо говорила: правительство ведет нас к катастрофе. Единственный логичный выход — составить правительство из оппозиции. Достаточно только за нее проголосовать. Тем более, день новой начался злобой: владелец-то завода отверток и примусов ночью все станки свои собрал с крышей и стенами вкупе — и сбежал! Утром приходят рабочие на работу — а там чистый фундамент, только кофеварка на пятьсот литров пыхтит. Капиталист уехал с заводом в Польшу, и никто не заметил. Там поляки эти примусы за полцены делают, и американские керосинки на рынке бьют, как хотят.

Опять не получается отдохнуть, на кровати полежать с новым романом Чумаченко. Кстати, аргентинец Деквато тоже хорошо пишет. Вдруг дверь как распахнулась, ветер влетел и все листы разбросал, как попало! К счастью, пронумерованные. Признаться, я менял их порядок, и всегда получается какой-нибудь смысл, и нельзя сказать, какой лучше в смысле последовательности. Просто наваждение. Не враг ли рода человеческого подбросил всю эту литературу.

Опять прятаться придется друг за друга, друг из-за друга высовываться: то Бог всемогущий, то дьявол вездесущий, то всеблагий, то помучить все-таки нужно для улучшения нравственности. Может быть, лучше тихо сидеть и помалкивать, пока гром не грянул и хуже не стало. Все-таки по моей улице я и ночью, случается, прохожу без особого страха, и в метро езжу без пистолета, хотя Лора меня ругает. «Тебе не сорок лет», говорит. Сама она имеет черный кушак и может взрослого мужчину сбить с ног одним движением.

Справедливо сказано, не сорок. В сорок Бригитта говорила: тебе не двадцать. А потом уехала в Калифорнию, и еще звонила сначала: ну, как ты там, я о тебе вспоминаю с теплым чувством. Береги себя, тебе не двадцать лет, приезжай. Но постепенно писать перестала, а потом мое письмо вернулось с обидным штампом *unknown*. Надо же, *анноун!* Стал адресат неизвестен. Вот и Лора сказала однажды, что главное для нее в отношениях с мужчиной — это ясность. Если она почувствует какую-то неясность, то она мне скажет сразу. Что со мной она не видит будущего из-за разницы в возрасте: статистически, я умру раньше. Но я ей комфортабелен, ей со мной хорошо: она со мной *выживает своего отца из себя*, которого она еще в себе носит, и как жалко, что этого ключевого глагола нет во французском, — она имеет в виду *зайнен фатер аусleben*. Однажды она сказала, что уезжает надолго в Канаду, и я вообразил, что наступает миг прояснения отношений. Но потом пришла растрепанная и нетрезвая и сказала, что никуда не поедет, и что все эти *мачо хамы* и *с[у]кины* дети. Мне было ее очень жалко: губы дрожат, слезы текут, синяки под глазами. Не повелительница львица, а обиженный ребенок тридцати [четырёх] лет. Я намочил горячей водой полотенце, отжал и осторожно протер ей лицо. А потом протирал и немного растирал плечи и маленькую красивую грудь, и живот с глупой запонкой в пупке, и спину. Бедрa ее, надо вам сразу прямо сказать, сдают. В том смысле, что складочки наметились на них, а кругленький задик Лоры начинает немного виснуть долу, но еще самую малость. Она успокоилась и заснула. Под утро, когда запела первая птица, захотела опять, разбудила. Роняла слезы мне на лицо и на грудь, словно я был мертвый, а она меня оплакивала. Я чувствовал себя странно, посторонним к чему-то, но ей не мешал, а только поддакивал: ей вдруг приспичило говорить по-немецки, она вообще полиглотка. Ну, я тоже почти глоссолаал. Нежности были ей не нужны, ей хотелось совсем подчиниться, сбросить всякую ответственность. Чтоб ее взял без брачных уверток и загвоздок. Она даже пискнула, а потом постепенно дошла до восклицаний. Истощенные взрывом, мы

заснули, как дети. Проснулась первая и затем разбудила меня, веселая, словно зяблик (а не чирик, во Франции у него нет такой репутации). Варила кофе и готовила тартинки (намазанные ломтики... нет, не то слово, ломтик ломают, и не кусочек, его кусают, а отрезанный ножом хлеб). Как странно, сказала, вчера думала, что хочу умереть, а сегодня уже иначе. Нет, не хочу. Ты очень милый. У меня randevu, созвонимся, до скорого, — она крепко меня поцеловала, взяла мою руку и погладила ею себя у основания бедер.

Продолжать трудно от умиления. Нужно до вечера жить. А потом ночь укроет темнотой, голову усталую Морфей обнимет, и унесет жильца земного в подобие смерти часов на пять, а если повезет, то и восемь часов сосед-африканец барабана не тронет, и соседи *окно в мир* не включат, ни мотоцикл подлый по улице не промчится. Днем, к сожалению, надо звонить по телефону: «Бонжур, позовите, пожалуйста, мсье Делап... — Невозможно, он вчера уехал. — Тогда мсье Ясона. — Вы не следите за новостями? Час назад мсье Ясон разбился со своим вертолетом. Спасибо за внимание. До свидания». Жалко его, конечно, он был еще не старый, людей любил, жизнь. И упал муравей в раскаленную лаву, и туда же упал голубок с соломинкой. В наше время басни дедушек Лафонтена, Крылова, Езопа такие все уютные. Эпитеты тихонькие, ужасами не грозят.

О любви хочется рассуждать долго-долго. О добавке цвета в серость экзистенции человеческой. Она вся порыв в самом начале, надежда свои знамена выставляет с утра до вечера, даже до Бога недалеко, по-видимому. Первая попытка, вторая, третья, и не сказать, что безуспешные, нет, наоборот, вон и открытия сделал будь здоров какие, а некоторые морально попроще богатства приобрели, икру в собственном бассейне кушают, на плотике специальном с микроклиматом, водку пьют с утра до вечера, вернее, с вечера до утра.

Кстати, в прошлый раз я о Эйнштейне не договорил. Его жизнь удачна, не правда ли? Уж он-то проник мыслью, взял там и вынес сюда, так что многие рот раскрыли от удивления, а потом только и делали, что повторяли. Он же постепенно остано-

вился и уже ничего не сказал особенного. Не о подсчетах речь, я тут соглашаюсь, мозг устает. Да и не понять мне многого. Но вот дважды два понимаю, вернее, выучил, и когда мне показывают, точно, говорю, дважды два. Признаю. Так вот, мои дважды два по поводу смерти моей кто бы мне объяснил когда-нибудь? А? Тут смельчаков что-то нет. Хуже того, выскажи такое — и уже блеск ужаса в глазах встает, руки трясутся аспирина принять или, если есть еще силы, водочку вылить в глотку, прибавками замшелыми обороняясь. Тут они себе крепость построили из повторов, да такую, что им оттуда не выйти. Оттуда их вынесут четверо скромно одетых в черное мужчин.

Неужто это и есть дважды два по вопросу, простите за тон, апокалиптическому? Впрочем, может быть, нужно говорить *эсхатологический*, тут мнения расходятся, и никто точно ничего не знает. Самое же удивительное, что вопрос о смерти почти не стоит. Разве так уж неинтересно? Петроль важнее, лягушачьи лапки да попки?

Нет, нет, не нужно судить. Ведь и в моей жизни роль женщин главная, хотя слово «роль» неточное: спектакль ли тут? Скорее столкновение жизней. До сорока девяти моих лет я видел иногда желание продолжения встречи. В глазах, в жестах, в медлительности. Она не спешила расстаться, даже если. То есть, как тут сказать, не впадая в. Барометром — если не термометром, а точнее, манометром — была блестящая горошинка, она вдруг выкатывалась у подножия сладостного руна и повисала. Знак желаний*.

Я ставил вопрос иначе: о моей роли в жизни сих женщин. Как ни странно, моя влюбленность не имела обязательного значения, из чего я выводил, что не мужчина выбирает, а, конечно, она, хотя может она выбирать и нескольких сразу, а подчас даже не слишком конкретно, не данного, этого или воон того длинного возле киоска, а приемлемый тип. Вид сей любви самый устойчивый, он объемлет собою множество подобных мужчин (или — бесподобных женщин). Не нужен другой, он будет

* Спидометр позабыл. Ну, не беда, я им не болел и не собираюсь, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

все тот же. И другая, пожалуй что, не нужна: все та же Европа, чтобы вам было легче понять себя. Все тот же, несмотря на евро, Бык. История повторяется. А если так, то зачем?

Пока не увидишь красивую вьетнамку или японку чудесную и не поймешь, что время безвозвратно ушло, что путешествие кончилось. Телесное перемещение ни к чему. Общение вряд ли возможно.

Общение ожидается полное, вот где зарыта собака. Мужчины повторяют глупости из газет, их не спасает происхождение, даже французов. От мужского голоса по телефону сразу скучно. Есть и женские скучные голоса, пресс-атташе, например, они почти мужчины с трудной судьбой нелюбимых. Но об этом молчок, иначе отомстят презрительно. Женщина хочет другого. Вспышки, но отнюдь не магния аппарата. Есть, конечно, которые попадают, да и ловушки повсюду: не хотите ли в *кастинг*, мадемуазель? Она хочет. Готово, захлопнулось.

Я хочу. Нет, не так. Я хочу написать. Нет, я хочу написать Флёрис (ударенье на *и*), и написать откровенно. Сказать ей, что значит для меня встреча с нею. Странная фраза, конечно, но в ней случайно и нашелся ответ на вопрос: что значит для меня ее встреча со мной. Сиеста была сладчайшей: я проснулся со словами письма. Флёрис, писал я. Не сочтите мое письмо приставанием, это было б слишком смешно. Вам наверняка надоели все эти молодые люди, одни и те же, повсюду, это естественно, вы ведь так милостивы. Дело в том, что мое отношение к вам гораздо серьезнее и необычнее. Я подобен художнику, который ищет модель для портрета. Который он задумал давно. Не смейтесь: такое бывает. Томление желания создания и воссоздания, изнеможение поиска той, чей образ превратит его кисть в скипетр творца, вы понимаете. Взглянув на вас, прикоснуться — и он оживет.

Дело в том, о Флёрис, что я пишу книгу о жизни. Когда я увидел вас впервые — четыре дня тому назад — я понял, что вы и есть ее героиня, хотя бы одной из глав. Чувство необъяснимое, но я попробую. Оно всеобъемлюще, а вы как пейзаж, к которому путешественник неожиданно вышел — и замер, поняв, что

это и есть настоящая цель предприятия: выйти, увидеть и замереть. Вы и есть мой роман, я вас ждал, изобретал и искал. Ваш профиль, вашу линию груди, ваш силуэт плеч и спины, и затем мощных бедер, где соединились ласки, желание, зачатие жизни. Глядя вам в спину, я слышал ваш крик наслаждения. (Две последние фразы слишком смелы, но вычеркивать было бы нечестно, женщина имеет право знать, что ее ждет).

Прошу вас о королевской милости: уделить мне вашего времени столько, сколько вы сочтете уместным. Так скульптор умолял бы вас о сеансе. И я прошу вас о том же: о возможности говорить с вами, вас слышать, вас запоминать, чтоб донести ваш образ до плоской бумаги и поселить на ней навсегда, не тускнеющего и от тысяч экземпляров. Прошу вас согласиться поужинать со мною, но если вы сочтете — и это справедливо — ужин чересчур символическим делом, то не откажитесь разделить со мною полуденный ланч. У деловых людей он в обычае, согласитесь, а вы можете нашу встречу счесть таковой, — завтрак модели и художника, писателя и его героини.

Но он не настаивал. (Вторгается он. Лезет, мешает, как будто я сам не могу.) Простейшее *нет* его прогоняло бы. Ведь это и было знаком угадывания: ему не должны сказать *нет*. Он судьбу вопрошал, а не просто соблазнял незнакомку.

Хотя он и стоп раздел бы ее (я, черт побери!) с наслаждением, радуясь появлению каждой новой части тела, обыкновенно не доступной для взгляда. Постепенно увеличивалась полоска живота, поднимаясь к основанию груди, и тут еще все обычно, допустимый *топлесс* купальщиц в муниципальном бассейне, как правило, рослых, холодных. Стремящихся похудеть путем упражнений. Он стоп торопился увидеть соски — и увидел: почти коричневые, оттопыренные в разные стороны, они разлетелись из-под лифчика.

Но как всё удалилось, Боже мой, как всё куда-то ушло. Словно он жил в водоеме, и в дне его открылось отверстие, куда вышла вода. Живая вода: воспоминания, дружбы, намеренья.

Он завозился рыбою на песке. Что это значит? Где его дети? Привязанности любви, не столько к нему, сколько его к?

Его догнало собственное пророчество о себе, когда он сравнивал, довольный находкою, старость с последним деревом леса, а дальше степь и пустыня. Сие дерево может давать еще тень для отдыха путникам или влюбленным, ибо присутствие старости успокаивает, словно отнесенная в далекое будущее жизнь, до которой времени много, вечность. Когда смерть ее забирает, то не страшно, потому что естественно. Настолько, что 42 из ста здоровых людей разного возраста высказались за эвтаназию. А из ста смертельно больных и научно неизлечимых эвтаназию сделали просили двое. Понимаете разницу? На сотню живущих приходится сорок, видящих пользу в прекращении жизни. Чужой, разумеется. Они думают, что умирающие непременно хотят умереть, и такие находятся, но их меньше, чем думают. *Их в двадцать раз меньше, чем желающих им смерти.* Вот как мы живем. Такой называет гулаг.

Так вот, господа. Если уж тема возникла, то пожалуйста без церемоний. Наливайте, намазывайте, кусайте крепкими еще зубами. Так поступила Флёрис на веранде симпатичного ресторана, в тени огромных старых деревьев начинающегося здесь парка. Ресторан назывался «Перед отъездом», поскольку в начале двадцатого века здесь проходила железная дорога на Со. Для настроения сохранили кусок дороги со шпалами-рельсами, обсаженный розами.

Ее чудные красивые зубы отрывали кусочек кровавого мяса. Она оттопыривала губы, чтобы не смазался с них макияж. Этот жемчуг зубов, сказал он себе, этот острый жемчуг откусыванья! Ему было немного не по себе, словно жест еды нарушал красоту ее головы и лица, и сделалось явным наше происхождение от хищников. Засмеявшись, он спросил ее о предпочтениях в искусстве и, увидев тень замешательства, заговорил о возможной поездке в Америку. Так как там много пространства, энергии, славы. Хватает на всех. Был у нее конкурент по имени Юэсэсар,

гигант Голиаф Мефистофель, пока не свалился с глиняных ног. Глаза Флёрис заблестели, и он подумал о них: *сущие очи*. Почему эта женщина вошла в его сегодняшний день и тем самым в существование? Что ему нужно?

Ей было, впрочем, любопытно. Вдруг оказаться в обществе господина, пожилого, бодрящегося. Скорее всего, безопасного и в меру учтивого (а бывают не в меру: нечаянно ущипнет — и полчаса извиняется). Нет, этот задел ее уже дважды, и коленями под столом ей коленку пожал нарочито, и пришлось отодвинуться ей. Дело ведь не только в энергии, рассказывал он, а также и в опыте. Именно он умеет обнажить и извлечь, самую малость превратить в фейерверк, заставить звучать оркестр наслаждения. Вот сам он, когда был совсем юн, спешил. Как у Пушкина. Знаете? Нет? Пе, потом Уш, далее Кин. Знаменитый писатель земли русской. Слышали? Кавьяр, самовары. Ему нет равного в мире. Ну, разве Гюго во Франции, больше никто. В Англии — Мильтон, Шелли, Шекспир. Знаете? Конечно, конечно, Мольер. Пушкин и написал: словесник молодой торопит миг последних наслаждений. Понимаете? Почему последних? Ну, вы мне вlepили вопрос! Действительно, последних! Ха, ха. Что вы хотите на десерт? Кстати, не могу ли я вас пригласить попробовать чудный ликер — мне прислали — из груши? У меня, в двух шагах.

Флёрис, если вы откажетесь, то знайте: произведение искусства умрет, не родившись, в зародыше. Вы ответственны за него. Вы, вы, вся вы: лотос ваших бедер, ваша спина, ваша грудь. Вы понимаете? Я объясню — нет, нет, не мешайте, это почти что наука, ну, как у доктора, — вот я протянул руку и наполняю. Электричество, энергия, ток, — чувствуете? Крылья растут за мою спиной, не отставайте, я Зевс, обернувшийся соколом, извините, орлом, вы понимаете? Не вульгарное волоченье за вами меня подвигает на жесты поступков, а искусство. Разумеется, я хочу, чтоб и вы имели награду в виде наслаждения, только и всего. Поэтому я и предлагаю подняться ко мне. Пусть вас этаж не смущает, это нарочно для упражнения сердечных клапанов. Я вам открываю секрет.

Флёрис оглядывалась недоуменно. Неужели такое возможно в шестнадцатом районе Парижа? Это ведь мир сам по себе, отдельный от прочих, быть может, не менее обеспеченных и утвержденных на этой земле кварталов, чья сила и власть покоится в банках. Но у природы — простите, у биологии — есть свои шансы. Удовольствие приближенья ладони, поглаживание внизу живота, и откровенное, почти циничное хватание — о, если так, то можно забыть остальное. Напряжение и вторженье, его труд всех пролетариев вместе, стремящихся расширить непослушную шахту, ее мысль, единственная за все эти годы, — приняла ли она пиллюю. Мерси, Сеньор, приняла этим утром непонятно зачем! Ах, вот для чего! Ах! Крик наслаждения взлетел к потолку бедной мансарды.

Вот и произведение искусства. Вам было забавно следить за генезисом, я допускаю. Охотно. Но я еще смотрю на лицо спящей Флёрис. Закрывшей глаза, утомленной, не шевелящейся, и настолько, что я могу насладиться всеми частями тела ее, рассматривая. И лаская, если хватит смелости времени. Я ведь трус, это надо признать. Все происшедшее меня удивляет, страшит. Ну, как это можно — вторгаться в судьбу человека, я ведь не знаю почти ничего, хотя, кажется, ничего серьезного нет. Она спит на боку, разметав ноги, словно в беге спортсмен, безмятежен лобок с чудесными завитками, и сзади внизу ягодиц волшебные завитки, скрывающие — нет, обнажившие. Граница загара тут явна, вернее, почти. А вот грудь загорела вполне равномерно, и это есть доказательство, что Флёрис показывает ее солнцу, а быть может, и взглядам, ибо где найти уединение в солнечный день? Приличнее сидеть на балконе, если он есть, где ее видит не всякий, но только соседи, давно подсматривающие за ней, я уверен. Я бы подсматривал. Ах, как жаль, что мне не удалось подсмотреть ее штучки! И нельзя будет теперь никогда, думаю я, чувствуя жар в моих щеках, принявших жар ее ляжек. «Ляжки» меня смущают, в русском они недостаточно элегантны. Как и ноздри. А между тем эти части тела весьма выразительны. Ляжки и ноздри. Чудные,

гладкие. Трепетные, резные. Гм. Но на сегодня достаточно. Я отвез Флёрис домой по ее просьбе. Оставил ее у пятиэтажного дома со множеством кнопок звонков. На просьбу о чашечке кофе она сослалась на усталость.

Друг мой, послушайте. Да, именно вы, нашедший сии записки, здесь, на этом месте. Если вы их еще не выбросили, то вы друг, понимаете? Видите ли, Флёрис привязывает меня к жизни. Всё, что вы читаете здесь, ей обязано появлением. Вы думаете, я сам не читал и не знаю? Возьмите кого угодно, скажем, Толстого. Тут как тут вдруг появляется и она — поначалу томная и ленивая, а потом неистовая и страстная. У Достоевского то же. Ну, хорошо, Джойс, Пруст отбрыкались, да и Кафка. Они гении двадцатого века. Но до и после, то есть сейчас — куда там! Лолитофилия объяла юнеску, пробилась в университет, и только еще суровые камиказы противятся ей единственным способом — взрываясь вместе с тротилом, так, что трудно собрать и кости, а о ранимом легко органе продления рода нечего больше сказать.

Чувствуется замедление повествования. А все потому, что Флёрис исчезла с этих страниц, и если бы только это. Она ушла на несколько дней и из жизни автора строк сих, и всё пошло прахом. Вдруг захотелось вина как лекарства от скорби. Порусски, не так ли. А потом и книги сделались не столь интересны, и даже мой взгляд вдруг сам продолжил прямую линию плеча случайной прохожей. (Простите, как? В самом деле случайной?) И обнаружил изящную шею, основанием уходившую под ткань блузки, скрывавшую, но не окончательно, грудь. Однако прочь, наваждение, я хочу позвонить. Офелии, например. Но прежде я расскажу сегодняшний сон, его реальность нас освежит.

Сначала было много людей в полутемном зале, аплодисменты и крики восторга по адресу господина. Потом начали расходиться, и мужчина уперся руками в косяки двери и не давал никому пройти. И, обернувшись, сказал: «Потерянное поколение еще ничего. *Потерянные колена*, вот что серьезно.»

После чего я оказался за столом многодетной семьи В. Все кушали молча, а затем принесли мороженое под конец, какой-то музыковед его принес в качестве подарка. Он сидел рядом со мной, и оказался Дягилевым, и не просто, а источающим нестерпимую вонь, я видел по выражению лиц окружения. Затыкали носы. Он мне сказал, сверкая моноклем, одетый в форму эзэсовца: «Постыдитесь своих вставных челюстей, молодой человек. Вы стучите ими, когда едите десерт. Вы ведь еще молодой.»

«Кстати, знаете ли вы, в чем разница между мужчинами? — говорили напротив. — Так вот, муж — дровосек, а любовник — ледокол. Ха, ха!» Они жирно смеялись.

Я очутился на берегу реки или озера, неподалеку был мост. Всякий мусор плавал возле берега, со мной были дети В., и я стал мусор вылавливать, стоя на сплотках досок. Вдруг они отделяются от берега и плывут, и я, стоя на них, говорю себе: ах, они ведь были у берега, чтоб его не размывало. Доски пристаю к другому берегу, я выхожу по щиколотку в воде; глубокая грязь, заброшенный цех завода. Странные существа, инвалиды, уроды, говорятся речи о литературе. Некто читает поэму: «Жар и жир. Было жарко, и она была жирной. Не стать бы убийцей». Два урода начинают ко мне приставать; голова одного сверху кома клейкой массы, хочу уйти, а они тащатся за мною, и никак от них не отделаться. Тут я с облегчением [проснулся].

Веселенькая подпрыгивающая мелодия. Он (опять втёрся и) побежал, подпрыгивая. Насвистывая. В то время он легко откликался и любил быть вместе со всеми. Ах, молодость! Он и смеялся охотно, открывая крепкие белые зубы, еще не омраченные табачным дымом. Они все тут же спешили по первому зову на новый спектакль: «А Чумаченко-то в роли Принца! Талантище! Как он с Обломовой на руках идет, плача, к обрыву!» Ну, и на выставку, и в кино. Скорее, отходит поезд! Бежим! Натали! Скорее, Бриггита, вечно ты возишься! Лора, копуша! Флёрис!

Он присел на скамейку бульвара. Сердце вдруг билось, словно хотело вырваться, наконец, из клетки, взлететь. Раскаленный асфальт и понурая листва усталых деревьев. Один

— а вон и второй, возле памятника дедушке Лафонтену и его вороне с лисицей — каштан пожелтел, хуже, листья сделались ржавыми и почти жестяными, шуршащими на ветру. Это ли полвека итога существованию? Нет, нет. Не так. Сложилось как-никак пониманье. Теперь он не спешил договаривать фразу, останавливался на середине, ожидая хотя бы вопроса во взгляде: «Так что же?» И даже вопроса голосом речи. Семеро из десяти остановки не замечали, думали о своем, интереса не находили, ждали, чтобы уйти: они еще успевали к экрану на матч. Сегодня Гонадов играл, оправившись после травмы. Чумаченко играл сегодня Отелло. Белла Совкова продолжала играть важную роль в деле олигарха Сомова. Купец Калашников поигрывал новинкою скорострельной. Гидони на важном приеме наигрывал калинку-малинку свою. Писатель МакКин пересчитывал выручку.

Он предвидел, впрочем, что летом жара будет усиливаться с ростом числа автомобилей. Их продавали все больше, в газетах горело весельем лицо министра: «Франция чувствует себя хорошо: автомобилей продано на один запятая семь процента больше». Нужно осваивать север, думал он. Скандинавию. Поскольку пустыня неминуема, она уже начинает заглатывать юг, нужно тянуться на север, ко льдам и фиордам. Ах, есть еще и Аляска. Леса, знаете ли, озера, увы, комары. Везде незадача.

В воскресенье все останавливается. Традиция тысячелетняя. Хочу я, например, подумать — и не могу. Я, я, я. Нельзя: отдых обязательный. Вчера, например, было воскресенье. Хотел пойти взглянуть на Флёрис хотя бы издали, но вспомнил: бутик-то ее закрыт в воскресенье. На мессу, что ли пойти, там все-таки люди, и важные вещи там говорят, однако подумал, что и это всё знаю. Еще утро, а уже нечем дышать. Поехал в Булонский лес.

Есть место возле памятника авиатору Сантос-Дюмон, впервые пролетевшему здесь двести метров. Розы маленьким полукругом у высокой стелы растут, вдаль уходит равнина, а горизонт закрывают небоскребы Дефанса. Небоскребы французские, конечно, умеренные и со вкусом. На равнине играют в футбол небогатые люди, это спорт среднего класса. Другие

запускают змеев, и таких иногда, что запускающий становится на тележку, а змей его, надувшись, везет! А есть некоторые с моделями самолетов: их детишки и одеты красивее, и рубашонку никогда не снимут, всегда честь честью в костюмчике. Видите, какая смесь эпох, положений и жанров. Приятная странность в душе, когда на такое смотришь, словно в одновременности сей отсвет того места, где беличье колесо человечества отменено, а жизнь существует. И для дополнения счастья выезжают на лошадях амазонки, для них вокруг равнины дорожка особая с рыхлой землей. И так и было однажды под вечер: девушка лет двадцати, если не восемнадцати, мимо меня на коне ехала шагом, а потом увидела зрителя и заставила животное поскакать, да так ловко, что я стал аплодировать. А это амазонку еще пуше воодушевило (чуть не сказал «завело», так выразился приезжий из Московии дипломат, я слушал телевизор соседей). Она на дыбы коня подняла, ну, прямо как памятник Петру Алексеевичу в Санкт-Петербурге, словно Наполеон в Сен-Готаре. Сама раскраснелась, смеется и скачет! Рейтузы на ней белые в обтяжку, естественно, жакет пригнанный к талии точеной, и картузик жокейский. Осталось руки простирать и взывать: остановись, чудное мгновение мимолетной красоты чистой! Но не решился: вдруг остановилась бы, и что тогда делать? Приблизилась бы, увидела бы, что ошиблась... Пусть уж лучше все остается, как есть. Жизни сей присвоить не могу, нет, а вот пребывать в картине ее некоторое время — никому не запрещено.

Равнину сию люблю за безмыслие наступающее, наполненное какое-то, но не бессмысленное, это надо сразу разделить и отметить. Лучше всякого концерта мечтательного или выставки радужной, хотя, бывает, и музыканты могут окно приоткрыть или даже дверь, правда, редко. Даже если они и виртуозы невообразимые, то мало все-таки понимают. Прямо сказать, так почти ничего. А смысл искусства — вот он, прямо здесь, на поле, где команды бедняков играют в футбол, и крики их слышны, юноша бесшумно равнину пересекает, влекомый оранжевым змеем, и девушка едет на лошади, та идет, головою кивая. И

даже еще рыболов сидит в широкополой от солнца шляпе, не двигаясь, и маленькая уточка идет, проваливаясь, по ковру из листьев кувшинок. Тут я люблю, признаться, по-плебейски тенниску черную снять именно для особых ощущений от ветра, который плечи и спину мне упруго поглаживает свежестью. Глаза остается закрыть и спросить себя: что это все значит? Почему это новое, которое ни с кем разделять и не нужно, и невозможно, я пробовал? Может быть, так смерть начинается, а я и не знаю, потому что как следует не умирал, хотя и думал, бывало, что вот, пришел час. Что ж, тогда хорошо всё. Если эта сладость и свежесть и есть предисловие, так сказать, извещение, то, значит, жизнь удалась.

Из дремы вывело меня то, что кто-то мне лицо трогал. Открыл я глаза: надо мной чудной красоты колени и бедра, уходящие в полутьму юбки, и там светятся веселые трусики в голубую полоску. О, думаю, я умер, и вот я в [магометанском] раю. А девушка восклицает: — Извините! Сильви, не смей! — и оттаскивает собаку за ошейник. Черная шкура блестит, девушка собаку тащит, а та почему-то радостно ко мне рвется, верно, приняв за знакомого, и я от умиления ответить ничего не могу. И говорю себе: спасибо тебе, литература, за миг сей прикосновения к соккам жизни! Ибо задремал я за чтением переписки двух гигантов, *Флоберта* и *Тургеньева*. Дай-ка, подумал вчера, почитаю.

Но сейчас не до них. На локте приподнявшись, смотрю девушке вслед, собака уже побежала за мячиком, а рядом с девушкой мужчина угловатый и рослый, и непонятно, кем он ей приходится. Может быть, брат и сестра, в их жестах друг к другу какая-то стертость, нет этой зрячести тел, какая бывает у любовников, то есть сходства движений, настроенности на одну волну. И долго еще взглядом из среды гуляющих их выбирал, пока они не скрылись за далеким шапито и толпою, где организовали какой-то праздник народный, слышались барабаны, испанская речь, и ветер доносил запах жареных сосисок.

Тем временем семья осваивала местность поблизости от моего возлежания, бросая бумеранги, и пренеумело, так, что

они улетали и не возвращались к ним, а однажды бумеранг и вообще упал рядом со мною, и папа семейства закричал: *Эксьюз ми, окей!*

Ну, змею бумеранг не товарищ, хотя тоже летает.

Дети, мальчик и девушка-подросток, перекрикивались по-французски, а мама звала в пять часов по-английски закусывать. Повернувшись к равнине, она протяжно позвала: — Дарси! Дарси! — Я проследил за ее взглядом моим. Девушка в роскошном спортивном костюме застыла в позе китайской гимнастики, я тотчас понял. То была «обезьянка, испуганная стаей летящих пеликанов». Черная ткань костюма поблескивала, как и красные стрелки и врезки, возникавшие неожиданно, когда расправлялись складки. Медленные движения Дарси очаровали и английскую даму, она перестала кричать и молча смотрела. Обо мне нечего и говорить, я не дышал, восхищенный, и любовался «тигром, спускающимся в долину». Но девушка уже побежала в нашу сторону, лицо ее улыбалось. Обильные веснушки на щеках не портили ее миловидности, нет, нет, скорее наоборот. Так умеренный недостаток нас, бывает, располагает симпатизировать там, где безупречность и блеск скорей б пугали, не мешая, так и быть, восхищаться. Места в совершенном нам нет, места для жизни, я имею в виду. Пойди, полюби-ка красавицу, открой ей свое сердце! А вот пожелать ее отличных бедер случается многим почтенным членам общества потребления, выдающимся членам академий и заметным членам политических партий.

Англичанин упорствовал в бросании бумеранга. И надо же, стало у него получаться. Может быть, до африканцев было ему еще далеко, да и до Африки от Булонской равнины не близко. — *О, ноу!* — кричал он с досадой. — *О, йес!* — с удовлетворением, если бумеранг, нарисовав в небе лекало, возвращался к его ногам. Дети и Дарси пили сок из бутылочек и хрустели крекерами. — *Джерри, you'll be late!* — позвала она мужа, и тот вдруг все оставил и приблизился к ним, и они быстро собрались. Из наставлений Дарси сделалось ясно, что она гувернантка и что

пробудет с детьми еще час, а потом должна привезти их домой. Наверное, дипломаты. Как они не боятся так просто гулять.

Бумерангометанием занялась девушка, но сразу она не уме-ла бросить, как надо. Дети бегали, подбирая. Самый красивый большой бумеранг полетел и застрял в развилке сосны. Девуш-ка встала в тупик: она замерла, не сводила глаз с дерева, мыс-ленно прикидывая высоту. Та была небольшая. Если б встать на что-нибудь, например, лесенку, то легко дотянуться. Или на чьи-нибудь плечи. Она оглянулась. — May I help you? — спросил я, немедленно поднимаясь. Она не колебалась и секунды. Ей даже стало смешно: залезть на плечо господина! А я уже был у сосны и приготовил колено, и Дарси тут же поставила ногу и, подпрыгнув, ухватилась за ветку, подобная отчасти пантере, блестя костюмом. Подтянувшись, она поднялась мне на плечи. Я удерживал ее за лодыжки, как в цирке делают акробаты, и это было не просто, оказывается, другие все делают лучше, умело и весело, а мой позвоночник явно не был готов к по-добному номеру. Я боялся ее уронить и тем самым упасть в ее глазах. Не знаю, как получилось, но я держал Дарси за бедра, боясь и наслаждаясь одновременно. — Эй! — закричала она сердито, но не оставила дела, а потянувшись, вытащила буме-ранг из расщелины в стволе. — Let me down, please, — сказала она тихо. Я согнул колено ступенькой и помог ей спуститься. Дети снова стали играть и бегать вместе с лохматой собакой, прибежавшей откуда-то слева, а Дарси уселась на коврик, об-няв руками колени, и смотрела рассеянно вдаль, разговаривая со мной, точнее, отвечая на некоторые вопросы. Она оказалась американкой и студенткой в Париже. Простите? Из Мичигана. Она разговаривала старательно по-французски, борясь с ро-ковыми *rrr* и твердыми *л*. А потом спрашивала сама, на этот раз по-английски, разговор ей доставлял удовольствие. Я рас-сеянно положил руку мою на ее. Она взглянула на мою кисть и засмеялась: — How old are you? — Я тоже засмеялся, сказал: — Сколько мне лет... Видите эту морщины? — Дарси посмотрела внимательно, приблизив лицо. От нее пахло парным молоком. — Внимание, хоп! Исчезли! (Этот фокус я знаю со школы, ког-

да мы учились шевелить ушами и даже носами). — Дело в том, что я генетически измененный, — сказал я серьезно, — я хамелеон возраста (*age chameleon*) и легко становлюсь сверстником человека, с которым приятно общаться. — Дарси поверила, но лишь на секунду: — You, stupid! — сказала она смущенно. Дети хотели есть. Близился час ужина, и они пошли к ярко-желтому «Фольксвагену», выставившему круглую спину из-за кустов сирени. Ее давно отцветшие бурые метелки качались в дуновениях вечернего бриза. Стало печально, как часто бывает при расставании. Дарси остановилась и обернулась. — Вы похожи на моего отца, — вдруг сказала она. — Однажды мы забыли ключи, и я залезла ему на плечи, чтобы лезть в форточку. Я вам позвоню? Вы мне позвоните?

Я просто весь вздрогнул. Словно невинностью своею она до струны сердечной дотронулась.

Подперев голову рукою, я лежал на Булонской равнине.

Луна всходит огромная, желтая с серебром. Ласточки с писком летают. Между ветвями сосен бежит луч маяка Эйфелевой башни. Небо еще светлое и прозрачное. Вот и вся очевидность. А за нею и вглубь, и вверх, и в даль устремляется мысль. Очевидности мало, то есть видения очамй, глазами, то есть. Нужно ли говорить сегодня. Нужно, конечно, если хочешь сказать другому что-нибудь. Наконец-то в определенный момент этот поток существования народа и поколения разделяется на отдельные ручейки завершающихся жизней. Мой листик на древе, как тебя удержать еще немножко. Даже великие ничего на этот счет не сказали. Эйнштейн (в переводе «камень», а, может быть, «на камне сем») — и он не произнес ничего. Кутался в плед и молчал, а ему читали античный роман «Анабазис». На что же мне опереться. Вдруг как зазвонил телефон, я вздрогнул от неожиданности, и ужас меня объял, налетел, как порыв ветра, и умчался к другим.

Еще странно, что можно иметь хоть какое-нибудь представление. Европа, говорят, Америка. И цифры несут, статистике, где все сосчитано и ничего не проверено. Даже обыкно-

венная история нашей эры. Иисус, например, Христос родился, видите ли, на три или четыре года раньше. Раньше чего? Самого Себя? Охотно допускаю. С тех пор говорится, что-де год-то не 2000, а 2004. Но ничего не изменилось, как было, так и осталось. Оглянуться и поразиться, в каких зарослях «может быть» и «вероятно» нас поселили. Всего лет сто, как «Бога нет», а уж расфуфырились, написали диссертаций горы. Но это фасад, витрина, а что там в глубине квартиры и семейной жизни — да что ж, все то же самое, что и повсюду. И однако. Вот, думал я, мерзкий прыщик, не скомпрометировал бы он меня перед Офелией, мы как раз договорились вместе пойти. Взял и выскочил слева от носа. Я и так его, и этак, и соком алоэ, и йодом, и касторкой. Понес его ко врачу. Он с интересом на него посмотрел, малую толику взял гноя и унес. А потом кричит: «Подойдите, взгляните, какое чудо!» Стал и я в микроскоп смотреть, да не в простой, а в самый большой в мире электронный. Словно над городом я оказался странным, повис над движением овалов, палочек, нитей, и все это пульсирует, живет прежестoko. «Это же Кандинский! А вы говорите — гной», — сказал он мне укоризненно и немного свысока. Но все-таки мазь прописал. И Офелия ничего не заметила. В ресторане было темновато, свет убавили для интимности, и большой аквариум загораживал люстру. А когда я ввернул в разговор: *ту би ор нот ту би*, она прыснула и потом начинала смеяться, когда я поближе старался устроиться.

*

Сейчас выражу отвращение. Эти-то совсем аплодисментами тех забили, ни вздохнуть, ни покаяться. Их, вероятно, тошнит, а эти хлопают, и ничего нельзя сделать. Даже подумать некогда простую мысль: «Что за дрянь мне суют?» — Потому что крики «ура» парализуют всякую осторожность, у русских это просто, два-три заводилы в шахматном порядке спереди и сзади, на улице, конечно, танк с пушкой на выход, и вот уже все счастливы и свободны: Ну, что же, фамилии оглашать?

Пожалуй, нет. Имена злодеев на дно тянут, а их множество, даже те, кто у всех на устах. Нет-нет, философская мысль дороже, она призвана мир объяснять. Вот и сегодня. Лежу я на равнине Булонской в полной безмятежности. Людей совсем мало, все в отпуск уехали. Луна висит огромная полная, и уже знаю, что кратеры на ней от метеоритов (не дай Бог такой на нас упадет, и начнется, что воды и воздуха даже для лучших, богатейших людей разных стран не хватит). Вдруг мне мысль приходит в голову: почему Гоголь за границей писал? А? Русский, казалось бы, писатель, правда, украинского происхождения, но тогда это неважно было. А потому, что удобнее о привычном рассказывать иностранцам, поймите вы, друзья мои. Подробности выплывают, свежесть взгляда и прочее. Иностранец европеец ценен как наблюдатель. И аборигенам лучше. Они тут даже не знают, что досыта едят, потому что начиная с 68 года так всегда было. Русские поглядят и напишут: досыта французы едят, и даже живущие у них иностранцы. Вот как мне удалось пофилософствовать.

Господи, да отчего же хорошо мне так? Неужто опять меня, муравья, заметил? После ужасов-то сих всех вдруг отдых дал, пожалев перед смертью?

Раньше я случаи собирал, копил. Нет, думаю, этот вот очень хорош, не буду его здесь рассказывать, а еще подожду более интересной обстановки. Как перл тоже не ко всякой одежде годится, да и люди — вдруг Флёрис (уехала на две недели в Марокко: выиграла в лотерею) или даже Денизу (она позвонила, сказала, что едет в Стокгольм с делегацией) в дискотеке всю в поту встретить странно было б, не так ли. Копил, не рассказывал. А потом смотрю — забываю. Записанное забываю, а уж запомненное и подавно, и справиться негде. Пока молодой был, у мамы спрашивал, она всё обо мне помнила.

Гоголь, если к нему вернуться снова, великий писатель, говорят. Разве я протестую? Да я первый спрошу, если мне книгу Чумаченко предложат: столь ли он велик, как Гоголь? Нет? Так унесите эту книгу и переведите ее на все индоевропейские языки, может быть, хоть это ее улучшит. А с вами я не согла-

сен по другой причине: Гоголя ли вы читаете? Не другое ли у вас на уме, Владимир Иванович, когда вы персты в щепоть складываете и ко лбу задумчиво несете? Не то же ли самое на уме у вас было, когда вы при царе Горохе Сергеече медленно доставали наган? А?

Не видишь ли границу в 2000? Ему бы там остаться, а он уже сюда перешел и норовит устроиться и утроиться. Коли так, говорю, хватит кровь лить или сосать, кому как в зависимости от убеждений и образования. А они хотят сюда и опять лезут, хоть снова эмигрируй, да теперь уж некуда. Раньше-то, конечно, кровь выгоднее было лить, сами понимаете; контекст эпохи таков, а теперь настало время кровь сосать. Раньше чекист был умом и совестью народа русского, а теперь, спасибо приват — простите? — изации — *чичикист*, не зря я на Гоголя намекал. Вперед, чичикисты! За уродину, за Шаталина, за калина-малина! А кто аплодировать всей командой по авторитетной команде не научился — того на погост и баста.

А еще газ такой изобрести. Пока он в Сибири — газ как газ, горит хорошо, ярко и жарко, сидят буддисты в Улан-Удэ и китайских курочек жарят. И пошел он по трубам, пошел, потек, огогого! А как границу перетек, свойства его меняются. Горит-горит, а потом вдруг кааак жажнет! И все вдребезги. Пятью конкурентами меньше.

Бред, да? Совсем ли ненужный, ведь и бред для чего-нибудь хорош, аплодисменты, например, переходящие в овацию, переждать. Скорее позвонить кому-нибудь, чтобы с ума не сойти. — Алло, это кто? — Простите, кого вам нужно?

Сразу не могу сообразить, листаю лихорадочно записную книжку. Кто мне нужен? Мама? Любимая? Дети? Господь Бог? Да кто ж отзовется? Да мне все нужны.

— Я хотел бы поговорить с госпожой Офелией. — А., это вы? Я хочу взять у вас интервью. Вы можете приехать?

Предлог, разумеется.

С каждым очередным цифирным кодом и интерфоном делалось страшнее и яснее, какое доверие ему (пакостник, *мне!*)

оказали. Лестница белая с ковровой дорожкой, прихожая, наконец. Голос женский слетел с потолка: — Извините, я заставляю вас ждать. — Я осмотрелся. К стене придвинута пологая витрина с приятным освещением, рядом стоит рыцарь в полном вооружении, найденный, разумеется, не в раскопках, а в лавке курьезов. Однако и совсем новый он не дешево стоит. Забавно иметь его дома. Несколько стульев, стол геридон с рюмками, ваза со фруктами. Наконец, заглянул и в витрину. На желтом бархате покоились бриллианты. Редко кто умеет разложить драгоценности с таким вкусом. А вот она может. Давала знать о себе культура, передаваемая из поколения в поколение, из банка в банк. Особенно красив бриллиант в окружении изумрудов, камней свежести, но лучше, если зрение встретится прежде с пояском сапфиров: это прохлада неба предвечернего августовского, переходящая в зелень сада.

Обычно смотреть на драгоценности скучно. А сейчас я увлекся и не сразу почувствовал тепло дыхания на шее. Офелия, надо думать. А впрочем... я повернулся. Я заранее знал, как поступить: обдать горячей волной симпатии. Броситься и не отпускать до тех пор, пока не поцелует. И прочие жесты, какие прощают лишь знаменитости.

— И вы не боитесь хранить ваше богатство в квартире?

— Все камни искусственные, друг мой. Что вы мне принесли?

— Офелия, а у вас есть... Гамлет?

Она неожиданно засмеялась, точнее, захохотала, да так, что я испугался. Упав в кресло, до слез.

— Ну, напиши мне его! — кричала она истерически громко. Я взял ее руку: — Простите, я не хотел вас... вернее, наоборот, я вас очень...

Она глубоко вздыхала, чтобы увеличить приток кислорода в легкие и успокоиться.

— Хотите что-нибудь выпить? Уиски? Ром? Хемингвей, помните, его пил, называя горючим. Почему же говорят «горючие слезы», скажите на милость? Пойдемте в салон. Вы любите,

конечно, Достоевского? Нет? Толстого? Хотите чаю? Русские любят чай. Вы русский? Что это? Это вы написали?

Офелия приблизилась к окну, так, что луч солнца очертил ее бедра и ноги под покровом длинной светлой юбки. Она развернула листок.

— Так много? Это статья? Ваши ответы?

«Люди русские жалуются на хлеб французский. Пухлый какой-то, говорят они, ешь его, ешь, и не можешь насытиться. То ли дело еще при коммунизме придуманный «обдирный». Замечательный хлеб, и такой вкусный! Некоторые выбрали, как говорится, свободу, а потом затосковали по обдирному хлебу и возненавидели булку «багет», то есть «палка», которую вся Франция ест. Хлеб белый, пшеничный, а плохой. И тут, братья и сестры, замешана идеология, точнее, на идеологии замешан хлеб сей белый. Потому что его ела знать перед Революцией (не нашей Октябрьской, а ихней Великой), а черный ели низшие сословия. После террора все стали есть белый хлеб, — если был, конечно, — ради эгалите, а черный почитался с тех пор хлебом рабства. Ныне все по-другому: богачи едят черный, ибо медицинской наукой доказано математически, что белый ведет к осложнениям из-за отложений [холестерина]. Бедняки черного не едят по-прежнему, потому как это, дескать, хлеб рабства, да он и заметно белого подороже. Русские не находили понимания у местного населения. Прежние русские, потому что новые сразу определили, где здоровье и долгожительство, и к нему устремились.

Форма багета. Со времен средневековой Сорбонны, напитанной Аристотелем, форма есть принцип важнейший. Каждое утро происходит демонстрация намерений лиц, выходящих с багетом из булочной, то есть с округлым тонким хлебом длиной почти в метр. Молодой мужчина несет его на плече, словно винтовку, пожилая женщина почти влачит по земле. Средних лет строго по-чиновничьи одетый не знает, как взяться. За конец или посередине, всё ему неудобно. А студентка размахивает им весело, забавляясь фривольным намеком.»

— Это, надеюсь, не всё?

— Перевернитесь... простите, переверните страницу.

На обороте ничего не было. Взяв из рук ее лист, я увидел, что все перепутал и принес вовсе не то, что следовало бы и что хотел принести.

К счастью, из кармана потащился еще черновик.

— Вот, если можете... Это набросок эссе.

Офелия читала издали, листка в руки не взяв.

«Ох, как хочется в ладоши похлопать! Звонко, громко, от души! Свое значение в переполненном зале! Легкие расправить, набрать воздуха чистого и крикнуть так, чтобы все услышали во всем мире: браво! И они все оглянулись и посмотрели: кто это так громко крикнул «браво»? Неужто он, я, то есть? Омниворов Валерий? И как хорошо — да и не крикнул, а возгласил, даже в зале как-то сразу стало по-весеннему просторно! А когда оглянулись, то Омниворов снова приосанился и весь в движении к сцене протяжно, звучно слово пустил плыть над головами: Брааавооо! И тогда половина зала к нему повернулась, хлопая звонко в ладоши. Ему аплодируя. И другие окружили его, приветствуют, на спектакли зовут, так что того певца совершенно забыли, хотя он и был причиной колоссального успеха аплодисментов Омниворова».

— Я знаю его, — сказала журналистка. — Он возглавил проект использования айсбергов для разведения пингвинов.

Ну и ну! А прикинулся меломаном!

— Мысли и даже идеи есть, — сказал я негромко, — а вот социального не хватает: людей, которым сие интересно, связей, ночлегов у знакомых, а самое главное — взглядов почти влюбленных. Мужских и женских, а то и тех, и других. Вот пицца-то, вот!

— Слушайте, вот крекеры, кушайте. Вы странный, А.[лтурин]. Расскажите, как вы проводите день.

— Начинаю его с дневника: заметки случайные и намеренные, письма, а потом все растекается по рубрикам и адресатам. Или вот еще: [возбудить] вдохновить себя мысленным

представленьем красавицы, например, певицы Лолиты Будкиной, а потом возбуждение ловко на другой предмет перенаправить: переустройство ли земли русской, или организация всемирной Европы, происхождение (или конец) мира.

— Так вы сублимируете?

— Милая акварелька, — сказал я, рассматривая ее, обнаружив в простенке между окнами. — Что это?

— Пикассо.

— Не верю!

— Что с вами? Вы не в театре.

Живописец изобразил «Автомобиль» перед прудом с кувшинками, знаменитыми неньюфарами. В глубине сада видна была дама в розовом платье, распахнувшая блузку навстречу утреннему движению воздуха. Чудная акварель! Правда, колеса не особенно удались, да и окна «Пикассо» получились смешными. Педали вышли отлично.

— Дорого заплатили?

— За эту?.. — она едва не обмолвилась: «...дрянь».

— Вы читали роман «Забыть обо всем»? — вдруг спросила Офелия. Из газеты я знал содержание этой отчаянной книги, переведенной на 111 языков. В ней говорилось о страстной секретной связи писательницы с советским шпионом. Несмотря на десятилетнюю подготовку, сей оказался в любви новичком. А попался, как все они попадались во время холодной войны: застегивал ширинку на улице, выйдя из туалета.

— Предположим, и что же? — Я уклонялся от прямого ответа, желая выиграть время.

— Мне хочется обо всем забыть, — сказала Офелия.

— Поступите в монастырь, — посоветовал я.

— В какой же? — она медленно потянулась достать ненужную книгу с самой верхней полки. Медленно. А годы бежали. Язычок на застежке молнии украшен был серебряным яблочком. Красиво, удобно, легко. Shake milk and spear, подумал я почему-то, и за яблочко потянул машинально. Мне было жалко Офелию.

Назовите, если нетрудно, мои записки «Проза миллениум». Приятней было бы считать их поэзией, однако грешно прозу называть поэзией, даже косвенно намекая, это озлобит Жаркова. А он пропесочить сумеет! Поэзия — не название, нет, а особое звание; иногда — на прием в посольство по случаю. Пирожки, кулебяка. Правда, Гоголь из зависти к Пушкину назвал свои фантазии «поэмой», ну, ему простили. Да поэма не обязательно еще и поэзия. Один старик, которого я навещал в доме призрения, часто рассказывал о состоянии ванной в его жилище: краска свисала лохмотьями, краны текли, из разбитого окна дуло, в углах развелись грибы и плесень. «Не душ, а поэма!» — заканчивал он. Старик был французский, наш бы поэзию с ерундой не сравнил (если б выжил, конечно).

Пусть бы он сделал такое! Попробовал только! Ректор Штрумф (он же Икс Игоревич Йорике) проверил бы сиропоскопом и выселил. Со мною он такое проделывал: понимаете теперь, дорогие, «проза» безопаснее. А миллениум просто нравится. Слышится «милый», «лень», «ни-ни», «ум», все качества лучшие души славянской, загадочной. Слово французское «миллезим» тоже подходит, но значит лишь виноград да вино превосходное. Конца света в нем не хватает.

Опять нет вдохновения. А жить хорошо. Это и беспокоит. Так бывает, что сидишь и слушаешь музыку мечтательную, и совсем позабудешь, где ты, зачем, сколько осталось и кто завтра должен поехать, жизнь сплошной кажется, крупинка к крупинке, словно синева небесная чистая свежая, и никого нигде никогда не расстреливали, и Господь Бог еще с нами, и ведь только на руку взгляни, на живую, ведь чудо, чудо, что миллиарды клеточечек и молекул вдруг все в едином движении невидимо соединились — и ветку сирени цветущей к лицу приблизили! И такое выражение лица сделалось у Машеньки — божественное, непередаваемое, — вот ведь и есть жизнь, сотканная из чудес. Вот тут и нужно остановиться. Ведь всем хватит, всем! Понемногу, а хватит не умереть.

Откуда ж этот пот прошибающий, бег страшный, головы разбитые, а? Аплодисменты безумные и крики якобы восторженные — да что ж такое, откуда непроницаемость страшная?

Пусть ветер меня поглаживает по спине, от жара и зноя оберегая. Век-то новый, неизведанный. Народы стали пробовать всё. Раньше некоторые только отваживались, пионеры страсти и опыта. А теперь миллионы. И это уже другая совсем обстановка. Но пока еще войско в предместьях стоит, министры побаиваются и рассчитывают все удержать. Спать, спать. Ночь приносит совет, говорит французская народная мудрость. А они обхитрили в том веке, избавились и от войны, и свободу сохранили. Спать, спать, звонить уже никому не буду, опять на неустройство какое-нибудь попадешь, не дай Бог, на хлопоты вокруг водочки и вообще потребления. Бессмертия ни на грош.

Смерть вошла в мир человеком: животные не знают трагичности смерти. Нравственность прячет от нас ее мощь, непреложность. Радио снова транслирует хрипы и стоны Римского папы, и всем любопытно, выкрутится ли он. Да вот и он не сумеет. Как все. Великое равенство исчезновения: его не колеблют аплодисменты и саркофаги. Ну да, хочется продать нажитую власть *туда*, в неизведанное; клали и скифы мешок с зерном рядом с покойником, а греки монету в рот, русские — партбилет.

Да кто я такой, чтобы надеяться? Вон сколько их, безнадежных. Пожили и эти, а вот теперь не живут. В один день, в один час прекратились. Ну и что же? Живите, как муха, как бабочка: летайте в лучах солнца! Ведь так красиво смотреть! И пойте, пойте гимн творению! И пейте, пейте нектар! Ах, [д] ура[ки, д]ура[ки.] Ну, ничего, ничего.

Традиция, говорят, предание. Да, да, да только Тот на кресте, а эти в лимузине. Вот и весь фокус-покус. Тот весь в крови, а эти все насчет деньжонок.

И угрозы наскучили голому королю, которого-де мальчишка изобличит. Все теперь голые, а во-вторых, какие уж теперь короли, все больше председатели да президенты. А их нудизмом не испугаешь, они сами зануды.

И солнце садится, и смерть все ближе. И открыли десятую планету в кромешной дали, но не уверены, что это планета.

Рано утром видение: сужение всего, сморщиванье. Все меньше могу всего. Ловкости никакой не стало, никакого удобства в движении. Ударяюсь то ногою, то головой, то тем и другим сразу. А уж локтем лучше не шевелить.

Вчера снова лежал на Булонской равнине. Бегали крепкий мужчина в белых трусах и тенниске и юная женщина в черном с белыми врезками на лодыжках. Я лежал и читал, и смотрел. Она показалась мне похожей чем-то на О. Пробегая, она оглянулась на меня с интересом. Спустя время они делали второй круг, и мужчина разговорился с запускавшим модель самолета. Женщина, подождав, побежала, и ясно было, что она бежит ко мне, но я отвел взгляд, и она раздумала и спохватилась, и побежала опять впереди спутника своего, делая балетные прыжки. Уселись они на траве друг напротив друга и занялись гимнастикой: упершись пятками в пятки и взявшись за руки, тянули друг друга. Так и качались, словно качели, вызвав в моем воображении совсем другой образ, фрейдистский какой-то.

Не приманка ли это естественного отбора, что красивые так привлекают? Значит ли, что в красота ценна сама по себе? Не признак ли таинственных качеств человечества?

Блеск, блеск и красота, а потом мрак, мрак. Во мраке как повторять то, что говорили во блеске? Помалкивается. Повторяют сказанное во блеске те, кто еще там, там, во блеске. В силе. Зачем им знать, что потом будет мрак? Пусть еще подышат, покушают, понаслаждаются гладкостью и протяженностью.

Дай-ка помечтаю о Дарси. Вот польза влюбленности: спеши к ней, мысль и перо, ради продления возможного рода туда, туда, друзья мои, туда, о, Господи, помилуй! Если посетил вас Господь — никуда не ходите, друзья мои, ни к жирным, ни к спокойным, только потеряете время, а дар энергии разорите по дремучим ушам и взглядам!

Как бы неологизмы не одолели, проклятые. Пойди, пойди, прицепись к новому явлению, словно к проезжающему автомобилю, протащит он тебя тридцать шагов, а потом еще проползешь немного. Дело не в действиях, конечно, не в повторениях

их, на это рассчитывают беспамятные и не понимающие, а в понимании. В понятии, вот как. Даже если нас совсем мало, неважно, главное, чтобы хоть один понял, а потом он остальным расскажет. Если он даже в прошлом понял, то дойдет и до нас, с опозданием, а дойдет. Главное понять — дверь ли это, или окно? Туда выйти можно или только выглянуть? Вокруг меня или вокруг него вон того? А? Или вдруг как загремит труба в небе — и оттуда истина упадет? Или, наоборот, глаза закрыть и от всего отключиться, и из темноты из-под кепочной воссияет она, невидимка великая? Некоторые советуют дожидаться спокойно, пока душа уже ничем не держится и сама отбывает куда-то: душа-то моя, я, то есть, сам я, бедняжечка, «туда, туда, где не попущена беда», как сказал поэт.

Ткань, ткань! Борцы требуют выдернуть старую нитку как ненужную, вредную. Да только кто ее проследит до конца, где она проходит и что скрепляет? Вон тот насмеяется над Папой Римским, выдающийся *пожиратель кюре*, по-русски сказать, попоед. Да только внучок какой-нибудь современный от печали-то вдруг наложить руки на себя соберется, или перестрелять приятелей вознамерится, или на сестру свою, а та его фразой из энциклики огорошит: жизнь священна! — скажет. И отложится ужас, а может, и отменится.

Вдруг на аллее неподалеку автомобиль остановился, и никто из него не выходит, а окно открыто, и там радио включено, и «Страсти» играют, мелодию прощания последнюю, и женский голос поет «и там положили Его...». И всё, конец злости и насмешливости всякой, и только мысль: Боже, не покидай меня, ведь весь страшусь и ничего не знаю, да это еще полбеды, а вся беда-то в том, что никто ничего не знает. Неужто все-таки так всё и было, и правда и есть?

Кто еще так миг выбрать может, чтобы в самое-самое яблочко попасть, точнее не бывает? Вот так на автомобиле подъехать, чтобы и запел голос женский, и именно «Страсти», и чтобы сердце было расслаблено и мягко, доступное со всех сторон и насквозь?

Другие загородятся, конечно, случайностью, потому что не видны все нити и связи, и шансов увидеть их нет. Но вот что странно: случайность идет хорошо к веселому здоровому лицу, а когда вдруг мешки под глазами да желтый язык, тогда случайность на ум не приходит, а оглядываешься на любое «смотри» да «послушай».

Блеск, блеск и красота, а потом мрак, мрак. Во мраке как повторять то, что говорили во блеске? Повторяют сказанное во блеске те, кто еще там, там, во блеске. В силе. Зачем им знать, что потом будет мрак? Пусть еще подышат, насладятся гладкостью и протяженностью. Пока глаза видят, то и голова работает. Голова работает, пока глаза видят. А потом уже никто ничего не видит и ничто не работает, но на это наплевать тем, у кого работает, даже если из последних сил. А между тем если и понятна, и желанна многим глоба... у, новослов! — ... лизация, то никто не хочет — и даже и слова нет нужного — *тайморизации*, например, когда бы все объединилось в некую общность всех от младенчества до старости и вообще смерти, и даже после нее. И прибавить бы еще сюда и время до рождения, потому что именно тогда душа человеческая знает всё. Вот был бы настоящий прогресс. А не миф.

Кстати, о мифе: о Сизифе (о нем всегда кстати) помнят только, что он обречен закатывать камень на гору. А ведь он заковал богиню смерти Танатос в цепи, и для ее освобождения послали Ареса, бога войны, поскольку люди умирать перестали. Каково? Да это штука посильней Прометея! Странные, право, греки: богиня смерти может ли быть живой?

Скорее позвонить кому-нибудь, пока снова не началось. — Алло, Дарси? Где вы? Что с вами? Почему не можете? Well, я приеду. Вы сами приедете? На велосипеде? Но это опасно! Вы знаете, сегодня суббота, и многие водители пьяны. Нет, я не запугиваю. Да, мое прошлое: да, я боюсь. Ждите меня у подъезда, умоляю, ни шагу вперед! Я приеду и пойду с вами рядом. Нет, меня нельзя задавить, у меня разрешение от Бога ради, не шевелитесь! Я вам всё объясню.

Париж

ПОБЕГ В ОКРЕСТНОСТИ РЕЙМСА

О его существовании я узнал случайно. В гостях у знакомого подошел к полке с книгами, чтобы почитать на корешках названия и имена. Раньше я читал книги целиком. Даже собрания сочинений читал полностью, потому что я вырос в тоталитарной стране, и там всегда опасались, что цензура подделает текст. Больше всего я любил запрещенные книги.

Писатели пишут почти одно и то же, хотя названия своим произведениям дают разные. Особенно во Франции. Один писатель мне объяснил, что к этому понуждает необходимость. Редкий мастер позволяет себе удовольствие писать тогда, когда интересно. Если новое осенит и вдохновит. Нужно писать гораздо чаще, чтобы получалась книга в год. Тогда и печататься будет одна книга данного писателя в год. Некоторые пишут по две и более книг, но это считается неприличным, потому что хороший писатель не может писать так много.

Так вот, я совершенно случайно узнал о нем, конечно, уже умершем: такова особенность всякого хорошего писателя. Впрочем, и плохие умирают. Но не все успевают поразить воображение публики своими доходами. Я подошел к полке с книгами почитать корешки, то есть названия и имена авторов. Еще совсем недавно я открывал книгу и прочитывал начало, а если оно бывало интересным, то и конец. Если конец мне нравился, то я прочитывал пять-шесть страниц в начале. Если они были по-настоящему хороши, то я читал и в конце пять-шесть страниц. И так далее, пока я не встречался сам с собой в середине. Но таких прочитанных книг считанные единицы.

Книги стояли в алфавитном порядке. Мы было приятно увидеть мои книги и прочесть мою фамилию на корешке. Я почувствовал себя увереннее. В тот день я был ни в чем не уверен. Это случается со мной часто. Правда, утром я подумал, что день пройдет благополучно, потому что накануне заплатил за мою комнатку. Я даже напевал, спускаясь по винтовой лестнице с шестого этажа. В минуту самоуверенности мне приходит на память ария Тореадора из оперы «Кармен». Забыть ее невозможно, хотя и нельзя сказать, что эта опера самая любимая. У меня вообще нет любимых опер. Но арию Тореадора выбрала Эмилия из дальнего конца коридора. Она служит позывным ее телефона. Эмилия очень красивая. Стройная, ловкая, быстрая. У нее вся жизнь впереди. Она бежала по лестнице вниз, в тенниске с морскими полосками, и в особых джинсах. А я как раз тяжело поднимался вверх, пораженный счетом за электричество. Сверху сбегала, словно вешний ручей, Эмилия, сияя голубой тенниской и открытой частью животика, обнаженного с необыкновенным умением. Джинсы сползали ровно настолько, чтобы взгляд восхитился округлостью паха, обрамленной косточками таза (хочется сказать «тазика», но нельзя). И все покрыто загорелой лоснящейся кожей. Она мне улыбнулась и сказала *бонжур* в ответ на мой. И вдруг ее телефон заиграл арию Тореадора из оперы Бизе. Она выхватила его из кармашка и заговорила: «Поль? Я спускаюсь. Возьми меня на площади Пасси». Возьми меня...

Мои книги здесь открывали, и не раз. Вот почему я знаю: у них черные корешки, как у всех книг моего издателя. Кажется, с этим связано поверье в его семье. Все корешки должны быть черными. Неудивительно, что такой корешок покрывается продольными белыми трещинками, если книгу открывают более или менее часто. О, как приятно, что твой труд нужен людям! Что они им пользуются. Признаться, я верю, что мои книги содержат нечто, необходимое для жизни. Хотя я ни в чем не уверен, а может быть, как раз благодаря этому: людей успокаивает то, что есть бедный ни в чем не уверенный писатель. Они не хуже, а чаще лучше его. И правда. Вид удачливых

загорелых знаменитостей стимулирует лет до сорока, а потом начинает тяготить и угнетать. Выясняется, что мест такого рода в обществе немного. А уж после сорока пяти знаменитости — тяжесть, моральная и психическая.

Рядом с моими стояли книги другого писателя. Первые две буквы у нас были почти общими, *б* и *п*. У него звонкая, а у меня глухая. *О* тоже одно и то же. А вот *у* у него не было. Он умер в год моего рождения. Я прочел название его книги: «Мои друзья». Мне стало приятно. Оно как бы лечило ранку, нанесенную звонком Поля, точнее, готовностью Эмилии к встрече с молодым мужчиной. Вероятно, ее другом, или становящимся им. Меня особенно раздражало, что моя чувствительность не хотела считаться с реальностью. Насколько ж естественно, что юная женщина вступает в отношения с молодым мужчиной! Что таковые между нею и мною уже невозможны в силу биологических причин. Есть нечто, что довлеет над нами. Чрезмерная разница возраста, например. Конечно, иногда она сглаживается благодаря другим... какое бы слово по... эстетичнее, что ли... так и быть, преимуществам. (Флоберу мои строчки на глаза никогда не попадутся, а остальные сами не больно умеют писать. Да им и наплевать). Например, положение в обществе, коим я мог бы с ней поделиться, вознести ее сразу на пару ступенек повыше в благодарность за толику внимания и даже, если повезет, несколько ласок. Или обилие обыкновенных денег, какие можно превратить в удобное жилище, в поездки на море, в вкусную еду. Я сам видел, проезжая мимо дворца премьер-министра: седовласый чиновник шел к лимузину, и рядом шла красавица лет двадцати. Немного смущаясь. А он ничуть. Молодые полицейские смотрели ей вслед, разинув рот, и один даже слотнул.

Бове звали писателя, хотя нужно произносить Бов. Эммануил. Сразу понятно, что был он бедняк: он описывает каждую чашку кофе, замечает крошку упавшую хлеба. И, надо же, стоит на полке рядом со мной. И жизнь свою прожил. И умер. Столько мужества во всем этом! Был на войне и получил рану. За это он получал и пособие от правительства. Я даже засове-

стился: я тоже иногда получаю пособие, ни разу не побывав на войне. Правда, мою юность искалечило тоталитарное государство, да ведь не только мою. И не только оно. И не до конца. А сколько миллионов погибло, не получив никакого пособия.

Мой приятель вошел в комнату и спросил, что я читаю. Я показал. А, сказал он, Бобовников. (Его полная фамилия). Он умер в сорок пятом году. Его романы нашли потом в чемодане под кроватью последней жены. Теперь на нем зарабатывают издатели. А тогда рисковать не хотели. Он очень бедствовал. Как и ты. Пора и к столу. Я едва успел пошутить, что его имя созвучно моему.

Со мной рядом оказалась гречанка, переназавшая себя *Люси*, а свою чудную фамилию Попандопуло, беременную романом, поэмой, одиссеей, она сократила до *Поп*, что для славянского уха скорее комично. От нее пахло *юски*, но не слишком сильно, я даже ошибочно предположил, что это запах новых духов Шанели. Теперь *азлокаль*... простите, алкоголь снова в моде. Борьба с ним зашла чересчур далеко, стали страдать почти все индустрии, безработица расцвирепела. Виноград перестали собирать, люди пить, количество убитых в авариях катастрофически сокращалось, как и число автомобилей для ремонта и обновления. Но лучшие, богатейшие люди страны объединились и победили, и остроумные приглашения выпивать снова лезут на стены Парижа. Это хорошо для экономики.

Мне понравились ее темно-карие глаза. Средиземноморская печаль была в них, длинные ресницы их обрамляли. Я спросил ее, как она чувствует себя на севере Европы. Она сказала, что неплохо. На ней был черный жакет, фиолетовая косынка закрывала глубокий его вырез, а юбка с серебряными песчинками доходила до середины бедер, и затем начинались черные матовые колготки. Я сказал, что приятно видеть персон, умеющих одеться со вкусом. Она догадалась, что речь идет о ней, и засмеялась, довольная. Мне тоже было приятно. Заглянув себе в душу, я больше не видел царапины, сделанной веселой Эмилией утром своим телефонным разговором. Ни раны, нанесенной злым счетом страховой компании. Или каким-то другим,

не помню. Я стараюсь тут же изгонять из памяти все уколы существования. Хотя и не всегда это легко. Если вы мужчина, представьте себя розовый ротик Эмилии, чудесные жемчужные зубки. Вот она его открывает, и из него вылетает не ваше имя, а *Поль!* Да еще с какой готовностью и радостью. А если вы женщина... не знаю тогда, что вам предложить представить себе. Да вот хотя бы моего приятеля: высокого роста, брюнет, профессор в университете. Холост. И кроме парижской квартиры, у него еще поместье в Бургундии.

Гречанка Люси повернулась ко мне с пустым бокалом в руке и взглянула с немой просьбой. Я тут же понял и повернулся взять бутылку превосходного вина *Грав*, которым потчевал нас мой старинный знакомый. Струя, блестя, полилась в бокал, и я ждал жеста, приглашающего остановиться, и не дождался. Бокал наполнился до краев. Другая дама напротив смотрела на нас с опаской. Мы ведь могли нечаянно толкнуть друг друга и запачкать скатерть. Рядом с ней сидел лысеющий господин, торопливо рассказывавший о Венеции. Было о чем: там на последней выставке показали произведение искусства, сделанное из туш убитых животных. Весть о произведении, точнее, его запах распространился по городу. Кошки сбежались со всех сторон, и наутро все было облеплено ими, и внутри их собралось тысячи. Поговаривали, что охрану выставки подкупили. Пришлось вызывать спецслужбу для разгона домашних животных, чтобы посетители смогли проникнуть в зал и восхищаться произведением. Скептики пришли в противогазах.

Мой друг неожиданно обратился ко мне:

— Жан Петроу, над чем вы сейчас работаете?

Право, я опешил. Я не знал, что сказать. Но все хлопоты вылетели у меня из головы, и это было приятно. Я задумался о важнейшем. Люси смотрела на меня с удивлением и одновременно с каким-то пиететом, что ли, с тем интересом в глазах, который мне не всегда нравится. Исчезает естественность. Она мне была просто мила, а тут вдруг вступили в действие прочие силы, невидимые приводные ремни влияний. Да и другие примолкли, и даже старая знакомая моего приятеля, обыч-

но дожидавшаяся конца вечера со скукой на лице, оживилась и поправилась на стуле. До того она сидела развалившись, да так, что резиновое кольцо чулка вылезло из-под юбки, что вообще напомнило немецкую живопись двадцатых годов, меня привлекавшую в молодости, но все-таки в чем-то вульгарную.

Люси облизала пересохшие губы. Я сказал, что планов накопилось так много, что не справиться с ними и за две человеческие жизни. Приходится выбирать. Сложность в том, что я не поспеваю за временем, а оно не успевает за мной. Другими словами, незначительность событий мешают мне высказываться, а когда я собираюсь, наконец, это сделать, люди разъезжаются в отпуск с другими книжками в руках. Сам глагол *поспеть* двусмыслен. С ним вскакивают в уходящий поезд. Но с ним на устах работает и садовник, начиная с июля месяца и весь август. Ибо поспевают плоды. Имеющие шанс оказаться *золотыми*, добавил я, желая быть остроумным.

В глазах Женевьевы, подруги моего друга, мелькнуло уважение. Она сказала, что сложность моего развития темы говорит о многом. И многое в нем выражено с замечательной простотой. Она почувствовала себя по-настоящему европейской, пережила всю гамму от античности... — и она кивнула в сторону гречанки Люси, чем я немедленно воспользовался и пожал последней руку, прижав ее в то же время к ее колену; Люси мне ответила слабым пожатием, — ...до севера, — она кивнула Тамара, давно жившей в Париже, но приехавшей из заснеженного Стокгольма. Тамара сделала несколько раз педикюр самому Бергману и с тех пор жила совершенно безбедно. Говорили, что ее искусство открыло ей многие двери в Совете Европы. Ее фотография появлялась в газете: она стояла рядом с известным парижским брадобреем, побрившим премьер-министра и получившим за это орден.

К счастью, разговор ушел на дальний край стола, — так лесной пожар идет дальше и дальше, оставляя дымящийся пепел вспыхнувших цитат, изречений дзен и выгученных экспромтов. Я думал о тепле дружбы. Ведь сколько здесь ни видно нас сегодня в поздний уже час, всех раскидает судьба, когда

придет время. Нас ждет исчезновение. Даже сказать прямо — так смерть. И уже началось и происходит. Но вот, оставлено нам несколько тысяч мгновений, и можно быть вместе и разговаривать, и наслаждаться вниманием друг к другу, вкусовыми качествами блюд и приятною музыкой, доносившейся из соседней комнаты.

Мой друг сказал, что Папа Римский недолго протянет. Пожилой господин, оказавшийся журналистом, тут же заметил, что открыватель вируса страшной болезни *спид* нашел фрукты *папай*, и сок их, а особенно раздавленные зерна произвели на Папу чудотворное действие. Он почти совершенно оправился и отправился в Польшу благословить население. Женевьева спросила меня, откусывая от куска жаркого, и делала она это с элегантною отрешенностью, что я думаю о человеческой вере в высшее существо. Люси кивала мне, ободряя на глубокий прямой ответ, но ведь так трудно быть уверенным хотя бы в чем-либо.

Я сказал, что верю в любовь. Увы, никто не был готов к такой неожиданности высказывания. Мой друг, всегда несколько педантичный, отправился за словарем, чтобы поискать там определение. Женевьева молчала, по ее щекам шли красные пятна. Журналист расстегивал судорожно ворот своей рубашки. Люси сидела не двигаясь, и я поразился двум слезинкам, потянувшимся из уголков ее глаз вниз по щекам. Господин из Венеции бессмысленно постукивал ложечкой о стакан, и этот звук подчеркивал и без того мучительную панику собравшихся за столом.

Не нужно понимать это слово буквально, сказал я, испугавшись более всех. Как будто я вызвался оплатить *банкет*, но никто не был уверен в моей платежеспособности, и меньше всех — я сам. Попробуйте, полюбите кого-нибудь, и увидите, какво! Дело ведь в любви, а не в обмене орудиями удовольствия, что, впрочем, тоже кое-что в наше время нищеты. Секрет благополучия состоит в том, продолжал я дрожащим голосом, чтобы помещать себя в центр события. Не в центр бытия, вы понимаете, а события, тогда ваше наблюдение будет циркуляр-

* Плоды дынного дерева.

ным. Вы останетесь для всех незаметным, любуясь круговой панорамой страстей.

Образовалась черная дыра молчания. Никто не знал, как перейти к безопасной теме какой-нибудь новости о зверствах в других частях света и о мошенничествах сильных мира сего, где мы могли бы объединиться в негодовании. Хотя бы в осуждении. К счастью, судьба снова спасала меня, и я поразился, что она не утомилась это делать в течение пятьдесят девять лет моего, точнее, нашего совместного существования. Мой друг громко цитировал из соседней комнаты:

— *Любовь*. Интенсивное чувство между двумя лицами, включающее нежность и физическое влечение.

Журналист немедленно записал определение в книжечку. Хозяйка дома фыркнула и сказала, что так стали думать после падения Берлинской стены. И тут же принесла словарь тридцатью годами старше.

— *Любовь*, — прочитала она таким тоном, что мой хороший знакомый и ее близкий друг изменился в лице. — Чувство, влекущее сердце к тому, что ему сильно нравится. *Любовь к родине, к добродетели*.

Журналист записал и это, пополняя образование.

Студентка в очках, пришедшая с журналистом, громко похвалила рыбное блюдо, действительно, превосходное. По ее мнению, приготовивший его должен знать и ценить японскую культуру. О, как вы угадали, сказала восхищенная Женева, принимая на себя минутный ореол успеха и славы. Она не стала говорить, что заказала блюдо в близлежащем японском ресторане. Проницательность студентки Лоры пленила ее, но и вызвала настроенное к ней отношение: соотношение возрастов было не в ее пользу. Впрочем, карьера хозяйки дома достигла зенита, происки возможной соперницы коснуться ее не могли бы. А Лора, несмотря на очки, умела представить свою внешность с максимумом соблазнительности. И я однажды попал под ее чары. В теплый осенний день она надела светлый свитер, причем прямо на голое тело, и два еле заметных темных кружочка очерчивали сладостные места. Самое обидное,

я не сразу понял причину своего волнения: вот оно, подсознание, черт его побери. Дорого я дал бы, чтобы узнать, как Лора догадалась о силе такого туалета.

После десерта, кофе и ликеров все расстегнулись, задвигались, рассыпались по гостиной, вышли покурить на балкон. Точнее, вышла Женевьева, а потом и журналист. Я спросил его имя и фамилию, он назвался Патриком. Фамилию я тоже слышал, как мне показалось. На мой вопрос он отвечал вежливо, но без особой охоты, и я не стал его обременять своим вниманием. Я подошел к полке и взял книгу моего на ней соседа. Издательство снабдило название глупым подзаголовком *роман*, полагая, что тем увеличит продажу. Жадность этих людей поразительна, даже странно, что они торгуют книгами, а не мясом и нефтью.

Люси присоединилась ко мне со стаканчиком ликера в руке. Она отпивала его мало-помалу и перекачивала горошину алкоголя на языке. Она любопытствовала, известен ли писатель, книгу которого я держал в руке. Но я не успел ответить. На ее вопрос отозвался мой друг, незаметно подошедший сзади. Мода на Бова проходит, сказал он. Женевьева возразила, сказав, что он успел утвердиться в коллективном сознании публики. Она всегда возражала, когда начинала ревновать. Лора слушала молча: она слышала о Бове впервые, но ей казалось неуместным в этом признаться. Впрочем, никто ни о чем не допытывался. Патрик добавил, заглянув в книжечку, что Беккет высоко ценил Бова. Я уже знал, что Рильке прочитал «Моих друзей» и искал встречи с автором незадолго до своей смерти, но промолчал, опасаясь, что разговор примет ненужное направление. Люси, листая книгу, переступала с ноги на ногу. Она потеряла равновесие и невольно оперлась на меня всем телом. Тонкая линия жара стегнула меня, ударила почти как ток. Это приятное ощущение длилось всего миг, но сладчайший. В моем воображении возникла метеокарта Франции с изображением фронта циклона. Я выпил вкусной воды, увлажняя пересохший рот, и предложил гречанке ее подвезти. Мой друг вмешался, называя ее нарочно Еленой, словно запамятовав

настоящее имя. Он намекал, разумеется, на Елену античную, так называемую Прекрасную. Женевьеве это не понравилось, как и то, что студентка Лора, пришедшая с журналистом, не торопилась с ним уходить и расспрашивала хозяина дома о бургундских винах.

Гречанке нужно было в Антони, на запад. Тридцать километров, если не больше. Ничего не поделаешь. Мы будем проезжать через мой квартал, сказал я, выразившись немного двусмысленно. Пусть у Люси создается впечатление, что есть где-то еще главная квартира. Мне было неловко, что я обитаю в мансарде. Мои сверстники давно живут в удобных домах. Так вот, мы будем проезжать мимо, и я поднимусь на минутку, мне надо кое-что взять. Подождите меня в машине, а еще лучше, поднимитесь со мной. У меня есть чудесный грушевый ликер. Гречанка молчала.

Мы вошли в подъезд. Свет вспыхнул автоматически. В наше время освещение и наблюдение почти повсеместны. Мне показалось еще, что в кружевах занавески застекленной двери консьержки мелькнул ее хищный глаз. Желтый, как у полярной совы. Вероятно, передача скучная, и ей приходится дополнять телевидение событиями жизни. Острые стальные каблучки моей гостьи звонко стучали в каменный пол. Этот звук меня взволновал, он был связан с каким-то особенным намерением и ожиданием. Я вспомнил, как в юности слушал стук женских туфель в Москве, открыв окно комнаты и лежа в темноте на диване. Меня мало беспокоило, что я живу в тоталитарной стране и что попаду, вероятно, в тюрьму. Я мысленно рисовал себе стройные женские ноги, обутые в эти туфли, неторопливо переступавшие по асфальту, вымытому летним дождем.

Они поднимались передо мною по крутой лестнице. Я шел позади, созерцая игру мускулов икр и бедер под тонкой тканью чулок. Чтобы скрасить трудный подъем, я старался занять дочь Эллады разговором. Я даже шутил, говоря, что усилие на пути к вершине обычно награждается. Особенным наслаждением достигнутой цели, например. Говорил и о богатстве встречи с

интимным миром другого человека, где жилище, даже крохотное, занимает немалое место.

Мы все-таки запыхались, поднявшись на седьмой этаж. Люси сразу уселась в кресло, вытянув ноги. Она смотрела куда-то в сторону. Я старался дышать ровнее, но волнение, воспоминания юности и долгий путь вверх мне мешали. Дать пройти времени. Наполняя рюмочки ликером и устраивая подносик со сладостями. К счастью, я бывал в Афинах, знал Парфенон и заикнулся было об его архитектурных особенностях. Брови гости нахмурились, и я смешался. Мне всегда не хватало гибкости в подобных положениях. Чуткости к мгновению. Тысячи раз я сожалел, спускаясь по лестнице, о своей глупой последовательности и медлительности. Но тут меня осенило. Я сказал, что у ее изумительных туфель есть, вероятно, лишь один недостаток: они утомили эти стройные ноги. Это позволило мне, встав на колени, медленно снимать туфли и облекать ноги гречанки в домашние тапочки со смешными пушистыми помпончиками. А потом я не спешил с ними расстаться, я имею в виду, с ногами моей гостьи. Я сказал задрожавшим голосом, что и чулки вредят кровообращению, и что бедра должны отдохнуть. Люси помогла мне немного, приподнявшись в кресле, опираясь на локти. Глаза у нее слипались.

Лежа в темноте на спине, чувствуя рядом тепло человека, я размышляла о непрерывности цепи положений в моей жизни. В моем существовании. О предопределенности всего. Когда сегодня вечером я впервые увидел Люси, я заметил ее движение. Трудно сказать, вперед ко мне или назад от меня. Между нами возникла невидимая противоречивая связь, она продолжалась во время всех разговоров. И вот материализовалась вполне. Я вспомнил об опытах психолога Цирюльника, описанных в популярной статье. Я прочитал ее в затрепанном журнале, ожидая приема в мэрии, где намеревался просить о помощи. Люди тогда умирали от чрезмерной жары, они не успевали спастись. Я спасся, вероятно, благодаря моей привычке спасать жизнь, воспитанной почти с младенчества: я вырос в тоталитарной стране. Ночью я поливал крышу моей мансарды водой, обо-

рачивался мокрою простынею, а когда на рассвете стало ясно, что свежести утра не будет и что смерть неминуема, я заснул в кресле рядом с открытым холодильником. Проснувшись от того, что аппарат сломался, я уехал вон из Парижа, погрузив в автомобиль одеяло, бутылки с водой, запас еды.

Цирюльник писал об опытах. В прихожей врача ученые метили стулья гормонами. Потом входили испытуемые. И вот что замечательно: женщины садились на стулья, помеченные мужским гормоном, а мужчины наоборот. Стало быть, чутье у людей поистине собачье, хотя они и не знают. Конечно, об этом интересно прочесть. Но сейчас я вспомнил об этих опытах и поразился их коварству. Почти до слез. Излишняя чувствительность мне вредила всю жизнь, особенно в детстве и юности. А тут я подумал, что в человеке столько собачьего, но мы ничего не знали. Воображали, что мы люди, и наслаждались поэзией. На самом деле мы были марионетками молекул и гормонов.

Войти бы в повесть и жить в ней. Но как бы нет адресата: женщины далекой, манящей, таинственной, Музы... вот слабость возраста: какой-то голый секс, ни радути, ни свирели...

Люси пробормотала что-то по-гречески. После усилия я вообразил, что понял. Это было начало фразы из Гомера. Там, где Гея говорит о своем материнстве. Рука Люси сонно гладила меня по лицу, по плечу, груди, животу, рассеянно ощупала мой половой орган. Вдруг она проснулась и рывком поднялась и села. Она не отнимала руки, стараясь осмыслить происходящее. Я не знал, чем мы можем еще заняться. Округлость плеч Люси была очень красива. И грудь тоже, хотя возраст давал себя знать. Глупое слово «хотя». Действия природы над человеческим телом одни и те же повсюду. И самые лучшие хирурги оставляют следы своего вторжения. Люси сказала, что она долго жила на острове Корфу. Мне там приходилось бывать, я вспомнил о церкви святого Спиридона, покровителя острова. Он известен как помощник при отыскании пропаж. Ключа, например, а особенно документов. Люси оживилась и сказала, что ее тетя и поныне живет неподалеку от церкви. Заметив мой взгляд, она прикрыла рукою низ живота и стала похо-

жей на спящую Венеру, как две капли воды. Я запомнил ее с детства, и сейчас поразился тому, что желания, самые удаленные, рано или поздно исполняются. И как тогда, во мне началась борьба двух противоречивых желаний, восторженного созерцания и немедленного присвоения. Она делалась все мучительнее. Необходимость склониться к тому или другому становилась насущной. Я взял и отвел слабо сопротивляющуюся руку Люси. Она вдруг порывисто вздохнула, и легкая дрожь прошла по ее телу. Чаша покачнулась. Нужно ли уточнять, в какую сторону?(...)

Когда утомленная Люси задремала, я стал приходить в себя. Не без ужаса. Я почти забыл, что мне предстояла важная, как я надеялся, встреча. После бегства из Парижа я написал мэру о моем бедственном положении, и спустя положенные две недели консьержка вручила мне красивый официальный конверт. Как обычно, украшенный корабликом, напечатанным красной и синей краской. Артистизм чувствовался даже в этой мелочи. Ничто не забыто, все служит благополучию. Граждан, разумеется. Мне отвечал советник мэра по вопросам культуры. Мне польстило, что письмо длинное, несмотря на отсутствие содержания.

Люси вдруг проговорила во сне несколько слов по-гречески. Прислушавшись, я сообразил, что ошибся, фраза была по-английски, а именно, строка из Гомера в переводе. Приам оплакивал похищение своей дочери.

А советник писал, что подобных случаев много, что я не один в таком положении. Что господин мэр меня понимает, сочувствует и принимает все меры, доступные мэру, для улучшения участи нуждающихся. И многие уже благодарны ему за велосипедные дорожки, километраж которых неизменно растет. Мелкими буквами на полях письма сообщалось, что можно прийти поговорить с советником лично. И день был сегодня, время приема неумолимо приближалось. Положение требовало от меня решительного поступка. Сейчас — или никогда. И это не метафора. Я и так уже опоздал повсюду. А теперь разгорячение планеты выгоняло меня летом в поля и леса. Зимой же мне все труднее подниматься на седьмой этаж. Еще лет десять

я выдержу, а потом не смогу и спускаться, и тогда конец. Эта мысль, а особенно слово «конец» меня вдруг успокоило. Оно меня всегда утешало. Таково одно из свойств загадочной славянской души. Обычно не думают, что славянская душа загадочна не только для других народов, но и для самих славян. То ли дело душа, например, француза! Ясная, чистая, обработанная католицизмом, словно версальский парк! Открытый, кстати, с семи утра до семи вечера.

Я сказал Люси, что у меня важная встреча. Я должен немедленно уйти. Пусть она лежит и отдыхает. Дождивается меня. И я скоро вернусь. Но она вдруг стала одеваться. Мне было жалко, что она уходит. Я вернусь, а в мансарде опять никого. Нужно снова беспокоиться, ходить по гостям и другим местам, чтобы кого-нибудь уговорить придти. А между тем Люси не скрывала своего удовлетворения. Настолько, что ночью стали стучать в стенку. Как будто я мог восстановить тишину. Нет уж, взялся за куш (или гуж, не помню), не говори, что завтра докончишь. Но и с другой стороны стали стучать по трубе водопровода, а потом и снизу. Это меня особенно возмутило. Внизу расположена нормальная, буржуазная квартира, и когда они хотят смотреть свой телевизор, то включают на нужную им громкость. Причем они смотрят так называемую телереальность. В сущности, самих себя, только лица другие. А теперь они стучали в свой потолок какой-нибудь щеткой. Словно наша чудная реальность была хуже их телереальности. Но когда над головою раздались шаги по крыше, я подумал, что дело вовсе не в звуках нашей торжествующей жизни, переполошившей весь дом и посеявшей зависть и раздражение. Может быть, начался пожар самый обыкновенный, а вовсе не пожар чувств. Потом все утихло, да и Люси утомилась. Я испытывал нежную жалость к ней и гладил ее слипшиеся от пота волосы.

Странно, что она вдруг собралась уходить. Обидно. Выкладываешь всего себя, отдаешь до конца, а потом она уходит по делам. И что за дела? Глупая статейка в газетке, перевод для Совета Европы, которые никто никогда не прочтет.

Мы сошли с Люси вниз по лестнице. Я сетовал, что не могу отвезти ее домой или в какое-нибудь другое нужное ей место. Навстречу шла Эмилия, и я вежливо ей поклонился. Как поживаете, сказал я, хорошо? Красивая соседка замерла. Она переводила взгляд с Люси на меня и обратно. Ее лицо изобразило душевную борьбу. Всякое представление о реальности от меня ускользнуло. Я просто ждал, чем разрешится это странное событие, длившееся уже четыре секунды (я всегда начинаю считать, чего-нибудь испугавшись). «И это вы, вы!» — воскликнула Эмилия. В ее голосе послышались слезы, и они же и прыснули из ее глаз таким потоком, какой я видел только в детстве, когда моя бедная мама повела меня в цирк, и там был клоун. Мое недоумение, как обычно, причиняло мне боль. Эмилия приблизилась и подняла ко мне лицо. Меньше меня ростом, она походила на птицу, готовую подпрыгнуть и клюнуть. Но с какой стати? «Потому что вы... вы...» — она с такой обидой сжимала кулачок, что я не выдержал и схватил его: «Что с вами, милый человек? Пожалуйста, объясните! Вспомните, что я иностранец!»

Эмилия притихла. Ошеломленная Люси переводила взгляд с меня на нее и обратно. В ее греческих глазах вспыхнул странный огонь, и я тут же вспомнил фильм про Клитемнестру, где та убивает Агамемнона. «Руки мужчины ночью ласкали меня, а утром к другой устремились...» — пробормотала она, к счастью, по-гречески. Консьержка выкатила свой мусорный короб, разумеется, нарочно, чтобы приблизиться к сцене и попробовать в ней поучаствовать: время вечернего телевидения еще не настало. К счастью, славный Франсуа, городской сумасшедший квартала, шедший по противоположной стороне улице, начал произносить свою обычную филиппику против козней правительства. Наше внимание раздробилось, и напряженность встречи понизилась. Я сказал Эмили, что все ей объясню, но сейчас должен спешить на важное деловое свидание. Она убежала. Перед Люси я чувствовал себя виноватым, и это меня раздражило: с какой стати моя свобода начинает подвергаться укорочению? Она холодно откланялась. Я побежал к автобус-

ной остановке. Советника мэра, которого мне предстояло увидеть и выслушать, звали мсье Галеро.

Нечаянная встреча Эмилии и Люси меня поразила. О такой возможности я подумал накануне, когда Люси поднималась со мной на седьмой этаж и потом шла по коридору, стуча каблучками. Я вообразил и последствия. Люси могла оставить меня, а Эмилия своего Поля, и две юные женщины устремились бы друг к другу. В наше время это случается все чаще. Животные и птицы следуют новому веянию. В Люксембургском саду плавают дикие утки. Прежде они плавали парами, уточка с селезнем, селезень с уточкой. А недавно я заметил, что селезни собираются в группы и нападают на уток, если те хотят к ним подплыть в поисках кавалера. Услышать бы объяснение знающего человека, психолога Цирюльника или министра образования, но они почему-то молчат. Цирюльник, впрочем, улыбается. И его благородного вида супруга тоже. Я это заметил однажды на приеме, когда приблизился к ученому. Я хотел подарить ему свою книгу, и подарил. А он стоял, молчал и улыбался всем. Его рослая супруга тоже всем улыбалась. И я не решился задать ему мучившие меня вопросы.

Мне хотелось поразмыслить над происшедшим, что я обычно делаю ночью. Сова Минервы вылетает в сумерки, как вы знаете. Но мне предстояла встреча с господином Галеро. Как и ему предстояла встреча со мной. Приготовился ли он к ней? Волнуется ли, как я, воображая нюансы нашего общения? Господин Галеро, скажу я, знаменателен сам факт встречи простого горожанина с вами и с господином мэром в вашем лице. Щит отеческого покровительства... тут я не знал, что сказать дальше. А если начнет говорить он и поведет все дело иначе? Кроме того, приготовление лишает интеллект нужной гибкости, спонтанности. Кто не знает, что политики, профессоры и теледикторы производят впечатление тугодумов? Потому, что их секретари не поспевают за изменчивостью мира.

Я вошел в холл мэрии и пошел прямо к лестнице, покрытой симпатичной бордовой дорожкой и поднимавшейся вверх. Из-за колонн ко мне тут же подошли два господина в фор-

менных фуражках и пуленепробиваемых жилетах и спросили, что мне нужно. Я вынул конверт и показал. Они кивнули и махнули рукою направо, в темный коридор, где следовало подняться по лестнице на этаж. Она была уже попроще, с пыльными окнами и облупившейся местами краской. Я почувствовал грусть повседневности и изгнанничества. К счастью, литература воспитала во мне особого рода упорство, а именно, идти до конца во всех обстоятельствах, чтобы получить материал реальности полностью, а не сомнительную смесь фактов и воображения. Поэтому в моей жизни бывали и, увы, будут эпизоды, где меня выталкивали в шею, оставляли в одиночестве, бросали умирать, обманывали с улыбкой или говорили злобные оскорбления, хотя все это не трудно было и предвидеть, потому что почти всегда ясно, чем кончится дело. Но нет абсолютной уверенности. Например, однажды на улице юноша вынул нож, требуя открыть мой саквояж, а я раздумывал, подчиниться ему или нет, молчать или закричать, струсить или взорваться гневом. Мое колебание передалось ему, и когда я послал его к черту по-русски, он махнул рукой и ушел. Вот как все кончилось, совершенно неожиданно для нас обоих.

Поэтому я поднялся по лестнице и вошел в холл ожидания. У стены стоял столик, и за ним сидел человек. Он посмотрел на меня вопросительно. Так мне показалось. Он поднял голову от книги и смотрел на меня, не отрывая взгляда. Я подошел к нему ближе, и он приветливо поздоровался. Это было приятно. Узнав, что я хотел бы переговорить с господином Галеро, он несколько удивился, но сказал, что нужно немного подождать, и снова углубился в лежавшую перед ним бумагу. Через пять минут он встал и сказал, что я могу войти. И я вошел в огромный светлый кабинет с чудными потолками, украшенными лепниной, и с большой копией известной картины импрессионистов.

Демократизм нового века меня трогает. Стол советника стоял прямо на паркете. Это нужно отметить. Де Голль принимал посетителей, сидя за столом на небольшой эстраде. Расчет генерала понятен, в нем что-то простецкое, а это всегда неприятно. То ли дело благовонные запахи, расслабляющая

приглушенная музыка и другие уловки, достойные народных избранников. Галеро предложил мне сесть. Садясь, я сказал, что писал господину мэру и что получил ответ от него, Галеро. Это очень приятно. Дело в том, что в жизни бывают моменты, когда накопившаяся усталость застилает ум. А обстоятельства требуют ясности и энергичности. И человек обращается за помощью к властям. Вы ведь знаете, что в прошлом году в Париже умерло пятнадцать тысяч ненужных людей?

Галеро, улыбнувшись, меня немедленно поправил: всего восемь, господин, всего восемь. Пятнадцать, согласно статистике, во всей Франции. Причем эти цифры уточняются. Уличенный в ошибке, я засомневался и во всем остальном. Я стал описывать мои будни в мансарде, ее тесноту, опасное повышение температуры. Тут Галеро заметил, что в наше время существуют надежные охладители воздуха. А еще лучше аппарат, охлаждающий летом и нагревающий зимой. Кроме того, слушаев, подобных моему, много, и я не один в таком положении. Господин мэр меня понимает, сочувствует и принимает все доступные мэрам меры для улучшения участи нуждающихся. И многие уже благодарны ему за велосипедные дорожки, километраж которых неизменно растет.

— Вы, кажется, пользуетесь велосипедом? — спросил он, заглядывая в мое письмо.

Я жаловался еще, что мне запретили хранить его в подъезде, и ночью его ломают. Днем его бьет ногами огромного роста школьник, я видел не раз из окна. Бедные колеса!

— Да, — сказал я, теряя почву под колесами.

— Ну вот, видите! Вы не один. Помните, что вы не один!

И я оказался в приемном холле. Мне было стыдно за свое малодушие. За то, что я пытался дезертировать из армии немущих. Забыв о солидарности. Об обреченности попыток изменить судьбу. Ибо скучна бедность и тем, кто в ней живет, и тем, кто ее видит. И никто в ней не виноват. Она есть, и все. Кто-то должен быть нищим и бедным, больным, вызывающим брезгливость. Потому что вид бедных смягчает нравы обеспеченных людей. Зверь в человеке не умер, он только лишился

свободы гордиться собой. Но это уже кое-что. Я почувствовал удовольствие о того, что принимаю участие в моральном строительстве человечества.

Выйдя из мэрии, я стоял. Несмотря на жестокий опыт существования, подобные встречи вызывают поток надежд и немедленных планов. И потом неясно, что с ними делать, когда становится очевидно, что в ближайшее время ничего не изменится. А может быть, и никогда. Надежды должны рассеяться, и растаять боль, вызванная их исчезновением. Пусть будет пустота. Пустыня погибших намерений.

Я пошел к Сене. Грязная вода текла, крутились воронки ее, уносили мусор. Мне хотелось сделать действие облегчения. Например, закричать, да так, чтобы люди испуганно оглянулись. Побежать. Разбить бутылку о парапет... нет, этого я не сделал бы. Грубость мне вообще неприятна, и тем более осколки, опасные для велосипедных шин. Они чувствительны ко всему режущему и колющему. Однажды я нечаянно наехал на сухую розовую ветку, и шип, попав в углубление узора, проткнул шину! Интересно, что в этот день женщина по имени Роза сделала мне пакость, о чем я еще не знал, но вспомнил о ней, обнаружив причину испускания воздуха.

Нетрудно заметить, что мне горько. Вы это почувствовали, конечно. Потому что вам неинтересно читать. Я и сам это заметил, потому что мне неинтересно писать. Ваше мужество, заставляющее читать неинтересное, меня восхищает. У меня его нет. Когда я перечитываю свои записки, я скучное пропускаю. Много я видел в жизни поражений. И вот еще одно. Прав ли я вообще, затеяв паломничество к начальству? Бросив Эмилию на произвол обстоятельств? Ничем не смягчив подозрения Люси? А теперь сижу на скамейке в скверике собора Нотр-Дам, вытянув уставшие ноги. Скорее морально, чем физически. Но и физически тоже. Интересно, что в такие моменты я начинаю всех подозревать в лицемерии. В том, что они говорят все свои проповеди и речи потому, что им хочется вкусно кушать и пить. Ну, и осязать, конечно. И слушать, и видеть. И

испытывать наслаждение всей кожей от теплого натопленного пространства зимой и охлажденного в меру летом.

Нигилизм меня увлекал куда-то вниз, в воспоминания моей юности, искалеченной тоталитарной системой. На соседней скамейке сидел клошар и слушал радио. И не просто. Он разговаривал с ним, спорил, не соглашался. Это достижение нашего века и нашей цивилизации. Одним махом можно удовлетворить потребность в общении всех людей, с которыми никто не хочет общаться. Один говорит, а с ним разговаривают сотни тысяч, миллионы. И вдруг мэр заговорил по радио, и я тоже прислушался! Это было интервью по случаю выхода его новой книги. Он сказал, что нужно призывать к добру. К сожалению, заметил он, это слово исчезло из политического лексикона. Он делает все, чтобы вернуть языку политиков человечность. Хватит с нас *деревянного языка!* — воскликнул он. — *Пютен!* — выкрикнул клошар довольно грубое слово, чтобы выразить охватившее его волнение. Я чувствовал, что должен поставить себе вопрос. А именно, принадлежу ли я человечеству. Или я принадлежу своей жизни. Между прочим, склоняющейся к упадку. Ах, как хочется спать. Глаза сами слипаются. Не обращайтесь внимания, если попадетесь глупость. До завтра.

Вот вы и отправились восвояси.

Признаться, я схитрил. Мне захотелось остаться одному, чтобы попробовать сообразить. Понять. Понять — то есть освоить. Поставить все на свое место. Спасти иллюзию порядка. Организации видимого мира по каким-то немногим правилам. Больше того, вечным. Я умру — а они будут, останутся. Все умрут — а они тут как тут. А если так, то есть шанс и мне вернуться. Потому что тогда смерть всего лишь путешествие. Поездка. Не более. Есть куда вернуться. И снова быть принятым. Может быть, всей любви потом уже не найти. Поскольку многое в любви преходяще, как ни надейся. Ведь как я бывал влюблен, ну, просто умирал, если не мог достигнуть заветного места и действия проникновения. А потом — что такое? — проникнешь и чувствуешь счастье немислимое, да и

любимая подтверждает, что так и есть, что не один в этом небывалом экстазе. Вдруг начинает все как-то снижаться, да и уменьшаться тоже. Так. Хорошо. Телесно, физически, это объяснимо. А почему же и душа делается как бы безразличной, тоже насыщенной, успокоившейся? Отчего она, бессмертная, за будущим трупом тащится в своих ощущениях?

Такие вопросы только себе и можно ставить. А то набегут ученые и специалисты и ответят в зависимости от того, что они выучили в школьные годы. И опять шанс долгой узнать что-нибудь, опять дремота ум коллективный настагает. Тсс! Вот что следует помнить. Тсс! Никому ни слова! По крайней мере, до утра. А то расскажут опять портным да парфюмерам, да поварам королевским и прочим всем остальным, а те журналистам свою философию продикутуют. И опять лет на двадцать повторений. Молчи! — говорю я себе. Своему «я».

Но сам я, конечно, знаю, как увернуться. Не то, что эти честянки. Они тридцать лет на жену свою работают, а потом та им говорит: видишь ли, так получилось, дело в том, что я полюбила другого. И психолог Цирюльник тут как тут объясняет. Что это нормально, потому что никуда от сорока процентов разводов не убежишь. Как бы ни старался, а ты уже там внутри, в процентах, если попался и до понедельника не дотерпел, чтобы в другие проценты попасть.

Да я и сам понимаю, что ничего сделать нельзя. Поэтому-то нужно смириться и помыслить в перспективе будущего, зная, что и женщин немало разведенных, и что тут-то и нужно раскинуть сеть, парус, притвориться наживкой. Тем временем я позвонил Бригитте. — Алло, это квартира Шлейермахеров? — Вер ист да? Вас воллен зи? — Звонкий голосок вопрошает. Отчего он там, ведь и времени довольно прошло, что это все значит? — Алло, Вилли? — Нет, найн, Бригитта, бист Ду да?

А там молчание кладбища. Воспоминание бывшего лет двадцать тому назад. — Да бист Дууу? Ты в Германии? — Почти. — И верно, почти, поскольку есть Германия ближняя к Франции, Кёльн, например, Аахен. — И что ты хочешь? — Я? (Боже, что я хочу?) — Ты? — Я? — Тебя (смятение) видеть.

— Завтра в полдень в Кобленце. — Где? (*не расслышав*) — У памятника единства. — Германии? — Не спрашивай, ты сумасшедший. Мы сумасшедшие.

Взрыв счастья. Ночь езды. Ее тюрьма ожидания. Моя тюрьма одиночества. Случайно попавшееся на глаза письмо, написанное тысячу лет тому назад из Берлина. «Теперь я могу сказать тебе, что я тебя люблю». Теперь я могу услышать. Почему тогда это не вызвало последствий? Почему я отвечаю спустя четверть века, и мой ответ еще имеет значение?

Первые сто километров я вспоминал. Я был влюблен в ее сестру. Конечно, по отношению к сестре я весьма изменился. Я любил ее еще слишком сильно, а мой преемник уже появился. Интересно, что он мне не понравился. Красная кожа на лице, какая бывает зимою у лыжников. А он, как я теперь понимаю, хотел приблизиться скорее ко мне. И для этого выбрал — да нет, какое там «выбрал» — пошел ко мне через нее. То есть, присваивая ее, он думал, негодяй... тьфу, откуда опять агрессивность — да нет, в том-то и дело, что не думал, то был социальный, так сказать, инстинкт, — он, идиот, вообразил, что приближается ко мне, присваивая существо самое ко мне близкое! И об этом я думаю, едучи по *оторуту*, который вскоре перейдет в *аутобан*. Сейчас это событие я перенес бы и, ответив на притязания юноши, сказал бы, что инцидент исчерпан. Что я не питаю зла к... кстати, как вас, вы ведь были не одни? Порошки в кармашках, легкие деньги, красная рожа, волосатые ноги, вы ведь? С удовольствием истребил бы из одного эстетического отвращения, но, видите ли, дело в том, что европейское право... — несчастье сотен тысяч ваших бедных клиентов еще не угрожает комфорту тысячи капитанов индустрии, и вас не трогают. Частным лицам от вас защищаться нельзя.

Пока я занимался непротивлением злу, складывалось пространство нормального присутствия зла. Эта мысль у меня отнимает, точнее, весьма занимает, пятьдесят других километров. Хорошо еще, что затекает спина, и остановка почти неизбежна. Я обрадовался горящим буквам и цифрам запра-вочной станции. Закуски, бутылки, баночки. А, вот. Леденцы.

Взглянув на меня, мужчина за кассою изменился в лице. Коробочку с леденцами он подать не спешил. Он рассматривал мое лицо черту за чертой, избегая попасть взглядом в глаза. И осторожно вытягивал ящик прилавка. Я спросил, сколько должен ему.

— Ты должен много.

И зубы оскалил. Он шутил, несомненно. Странно, что он позволил себе «ты», странно. А так плоская шутка уставшего служащего, поздно вечером, кругом ни души, и даже нет сегодня футбольного матча.

— С моим коллегой ты обошелся плохо. Я тебя сразу узнал.

В ящичке лежал револьвер. Теперь-то я увидел. И мужская рука рядом с ним. Нужно что-то сказать. Вероятно, событие недавнее, он еще полон эмоций.

— Вы ошибаетесь. Вы меня приняли за кого-то другого.

— Вот-вот, и тогда ты так говорил. — Он держал оружие в правой руке, не вынимая из ящичка. Связь с миром вещей и материи показалась мне зыбкой, интереса не стало к вещам, и так-то не слишком притягивающим. Сказать ли, что я иностранец, бывает, что это известие выводит из ситуации вон. Так иногда я спасался, отказываясь понимать. А схватка начинается столкновением слов, обвинений. Не понимаю — и баста. Чтобы убить, нужно ведь разбежаться.

— Позвоните коллеге. Еще лучше — в полицию. Я подожду, не волнуйтесь. Не бойтесь.

Ах, не то слово: задел его самолюбие. Револьвер уже в руке продавца бензина. Дрожащий. В испачканной сажей. Да и бензин дорожает.

— Вы ошибаетесь, это случается. Вы меня приняли за кого-то. Я вас понимаю. На вашем месте я поступил бы так же.

Пока страшно, хочется уговаривать человека, что он замечательный. Угрожая, хотят что-либо отнять. А я отдаю добровольно самые лучшие эпитеты и комплименты. Синдром Стокгольма. Спросить Тамара, она оттуда, правда ли это.

— Да и погода холодная, господин. Поскорей бы кончилась смена — и домой, к телевизору. Стаканчик, орешки, ужасы в

Африке, бомбы, падающие на других. И грязи не видно, а только огонь позаданий. Как в детстве играли, помните?

Звякнул дверной звоночек за мою спиной. Продавец разжал руку и ящик задвинул.

— Не вы. Извините. Я обознался. С вас одно евро двадцать сантимов.

Раскрыв кошелек, я стараюсь вернуться к действительности. Но не сразу я понимаю, какая монета какого достоинства. Разрыв сообразительности. Нет, не дрожу. Шаги ног, одетые в женские туфли, у них особенный стук.

— Бонжур.

Я вижу женскую руку, положившую перчатку на прилавок, и поражаюсь ее мягкости, нежности цвета, красоте ее линий. Тончайшая голубоватая жилка пересекает запястье, и в глубине моего существа собирается вдруг сгусток рыдания при виде его. Хочет пробиться, несомненно, плач избавления. Подобно роднику. Хрупкость спаслась. Не погибла.

— Мадам. Вы знаете этот район? Какой здесь поблизости город? Легко ли найти место в гостинице?

Она говорит с короткими э, растягивая слова, чтобы выиграть время. Так говорят на языке неродном.

— Самый близкий город есть Эперне. Я его знаю немного. Я сама там в гостинице. Вы можете следовать за мною, если вам угодно.

Холод и брызги дождя. Автомобиль ночной путешественницы был заправлен. С магистрали она вывела меня в тьму провинции. Она ехала не быстро. Из вежливости, разумеется, чтобы не потерять незнакомца, вернее, чтобы он не отстал. Так всю жизнь кто-нибудь едет, не особенно следя за дорогой, потому что другой ее хорошо знает. Тяжесть опасности спала, и я чувствовал особую радость. Спасенье от. Смерти, быть может. В юности я обожал чувство обретения свободы. Я его пил, я бывал им пьян. Ни с чем не сравнимое счастье: «Вы свободны». Злые силы Левиафана, меня превращавшие — нет, унижавшие — в вещь, вдруг расступались и никли. От легкости кружилась голова.

Мы въехали в город. Пустынный. Вечерний. Провинция Франции, переполненная толпою сборщиков винограда. Но это в сентябре. А сейчас черный обугленный холодом ноябрь. Да что там, декабрь на дворе. И третье тысячелетие, между прочим, если кто-то запомнил. Побольше движения было на площади с памятником. Аббат Периньон, источник благосостояния сего края, славный бенедиктинец, изваянный в камне, стоящий задумчиво с бутылкой шампанского. Он изобрел этот напиток, добавив почти случайно *сычужный фермент* в молодое вино. И оно опять забродило, крепчая. Напротив памятника человек играл на саксофоне рождественские мелодии, а другой ударял время от времени в барабан. Армия Спасения собирала средства для бедных и нищих. Розовыми огнями горел ресторан и называл *Сомон*.

— Но вы ведь не ужинали? Я тоже. Войдемте? — Моя предводительница остановилась у входа, украшенного Дедом Морозом. Он подобострастно разворачивал страницы меню. Мой взгляд выхватил суп и салат. Ну что ж. Кругом уже ложечки занимались десертом. Но до закрытия времени было довольно.

— Вы изучаете виноделие? Вы шампановедка? — предположил я вслух. — Кстати, позвольте догадаться, как вас зовут. — Она подождала с любопытством. Черные глаза, темные волосы. Каштановые, падающие вниз, как на немецких портретах. Средиземное море, коего вал закатился на Север. Влажно-воркующим должно быть имя ее. Лора... но суровые зимы уже добавили в него ззз или ккк, несомненно. Независимость ее была дружелюбной. Ни самого отдаленного покушения на меня.

— Вы Луиза, — сказал я убежденно.

— Элизабет. — И улыбнулась. Ей было приятно занять сразу столько места в мыслях и воображении незнакомца. Какая-то скованность в ней, привычка быть сдержанной, оцепенение роли. И оно проходило.

— Нет, шампанским я особо не интересуюсь, я изучаю причины бедности. Впрочем, я знаю, что вы думаете. Что не в Шампани больше всего материала. Правда?

Подумать я не успел, хотя уже удивился, конечно. Философы говорят, что бедность понятие относительное, двоих я подслушал однажды случайно возле Сорбонны, когда они вынимали из аппарата деньги с помощью магнитных карточек. Что они просто нищие по сравнению с нефтяным магнатом, но им это вполне безразлично. Интересно, что в тот же день и епископ церковный сказал нечто подобное по радио. Дело не во владении богатствами, размышлял он вслух, а в отношении к ним. Если ты достиг равнодушия, то можешь спокойно иметь миллионы. А вот если любишь до дрожи — тогда, конечно, пойдешь и раздай, чтобы освободиться. И после Пасхальной службы он, свободный, сел в лимузин. А я пошел пешком: метро еще не ходило.

Подумал, но чувствовал что-то другое. И нельзя сказать, что с меньшей отчетливостью. Мне представилось, что я положил голову ей на плечо, прислонившись щекой к ее шее, чувствуя завитки волос, несомненно, шелковистых. И тепло ее кожи. И запахи — о, ароматы — о, нет нужного слова — пусть будут хотя бы запахи, но тонкие. Опьяняющие запахи нежности. Ну вот, Провидение, опять подарило минуту, когда мысль о смерти становится неприятной. Элизабет смотрела на меня с любопытством, причем скорее с насмешливым или радостным, а вовсе не изучающим, нет.

— Вам известны эти края?

— Технически говоря, да.

— Вы инженер?

— Видите ли, я бывал здесь при других обстоятельствах — а от них все зависит, правда? Представьте себе — вас провозят по городу в скорой помощи, или в автобусе вместе с другими туристами. Или — да мало ли как? Мы всегда пленники обстоятельности. Редкость — открытая дверь, как сегодня, окно освещенное, перспектива... Простите, я говорю, наверное, скучно, от меня ускользает...

Скользким было ее колено в чулке. Так показалось, я не мог проверить немедленно. Мы кушали кусочки семги, обложенные салатными листьями. Не испугал ли я своими словами — ненужными, прямо скажем, ведь хотелось поговорить легко

и приятно, шутя, паря на крыльях желания, как полагается литератору. А тут затягивал водоворот (сухостей?) философии — как будто можно хоть что-то понять! Высказаться — разумеется, можно, да так, чтобы привлечь внимание покупающей публики. Продать иллюзию понимания. Но чтобы и вправду...

Элизабет подождала еще немного.

— В вас есть приятная мягкость, — сказала она. «А твердость?» — чуть не обмолвился я, но вовремя язык прикусил. Впрочем, ее вопрос, может быть, в этом и заключался, она и хотела спросить. О, человек, он ждет, разумеется, Встречи, когда все объяснится. Вдруг раскроются очи, свет блеснет неземной, и небесный глас прольется сладчайшею музыкой: хватит с тебя земных испытаний, приди в райскую вечность!

Кому рассказать такое? Разумеется, женщине, это ясно, но какой? По каким приметам узнать ее?

Мы покончили с сыром и кушали что-то сладкое. Я чувствовал безразличие. Это меня беспокоило: не та ли потеря жизненного аппетита, о которой говорил Давиду снабженец Верзеллий, когда царь звал его в Иерусалим? «Услышу ли я голоса певцов и певиц, различу ли вкус яств», — говорил он, отказываясь.

— Секрет счастья в отрешенности, — сказала Элизабет, изящным жестом утирая уста. И салфетку она положила на стол красивой горкой, а не как получится. Видно было, что малейший жест у нее продуман и сделался артистическим. В ресторане оставались мы одни. Бармен пересчитывал выручку, а официант собирал скатерти, поглядывая на нас и давая понять.

— Надеюсь, вы не очень устали и расскажете немного о себе, — сказал я, подымаясь. Мягкая дорожка в коридоре делала наши шаги неслышными. Антикварный лифт долго напрягался, стараясь начать движение, а потом вознес нас на третий этаж. Элизабет открыла дверь комнаты и вошла, не оборачиваясь. Я следовал за молодой женщиной, замороженный. Если б она обернулась вооруженная и пригрозила мне смертью, — было бы мне приятно умереть от ее руки? Мысль неожиданная, согласитесь, и нужно хорошо разбираться в причудах подсо-

знания, чтобы понять, откуда она. Снаружи платяного шкафа, на дверце висели плечики с вечерним платьем. Образ хрупкости и незащитности. А между тем и его владелица не казалась слишком спортивной.

— Поступайте, как у себя, — сказала она, бросив короткое пальто на кресло и скрываясь за дверью ванной, по-видимому, комнаты. «У себя» — легко сказать. Мне не хватало букета в руках и в памяти — сонета Петрарки к Лауре. А самое главное — уверенности в уместности подобных действий. В наше время рискуешь скорей рассмешить, чем расположить. На столике лежал немецкий журнал с плачущими лицами на обложке. Репортаж из места, где одни люди убивали других. Неужели здесь есть немецкая пресса?

— Где вы купили журнал?

— В Кобленце.

— Когда?!

— Сегодня утром. Я прямо оттуда.

Элизабет вышла из ванной комнаты в костюме если не совсем домашнем, то все-таки гораздо менее официальном. То было летнее платье с большим декольте, закрытым белою тенниской. Опасаясь дальнейших совпадений, я медленно поднимал взгляд. За прошедшие годы могли произойти перемены. Черные волосы в продуманном беспорядке, и локон, искусно отделенный и приученный падать на щеку, который она легким дуновением отгоняла. Он-то и вызвал смятение. Из-за него и черты лица стали казаться знакомыми. Давно неподвижное, прошлое вдруг наполнило место, словно обрушивалась мозаика, стены и крыша. Тонущий я. Схватиться за соломинку случайности. Или вот еще: можно проверить. Конечно же, родинка. Родимое пятно на излучине паха. Запросто обратиться: «Мадам, позвольте взглянуть...»? Ах, и еще эта припухлинка под глазами. Но ведь звать по-другому. Случайность. Мало ли кто может приехать из Кобленца в Эперне.

— Хотите что-нибудь выпить? — Она разглядывала содержимое крохотного холодильника, и свет падал ей на лицо, на

треугольник открывшейся кожи. — Тут есть сок... крепкое также, вино. И, конечно, шампанское: мы на его родине, не так ли.

— Если у вас есть привычка — я к ней присоединяюсь. Хочу попробовать взглянуть на мир вашими глазами... лизнуть его вашим... язычком!

Меня бросило в жар: такое сморозить! Она бросила на меня изучающий взгляд. Улыбнулась моему замешательству. В ней была покровительственность ученой дамы, уверенной в том, что она как создаст, так и разрешит положение. Однако порозовевшие кончики ушей говорили о другом.

— Если уж мы встретились, то давайте начистоту. Мне ваше общество приятно. Надоело ли — мы не знаем. Не так ли?

— Да. Видите ли — позвольте мне говорить спонтанно — меня озадачивают, собственно, мысли, приходящие в голову. Их неудобство в том, что они безответны. Впрочем, если ответ и находится, то он предложен религией — а она ныне скомпрометирована.

— Кем же?

— Истокованием. Извините за прямоту.

— Вы хотите сказать...

— А они говорят: событий, собственно, не было. Осталось только значение их. Нет ничего, кроме притч.

— Но и это ведь кое-что.

— Разумеется. Последние капли воды в осажденном городе.

Нас смягчил разговор. Безвыходность часто ведет к сближению. Обнявшись легче перенести опасность и гибель, точнее, ожиданье ее. Наконец, тепло не обязательно кончается теплом, как сказал поэт. И этой ночью в Шампани, в уснувшем до следующего сентября городке я подумал, что для многих философских проблем не подходит ни стул, ни кресло, ни густая тень под деревом яблони. Они достигают решения иначе. Если вообще такое возможно.

— Например, проблема бессмертья, — сказал я. — Говорят, что она не имеет отношения к философии.

Утонувшая в кресле Элизабет не отвечала. Она провела краем бокала по губе. Хотелось ли ей услышать скорее шутку, смещ-

ное замечание, звонкий камешек иронии? Близость медленно созревала. И опять захватывающие дух гипотезы отодвигались к горизонту. Нужно ли позвонить и сослаться на невозможность быть в Кобленце завтра? Или не нужно ничего делать, дать идти времени, счесть эту встречу вблизи Эперне ответом на мой телефонный порыв, намеком, что туда вторгаться нельзя, что мой приезд разорвет и погубит что-нибудь?

Молчание ожидания стало значительнее. Положить ладони на ее плечи. Спасибо, отец Периньон, за эту решительность.

И поразился, что ткань была тонкой, ключицы отозвались почти звоном, и волна телесного тепла проникла в ладони. Беззащитность шеи и локона. Наслаждение рта, припавшего к шее, словно желая напиться. Но бокал был в тонкой руке Элизабет. Она наклонилась вперед, чтобы поставить его на столик, и наклонилась осторожно, чтобы не вырваться нечаянно из объятий. Вдруг эта хрупкость. А она показалась мне поначалу высокого роста и крепкой. Это случилось: на первый взгляд женщина представляла большой и в силу этого недоступной. И лишь особо продуманные туалеты прогоняли сию иллюзию. Также и прикоснувшись, я чувствовал узкие плечи, тонкую талию, ненужность борьбы. Мне хватило б моей ширины обнять всю ее, как она открывала мне навстречу свой заветный конверт, который мне предстояло наполнить письмом, посланием в будущее. Генетическим, я хочу сказать. Увы, как правило, отправке не подлежащим, обреченном на гибель. Тонкая талия и округлая твердость бедер. Чреда излюбленных повторений. Расстегнул поясок. Пренебрегая открывшимися возможностями, потянул юбку вверх за складки, открывая колени, голени и икры в чулках, и две ноги мне померещились множеством, шевелящимся, словно испуганным, стадом. Великие люди делали эти жесты? Эйнштейн, Галилей и Лонгфелло дрогнувшею рукою продвигались к великому открытию, к заветному пересечению складок и мышц, скользя по склонам той самой долины, откуда когда-то вышла их голова. От этой мысли пыл мой погас. Элизабет же оставалась в плену иных представлений. Она обняла меня за шею и почти повисла, целуя рот и лицо и ласкаясь о бороду. И выгибалась навстречу,

поднявшись с ногами в кресло. И еще это участившееся дыхание. Белизна кожи поразила зрение, привыкшее к черноте чулок в полутьме. Впрочем, еще не вовсе исчез летний загар с ее бедер, и с моих тоже, как выяснилось почти сразу. Мне показалось, что мы перескочили через этап, уместный в такого рода сближении. Ни разу не написали друг другу открытки из незнакомого города, например, Токио, не пришлось мне мечтать и догадываться, рассматривая открывшуюся полоску спины на любительской фотографии. Не успел приготовиться. Овалы коленей, полушария зада, золотистые волоски на животе, а далее высилась мерцавшая священная роца. Роцица. В ней заблудиться.

А ведь я мог бы мчаться по автострате. Открыв окно, чтобы ветер колот и резал лицо. Чтобы наутро, вернее, днем, окликнуть Бригитту или быть ею окликнутым. Быть может, она подбежала бы и повисла б на мне, обняв за шею и тем самым скрывая смущение. Или правдоподобнее, если б она испугалась переменам, происшедшим за *все эти годы*. Она приблизилась бы ко мне словно к желанному дому, увы, сгоревшему, перестроенному. А потом мы оказались бы в доме ее тетки — жива ли — и пили бы чай из китайских, разумеется, чашечек. Наверняка на плетеной из джута циновке, если этот обычай студенческой вольницы сохранился. Почему бы и нет? Практично, удобно, недорого. Демократично. Бригитта оказалась бы рядом. Она любила лежать, опираясь на локоть левой руки, повернувшись ко мне лицом. Месопотамская поза (см. надгробие в Лувре), выдававшая ее предков.

Едва уловимый запах духов меня почти ранил: стало быть, Элизабет предполагала нашу близость возможной, почти неминуемой. Аромат обнажил предо мной совсем недавнее прошлое (не более двух часов тому назад она извинилась и отправилась в туалет поправить прическу). И теперь воображение мне показало беззастенчивый жест: она прыснула из флакончика.

Предел познания был достигнут опять. Элизабет даже воскликнула *ja*, но потом перешла на французский. Природа старалась, разумеется, о своем, стремясь увеличить количество обитателей бедной планеты, чтобы хоть часть уцелела в

будущих катастрофах. Но ее опять объегорили, не дав в обмен на удовольствие ничего. Как не понять гнев Ватикана? Утоленное желание давало вздохнуть и помыслить. Мне вдруг пришло в голову подсчитать количество семени, изливаемого человечеством в сутки. Операции умножения обещали сотни тонн вещества, необходимого для размножения, я пришел в ужас и перестал эйнштейнствовать. Элизабет курила тонкую сигаретку с золоченым кончиком. Я созерцал, восхищенный, почти идеальный эллипс бедер, завершавшийся талией, и затем восхождение к хрупким плечам. Маленькие круглые груди показались приставленными чашечками. Поднявшиеся соски придавали им вид миниатюрных пагод. Мысль древних архитекторов питалась в детстве, несомненно, из них.

Тишина успокоившихся тел. Безмолвие ночи провинциального городка. Сонность движений. Довольное сосуществование до утра. Отрезочек жизни. Листок бытия. Скрип колес запоздавшего автомобиля. Я чувствовал потребность подвести итог происшедшему, пока он не растворился во времени, не заслонился сотнями других жестов, будничных чашек чая и перелистыванием газет, или вот еще завязыванием галстука и шарфов. Упругие завитки священного возвышения, я покрыл их ладонью. Тело женщины отозвалось мурашками гусиной кожи. Она нащупала край одеяла и потянула, желая накрыться.

Интересно, что все случилось в молчании. Приготовительный разговор оказался ненужным, тела хотели немедленного наслаждения. Точнее, незамедлительного. Они следовали привычкам общества потребления. Поэтико-музыкальные приготовления перешли в потом, превратились в послесловие и эпилог и потеряли всякую радость надежды и живость предвкушения. Искусство, друзья мои, ныне меланхолично поэтому, хуже того, саркастично. И цинизма не избежать ему тоже.

Но я чувствовал умиление в виду этой тонкости линий и теней впадин, приподняв одеяло. Элизабет спала по-спортивному на боку, разметав ноги, словно в беге. А хрупкость, а уязвимость этого, скажу наконец, микрокосма, этих миллиард миллиардов клеток, молекул без смысла, проникающих друг в дру-

га веществ! Из глаз у меня закапали слезы, и Элизабет зашевелилась, невнятно проговорила что-то, сонно шаря рукой, и найдя мою, притянула и сжала горячими ладонями.

Глупо так плакать во тьме гостиничного номера. Впрочем, свет фонарей проникал через развилину штор. И шаркающая походка клошара, кому еще тут бродить на рассвете. Или мучимый бессонницей пенсионер совершает свой тур. Извините.

У нее было детство, начавшееся лет на тридцать позднейшего, ее родители почти мои одноклассники. Мы могли бы поговорить откровенно. Но как это сделать. К разговору располагает... Ну, как его, одиночество. Отрыв и разрыв живого нерва общения. Наклонившись над спящим лицом, я рассматривал его черту за чертой. Припухлые губы. Ресницы со слегка смазанной краской. И нос с тонкими стенками ноздрей и настолько, что они выгибались вовнутрь при вздохе. И эта шея, и текущая с подушки лавина волос. И отчего мои слезы начали течь, непонятно.

Теперь перечитывая, я удивляюсь, что раньше не сказал о них ни слова, а ведь они стояли уже в глазах и в горле. Настигнувшее меня умиление. И этот оттенок печали — печали печать — на лице Элизабет. Какое счастье почувствовать наступление любви после криков и стонов. В ней ведь все дело. Глубже и дольше. Но теперь это почти невозможно. Мне вспомнились насмешки М. надо мною, когда я мечтал о церковном браке. А подруге она сказала, что я сумасшедший. Теперь и мне странен этот анахронизм.

О, современность. Упругая грудь, плод продуманных упражнений. И плоский живот, не скрою, красивый, с магическим углублением пупка. И ухоженный, несомненно, и хранящий память множества посещений холм. К нему я прижался лицом, и Элизабет пробормотала несколько слов на непонятном наречии. Колени ее приподнялись и сжали мне голову, обдав жаром.

Несомненно, я был в позе возвращения. Младенец рождается головою вперед, если вы видели, если не помните. А я возвращался. И если мама моя умерла, а супруга отстала на середине жизненного пути (как у Данте, если забыли: «земной своей

путь пройдя до половины...» — а вот и лес, пора заблудиться), то не третья ли и самая великая жена принимала меня в свое лоно? Вобрав ненужное семя, как неизбежное последствие наслаждения. Вызванный трениями фонтан. Но намерения меня убить не было, вероятно. И желания тоже.

Запахи семени. Молекулы пота. Соль слез. Звон тишины. И отдаленное биение сердца человека. Я наслаждался исчезновением действительности. Нужно остановиться. Вспомнив изречения старших умерших: колодец любви да сохранит пригоршню влаги. Тогда он наполнится вновь. И не иссушай желания до песка подвижничества.

Рука Элизабет легла мне на темя.

Последнее беспокойство утихло: пусть близится утро, а я не знаю, как позвонить, Бригитта же выедет из Майнца в Кобленц через несколько часов. В момент затруднения я обычно кладу ладонь на затылок. Сегодня на нем лежала чужая ладонь, и это меня вполне устраивало. Тепло ее передавалось черепу, мозгу. Хотелось бы тут замереть. Встать грудью плотины поперек течению жизни. Но если я что-нибудь и могу, так только остановиться писать. И тогда прочертится линия успокоения. А потом опять все потечет, поползет тепловатою лавою. И снова незречность и слепота человечества, и все забыто опять до вопля убиваемых миллионов. А один закричит — так не слышно.

И тут я увидел шрамик на животе. Его причудливость меня удивляла и почти восхищала всегда. Словно древняя рыбка, отпечатавшаяся на камне. А тут ведь живот. И самое поразительное, пугающее, что живот сей принадлежал не Бригитте. Это случайность, сказал я себе мысленно. Более того: если б оба живота оказались рядом, то наверняка обнаружилась бы похожесть, и только. Не совпадение, нет. Не удивительно ли ехать навстречу одной и встретить другую. Жизнь из этого и состоит. Но особая примета в двух экземплярах... Словно вмешательство сил, невидимых, однако могучих, перестраивающих все по своему неведомому плану, превосходящему всякую силу ума, например, даже Эйнштейна. Впрочем, Фрейд тоже умный

человек. Жаль, что умерли оба, мне хотелось бы их встретить. Знаменитостей я встречал, но не было интересно. Многие уже и выдохлись ко времени встречи.

Глядя на виолончельные формы бедра и талии Элизабет, вообразив себя Ростроповичем, вернее, Энгром, я медленно проводил ладонью, удивляясь опережающим ее бегущим мурашкам. Она застонала и проговорила по-немецки: «Абер Петер, битте, битте!» Плечи: их незащитность. Лилейность. И как это людей не останавливает слабость и хрупкость, а даже иной раз поощряет к насилию. Индус, улыбаясь, однажды мне в метро объяснял, что переселение душ привело к хаосу: в людские тела вселились какие угодно звери и гады, в человечестве все перемешано, крокодилы ходят по улицам рядом с газелями и, если нет рядом собак, их пожирают. Или насилюют, потому что аппетиты обитателей человека разнообразны.

Между тем Элизабет отодвинулась и улыбнулась. Чуть открыв припухлые губы, она дышала ртом и походила на школьницу. И пошевелила ртом, словно что-то проглатывая. Я пересел к столу, накинул свитер на плечи, как был, положив на сиденье стула рубашку. Вот моя выдавшая виды записная книжка. Надежду в ней разобраться я давно потерял.

ждал с нетерпением ночи, чтобы поразмышлять
писать что-нибудь, значит требовать к себе внимания
наши мертвые и наши смерти, эти сдвиги; перемещения
нашего тела и наших источников вдохновения, питания, кор-
ней. Всё выливалось мгновенно в кристалл, дрожащий, несущ-
ествующий, но такой прочный, что он выдерживал долгий
взгляд художника и перенесение на бумагу. На поверхность.
Приобретение объема. Инкрустацию в длительность.

начал по-настоящему мыслить, когда вокруг не стало со-
временников. Дружбы забирали время и силы. Интересно, что у
меня было много друзей, не интересовавшихся моим искусством.
Или ничего не понимавших в нем. Впрочем, это одно и то же.

сожалею также вот о чем

Глубина заметок поразила меня. О, многоэтажность человеческого существа! Мгновенье назад я наслаждался созерцанием тела женщины, еще недавно — ощущением глубинных пожатий моей напряженной конечности, вошедшей в нее, ее откинутой назад головой и стоном, и вонзившимися ногтями мне в бедра, а теперь превосходен был вкус нагретого вина, и философствование приобрело свой спокойный округлый объем, вселявший уверенность в том, что и завтра будет существование!

Вид на площадь стал моим другом. Я выглянул на нее из-за шторы и мгновенно почувствовал радость. Она пришла ко мне однажды во Франции и не покидает с тех пор. Люблю эту тревогу ночного выглядывания в окно, потому что она исчезает. Как и сейчас, при виде каменного изобретателя шампанского, не знающего в этот час ночи, кому бы налить шипучий напиток. А в юности страх подтверждался: тень у угла московского дома, и автомобиль посередине улицы, нарочно, чтоб видел. Засада, может быть, смерти, как знать? В незнании прятался ужас.

Обернувшись, я увидел другое. Грудь Элизабет поднималась, и прежде спавшие соски поднимались все выше, выступали и восставали. словно они звали на помощь, во всяком случае, приглашали к участию в чем-то. Их шершавость во рту. Твердость. И эта властность желанья, когда охватив мою голову и прижав к груди, она раздвинула бедра и искала животом посох вечного странника.

Что в этих дрогнувших веках? Элизабет не открывала глаз, словно опасаясь увидеть другого, а не того, кто был в ее, вероятно, мечтах. Эта розовость щек, и гримаса сладостной боли, и отодвигание, чтобы я, конечно, старался достать и достигнуть, как если б нужно было насилие, хотя бы умеренное. Я последовал примеру ее и закрыл глаза. И вдруг совершилось: не кто другой изнемогал от наслаждения в моих объятиях, как чудная сестра Бригитты. Вот и счастье, тем более, что слова я вполне понимал, горячим дыханием вливаемые мне в ухо: «*о, либсте, о, битте, нох...*»

Лишь потом осознал, что она далека, как звезда. Она-то была моей музой. Вместе мы путешествовали, обеспечивая

наше существование рассказами о странностях северной угрюмой страны. Мне нужно для заработка так называемое вдохновение. То есть уверенность в — хотя б дружелюбии спутницы. Напитавшись, Элизабет успокаивалась и опять засыпала. Наслаждение тоже ведь пища. Продолжение рода использует всякий самый маленький шанс, не смущаясь ничем, готовое всюду соединять два пола в родителя.

Ах, забыл, о чем хотел написать. Такое пронзительное, всеобщее, и вот позабыл. Помогите напомнить. Колени, живот, пупок — чудесно, о, Создатель, спасибо за этот плен, быть может, Ты сообразишь меня освободить когда-нибудь из него.

Я перебирал ее интимные вещи. Смятые трусики, твердые чашечки из полотна, украшенные кружевами. И эта пуговка юбки, венчающая молнию, оторвавшаяся и пришитая неумело. Слезы опять подступили. Так бывает, стоит мне взглянуть на людей в окошке какого-нибудь ресторана в обеденный час. Поспешность снования ложек, тревога насыщающихся, старательность, та же, что и сейчас, в домашних попытках Луизы пришить пуговицу, чтобы быть, как все, чтобы успеть куда-то, куда нужно бежать, задыхаясь, потому что так полагается. О, стрекозы мои, муравьи, голуби, врассыпную бегущие из-под колес! Пока кто-нибудь не зазевается, увлеченный откатившимся зернышком. Я гладил ее бедра, начинающие тяжелеть, ее вымуштрованные джогингом ягодицы, и крестец, позвоночник, лопатки. Она стонала и двигалась: ей снилось сладостное нечто. Я был счастлив сотворить эти минуты.

Потом я шел по плюшевому коридору. Я не знал, как включить лампу возле конторки, но света ночной улицы мне вполне хватило, чтоб найти телефон. И фонарика авторучки, чтоб осветить цифры. Номер Бригитты. Гудки. И вдруг ее голос, увы, механический, попросил оставить сообщение. Не странно ли, что голос мой дрогнул в ответ? Дорогая. Я не успеваю доехать. Я доеду до Реймса. И не знаю, когда ты услышишь — записывание прервалась гудком, я замолчал. Волнение мое достигло предела: стало быть, она выехала, если отвечает ответчик. А я еще здесь. И не успеваю теперь никуда. Как обычно в моей жизни.

Мерцавшее пузце бутылки минеральной воды показалось приятным. Я отвинтил крышку и отпил.

К сожалению, дверца шкафа скрипела, когда я вытащила свой чемодан.

— Который час? — сонно спросила Элизабет и потянулась ко мне. — Тебе нужно идти? Поспи со мной десять минут, хорошо? — сонная, она открыла одеяло. Отчего я люблю одну и сплю с другою? А? Спросонок она разговаривала по-английски, и потом еще прибавила замечание о Брюсселе и о каких-то мошенниках.

Дверь на улицу открылась и выпустила меня. Гравий гостиничного двора неприятно хрустел под шинами. Но все они спали. Один я торопился в то утро, и только потом сообразил, что Реймс совсем близко, что ничто не мешало мне позавтракать с Элизабет и, может быть, упрочить отношения. Мало ли что. Одиночество подстерегает нас всех, а главное одиночество не за горами. Я ехал вдоль Марны в сторону темных холмов, открыв окна и вдыхая холодный ночной пронзающий воздух. «Хрустящий», хотел добавить я, и не решился. Покидая один островок страны, я уже был на другом: обработанность и ухоженность Франции меня всегда поражала. Как поражало стремление русских захватить еще и еще земли, чтобы сделать ее никому не нужной.

Здесь, над равниной, я мог и остановиться. И смотреть на наполненный зеленой дымкой грандиозный провал: то начинали трескаться почки листья виноградников, спускавшихся густыми рядами по склонам. Чернела статуя девы Марии, прозванная Марией Крюгера; ее обещали поставить жители во время жестокой бомбежки когда-то. И потом следовало подняться на холм и спуститься, и снова подняться, — само передвижение казалось мне приближением к дому, к счастью, к в повседневности несуществующему. Движение все, а цель ничто, сказал директор туристической фирмы. Он первый стал продавать билеты на Марс, но в прошлом году разбился при открытии нового фуникулера: вагончик с почетными гостями сорвался. Далеко отсюда, в Савойе. Его заместитель на торжество опоздал, проспав.

Здесь ничего подобного не было. Когда-то, правда, военные действия Германии угрожали жестоко, стреляли пушки и ружья, падали люди. Боялись. Им было не до того. Какая уж там литература. Искусство представлялось выходным днем, посреди ужасов неуместным.

Много незначительных фраз в книгах. Они нужны, конечно, авторам, потому что длительная мысль невозможна, она подобна скорее заячьим следам на снегу, и писатель собирается с мыслями во время незначащих замечаний, часто скучных. Но вычеркивать поздно, уже начали печатать и продавать, и поневоле махнешь рукой. Не бросаться же под машину — типографскую, разумеется, но не менее страшную, чем джип вездеход. Ах, нет, нет никого, как здесь в этот час, разве вон там едет трактор по склону, но по-прежнему нет, хотя к этому мне надобно бы привыкнуть давно, мне с друзьями не повезло, с возрастом они разошлись и застыли, — одни перед телевизором, другие перед стеною с календарем отрывным. Там, где застигла усталость.

Сзади подъехал и остановился мотоцикл, огромный, блестящий никелем. И сидел на нем человек почти полулежа, в той удивительной позе, которую я никогда не мог объяснить. Неужели удобно? Видимо, да, если подобное продается недешево. На нем еще были шлем и очки. В какую сторону Реймс? — спросил он. Я показал, и он поблагодарил меня жестом. Если бы не машина, я к нему б прицепился. Крепкий, в кожаной куртке, едущий с грохотом, он, разумеется, в этой жизни был лучше устроен. И следы дыма стелились за ним синие.

Я знал этот холм и Деву Марию Крюгера. Я даже ночевал здесь однажды лет двенадцать до того, то есть до этого. Меня удивил неприятно мелко раздробленный мусор свалок, наполнивший борозды между рядами виноградных стволиков. Потом мне объяснял виноградарь, почти извиняясь, что так лучше для снабжения воздухом корней. Размолотые больничные шприцы и синие лоскутки мешочков из супермаркета, стальные иголки, торчавшие из земли. Не хотелось пойти босиком. А тогда наслаждение землей невозможно.

Протяженность полей к горизонту. Медлительность взгляда. И умиление, вступавшее в сердце, будто в свой дом, — вы понимаете? Боже, к кому мой вопрос? Задумчивое чистое лицо, которое я видел во сне накануне, может быть, еще не родившегося человека, во всяком случае, еще не выросшего, это ясно. Вот в чем беда. Одни уже умерли, а другие еще не выросли. Моя жизнь распялась между уже и еще. Да я и сам такой. Если Бригитта действительно едет навстречу, если и вправду гудок ее автомобиля донесся из Страсбурга сегодня утром и меня разбудил в объятьях Луизы — виноват, Элизабет, — то тогда есть шанс соединения хотя бы двух участочков жизни — моей, бедной, невзрачной, Господи, незаметной.

Мотоцикл спустился к подножию, я видел. Остановился и ждал. И человек сошел с него и делал странные жесты. Воздевал руки к небу и потрясал ими. И тут загудела баржа на канале, параллельно Марне идущем в Страсбург. Значение гудка я узнал когда-то здесь же, на этом канале рядом с городом Э, что напротив Эперне, где еще нежилась, надо думать (и приятно себе представить, а еще приятнее вообразить себя рядом с ней), в кровати хорошенькая исследовательница бедноты. Я шел тогда мимо шлюза, и одетый по-рабочему человек тянул дерево, упавшее в канал и перегородившее его неудобно. Ясно было, что если кто-нибудь выведет ветви из-под брусьев запирающих воду ворот, то и все дерево всплывет на поверхность. И помог я ему, упирая длинным шестом. Начальник шлюза ослабил. Он сказал, что обычно ему помогает жена, но сегодня она уехала в банк в Реймс, и вот он один, и как это неловко. Довольный, он позвал меня выпить кофе. Бывали ли вы в доме начальника шлюза на Марне? Главное место занимал телевизор, затем высился старинный деревянный буфет с посудой. Несколько украшений в виде расписных тарелок на стенах, блюдо с рельефом ясновидящей Бернадетты в Лурде и девы Марии с желтыми розочками на ногах. И когда мы пили кофе, раздался гудок, и я спросил его, Жерара, о чем он. Тот сказал, что баржа вышла на прямую к шлюзу и предупреждает возможных встречных, что не сможет уступить им дорогу.

Те должны войти в особое расширение, на их жаргоне «карман», и ее пропустить.

И теперь на холме я знал, что значит этот печальный гудок. Конечно, я ловил в нем мое настроение, и поэтому был взволнован. Непреложность, неотменяемость, бесповоротность! Теперь только так, и нельзя иначе. Так мало в мире причин реальных, достойных этого имени, а чаще же поводы и предлоги, это каждый знает. Нас было трое в бескрайнем пространстве холмов и водяного пути, капитан баржи, мотоциклист и еще водитель автомобиля, стоявший с седеющей головой у подножия статуи женщины с младенцем. И туман еще этот, и рассветное пенье черного дрозда, — певчий дрозд, несравненный, предпочитает закат. С холма я спустился, не включая мотора, почти бесшумно. Открыв окна для ветра, и он легонько посвистывал. Я любил так делать в Германии двадцать четыре года тому назад, в Шварцвальде*.

Темная скученность города на горизонте в дали долины. Оглянувшись на лес, сожалея и расставаясь, словно опять пришлось выбирать между доброжелательством (существующим ли?) природы и вниманьем людей. Бригитты в городе не было, я чувствовал, я поехал к собору, полагая, что он открывается прежде всех прочих музеев и почт. И правда. Даже утреннего говорения мессы еще не было слышно. Впрочем, теперь она бывает не всюду. Холод ночного воздуха, стоящего под сводами. Ну, и ангел смеющийся (во всяком путеводителе), ах, позабыл взглянуть. Одинокая гулкость пространства. Почти тысяча лет тишины. Малость и слабость. Шарканье старческих ног по плитам.

И оцепенение созерцания. Вглядывание в прозрачную толщу. Безрезультатное, то есть в том смысле, что не увидится новое знание, что ли, само по себе, вдруг взрываясь смыслом ошеломляющим, когда прерывается вздох, и все вопросы букетом торчат из ответа на все. А вокруг было довольно обыкновенно. Ну, Жанна д'Арк, разумеется, это город ее и дофина. Она представлена статуей и гобеленом. На нем летел по воздуху пузырек со святым миром для помазания короля, поскольку

* Если захотите попробовать, не забудьте повернуть ключ зажигания, чтобы разблокировать руль.

вовремя не оказался в руках у святого Реми, друга французской гольфтьбы. *M'envoie saint Remi / L'opulent r.m.i. / Merci, saint Remi, / Pour ton r.m.i.** Ремигия, впрочем, по-русски с латинского. А р.м.и. есть пособие, американский *welfare*. Короли, базилевсы, цари. Здесь подстроили и встречу древности с современностью, витражи по картонам Шагала. Он остался верен себе, да и собор не слишком подался навстречу. Немного пастельной размазанности в строгость средневековья. И уж так знаменит был художник в те дни, что как же не заказать и не вставить в окна. Не тайный расчет прелатов на увеличение стада (туристов, — он оправдался), а дерзновенье художника — с годами и поражает все меньше. Судьба нас ведет, и оплачиваются счета, и оплакивается чета, и все происходит так, как назначено, а всякий всплеск воли только колышет нитки седовласого кукловода, но не отменяет ни йоты, нет. Роли-то вот: вот она, роль, она выпала, ей и обучен, баста.

Просеменили старушки, проплыл старичок, с рюкзачком пробежала студентка. И женщина с хозяйственной сумкой. Чиновник с портфелем. И священник вышел из дверей ризницы с чашей, и зацепился о меня взглядом: незнакомец, еще один, или так? Вскоре из богородичного придела послышался озвученный текст. Поразительно, что скуки в нем нет никогда, а ведь затвержен, как надо! Попробуй вслушаться в первую фразу, нет, дать ей войти во внимание — и она открывает все двери и окна, и пока-то закроешь все, бегая в доме памяти — нет, трущобе — нет, подземелье — нет, по дворцу. Нет, тюрьме воспоминаний.

Приятно было это говорение голосов неподалеку, но невидимо. Как возможность общения, которое ничего не прибавит, но хорошо именно своей возможностью: бывают ведь дни, когда поздороваться — это много, а услышать ответ — роскошь. Медленно пойти по боковой галерее, радуясь зажженной свечке, живому огоньку, который кому-то понадобилось зажечь, к счастью, разговоры об идолопоклонстве этот обычай еще не всюду искоренили. Пусть и продукция Шагала останется, ведь

* Мне Святой Марциал / Присылает социал. / Данке шон, Марциал, / за обильный социал!
(Перев. автора)

и он страдал в жизни. Собор принадлежит государству, а государство министрам, и они решают, что хорошо, а что ни к чему. Вот и тут порешили. И уже при выходе встрепенулись два местных клошара, стоявших слева и справа наподобие статуй. Им нужен был алкоголь. Если уж другого нет способа почувствовать приятное в жизни. Не мир изменить, куда там! Свое к нему отношение с помощью особых молекул, вводимых в общество молекул мозга и нервов.

— Один или два евро, господин? — предположил высокий небритый в кожаной куртке, сутулясь и нависая жирафом. Я протянул, и он повернул ладонь к свету, чтобы видеть достоинство монеты. Пусть он выпьет и забудет обо всем, пока не заснет. И хорошо еще, если на теплом матрасе ночлежки. Покрытом чехлом из клеенки (не вода течет из-под них). Сошедшая с рельс биография, а точнее — нашедшая себе наполнение роль неудачника. Нищего. Даже если б явился сию минуту святой или могучий атлет профсоюза и его спас бы, его роль нищеты пустой не останется, она всосет кого-то другого, сломавшего нечаянно (ой ли?) ногу, оставленного женой. Присоски ролей, о, жадущий наполнения вакуум, я его чувствую спиной и боками, о!

Я поспешил отвернуться. Всегда как-то тягостно видеть состояния Всемогущего, напоминающие наказание муравьям. Скорее к поэтам бы, они расскажут другое, скорей к музыкантам праздников. Там хорошо моралистам, они все объясняют, и бывает — талантливо, увлеченно, пока не посыпятся жевание трудящихся в полдень, и *дискурс* укоротится до:

— А закусочку взяли?

— Будьте добры, горчичку.

Нет, нет, обыденность не нужно нам задевать. Нельзя с ней так обращаться. Это стена и крепость, где еще спрятаться человеку? Там ему быть и ждать, пока и его не начнет относить к берегам великая река бытия. И там и осядем. В осоке и иле забвения.

Я вышел из собора готического и почувствовал озноб. Уж не грипп ли, он мне все исчертит и испортит! Я побежал вдоль стены, желая согреться, усилием воли изгоняя, как советовал Шопенгауэр, простуду. И когда добежал до апсиды, под-

няв голову, увидел Стрельца знаменитого, точнее, Кентавра, целившегося в пространство, реставрированного, разумеется, крепкого с того самого девятнадцатого века, но подправленного и в только что минувшем двадцатом. Ох, как подумаю, что не только век кончился, но и тысячелетие, то волнуюсь, не зная, как поступать: старшие учителя, классики не дотянули, а новые не сложились. Складываются, как я, например. И если люди обратятся к тому, что я думал и понял, то вот что придется сказать: друзья мои, не знаю и не понимаю. Хуже того, опасаясь, что знания нет. А только подходящее к случаю утешение. Братья и сестры, простите, что так говорю, вам ведь нужен ученый ответ. Вон та изнемогает от болезни, а этот от горя, вон та полюбила, а сей разлюбил, и кровоточат сердца, истекают! Да если б я начал свое рассказывать, никаких бы страниц не хватило! Одно знаю: после смерти обычной начинается иное существование. Знаю, а доказать не могу. Развою, конечно, руками, ибо в наш век знание без доказательства не стоит гроша. Как же это он знает, а доказать? А? Чтоб выводы были честь честью. Вот два, а вот другие два к нему приближается, бац! Перемножились, черти! И вышло четыре. А ты что говоришь? Вот будущий труп. Еще дышит и стонет. Ну, давай, где твои два? Наши-то вот они: стонет и просит водицы испить. Дернулся и затих. А ты?

Ребята, только не бейте, я вам все объясню! Математически докажу. Тут знак умноженья другой, заковыристый, вы его в Новосибирске не проходили! В Загорске начали было, да затянуло под крышу!

Бегу, задыхаюсь, вон куда меня понесло. Плакучие ивы, зеленый упругий газон, подстриженный, надо же. Бригитта бы мне помогла одним своим видом, словно опять возможность открывшейся двери, — куда, в какой космос, на какую планету? Известное дело: женщина и мужчина. Рождается третий в случае удачи. И всё? Отчего же надежда на пришествие Бога? Откуда? Говорят, что это фантазия, но ведь, друзья мои, фантазия *именно эта*, а не другая! Как не понять! Вот в чем ответ. Как только любовь — так и Бог.

Но я бежал уже мимо другого забора. И хорошо, что музей, и он открывается, я здесь отдохну, я здесь тоже любил укрываться, если были деньги на вход, конечно. А ведь и Бригитта восхитилась Вермеером и поехала в Амстердам. И в Берлин. И оттуда тогда написала. На своем лицейском французском: «теперь я могу сказать тебе, что люблю». И потом вписала «тебя». Вбежал в холл, две контролерши испуганно оглянулись на шум, непохожий на осторожное появление посетителей, — они здесь, в месте странном, сами боятся. И так рано, еще никого, еще никогда — так рано никто. Музей Сен-Дени наслаждался тишиной и теплом.

И картина остановившейся процессии на Голгофу. И все тот же Христос — немного одутловатый, болезненный. И обезображенные кистью лица орущих. У меня голова заболит. Как же странно увидеть вдруг лица двадцатого века на картинах того Ренессанса! Послушайте. Да я знаю художника: бельгиец Дельво, автор эротических сцен, немного сусальных. Интересно. Реставратор его ученик, разумеется, увлеченный им, и настолько, что средние века он наполнил учителем. Мастер женских слегка порочных лиц (и почему, и как возможно моральное осуждение с помощью кисти? Учеником — ах, ученицей Дельво?)

Натоплено так, что сторожа сняли кители формы и накинули их на плечи. Но нельзя открыть форточку, нет. И вдруг, взглянув на картину, я увидел Бригитту, и этого мгновения знал, что она приехала в город. И старается выдумать, где я могу находиться. Она на картине Ренуара стояла при двери полуоткрытой. И дверь была мой телефонный звонок. И лицо ее: видел тысячи раз. *Schon elf Uhr*, вдруг послышался голос. Скоро одиннадцать. Я смотрел на нее, Бригитту, двадцать лет тому назад в ее доме, точнее, ее родителей. Куда я был допущен ради ее сестры: этой любой каприз позволялся. Больше: вызывал восхищение. Из приоткрытой двери комнаты, где меня положили на ночлег, я смотрел в коридор и видел Бригитту, входящую в другую комнату, в тенниске и трусиках. И она видела зрением боковым, что кто-то смотрит, и кто мог смотреть, если не гость, — она входила в свою комнату не торопясь и ото-

звалась матери, что-то ей говорившей с нижнего этажа: «Nein, Ich hab ein Besuch». Она замедлила в дверях, и тогда я сказал: «Brigitta, Du bist schön». Она повернулась и осталась стоять. Чтобы я мог ею полюбоваться. А я в свои тридцать шесть был ошеломлен. Темные кружки сосков на снежно-белой тенниске. И трусики с незабудками, и темнеющий треугольник. И гладкость колен. Я хотел повторить свою простенькую немецкую фразу, но в горле сделалось сухо, она задохнулась в откашливании. Бригитта засмеялась и скрылась за дверью. Потом завелся тяжелый приятель товарищ по школе из мясницкой семьи, они приехали к нам в Марбург, и он жаловался мне на плече, как ему трудно: он лишил ее девственности, и чувствовал себя виноватым, потому что ему стало неинтересно. И я успокаивал его по-отечески, а Бригитта прислушивалась с насмешкой, может быть, деланной, поскольку преградой был не он, а ее собственная сестра, в которую я был влюблен. И в конце концов, не с моей стороны препятствие, а с ее. Я смотрю на картину, где Бригитта, приоткрыв дверь, смотрит на всадника, балагуриющего с зеленщицей. Она в городе Реймсе. Я потерян и сбит с толку. Пожалуй, я предпочел бы теперь мое унылое одиночество. Семнадцать плюс двадцать два. Как это уцелело хоть что-нибудь, хоть уголек! О, как хочется упасть на колени! Только вот перед кем? Победительницей времени, например. Я тоже помнил, конечно, но так сорваться и побежать...

Я страшился и желал ее встретить, спускаясь по лестнице и во двор, и дальше на улицу, равнодушный к именам министра Кольбера и Гербера Аврилакского (уж этого русские читатели знают!) И вернулся к собору. Рядом дворец епископа, тоже ныне музей (как и сам он). Собор города Реймса я видел первый в моей жизни, на рисунке, в возрасте нежном. Начиная с шести я помню, а видел, вероятно, и раньше. Мама бедная — царствие ей небесное — приехала с войны офицером, с пачками книг, с которыми я любил повозиться. Называлась одна «Артиллерия». Учебник с картинками. Я читать не умел, но требовал, чтобы мне объясняли. И эту: странное сооружение, вероятно, церковь, но не похожа на наши, с двумя башнями. На соседней странице изображена

огромная пушка, поставленная на рельсы, она стреляет, и снаряд описывает пунктиром свой путь в сто километров, чтобы упасть у подножия церкви. Пушка имела женское имя Большая Берта. Как странно, почти игра. Как интересно.

Здесь я теперь спустя множество лет. Мама бедная умерла. Я ей звонил накануне и слышал ее крики, обидные для сиделки, ни к чему повторять, а сия говорила мне, что провод короткий, и что ни завещательницу невозможно приблизить к трубке, ни трубку к ней. В Москве всегда так. Она скончалась сама. Наверное, потому, что молились. Бог слышит молитву. Правда, телефонный провод оказался слишком коротким, мама не смогла со мною поговорить, но, вероятно, это и к лучшему: я был в таком состоянии, что лучше не говорить.

Боже, как всё поменялось необъяснимо. Радовался в детстве и отрочестве, что у нас Чехова четырнадцать томов на шкафу! Прочитал шестой, седьмой, а их еще половина! Недавно подумал с ужасом: экая прорва! Да кому это нужно? «Три сестры» да «Вишневый сад» — и хватит. Ну, еще пару повестей, «Три года» там или «Дама с собачкой». Ну ладно, еще «Дом с мезонином». Они жили в другом столетии, и как мы, они не молились. Мы думали, что уж столько крови Бог не потерпит, уж чтобы так убивали, как нас, — нет, невозможно. Всем миром кинутся нас вытаскивать из этакой ямы. И подумать только, не кинулись. Наоборот, приехали посмотреть, не осталось ли чего на курочек выменять. И моя реакция странная: засыпаю. Дрема настигает меня в главный момент: или проповедь начинает потупившийся священник, или премьер-министр свое гнет (он еще бровями делает: оп!), или, откашливаясь, известный философ, тоже, конечно, человек проверенный и без подвохов.

Пойду-ка ободрюсь и ум освежу лицезреньем путников в Эммаус, пятиметровых гигантов, снятых с собора из-за действия климата, они стали рассыпаться в песок, а ведь из камня, — каково их зреть, выдолбленных из скалы резцами великанов Роденов, но давних и безымянных, умерших без альбомов и фотографий? Их теперь повторил наш недавний, усвоивший

суровую мину величественности. Не скажу — плагиатор, не скажу, промолчу. Мощный для нашего века.

Я сидел у свидетельства детства: у водостоков, снятых с храма после пожара, причиненного Большой Бертой. Свинцовые листы крыши плавилась и текли в желоба и горло *гаргуев*, металл остывал и повис сосульками из пастей чудовищ. Что-то извлечь из этой необычности, но как? Сосульки вечного холода? А все остальное, а Берта, и кстати — ли? — была королева во Франции Берта Большая Нога. Задолго до. Ох, задолго. Отчего же она обернулась столь разрушительно чудовищной пушкой. Она ли.

Снаряд прилетал и взрывался. Наконец, загорелись леса, собор окружавшие и заполненные мешками с песком для того, чтобы защитить собор от обстрела. Еще раз защита обернулась причиной гибели. Еще раз. Творец, объясни. Отведи от глаз моих паутину бессмыслицы мира. Что тебе стоит. Я никому не скажу. Нет, не кричу я: смотрите, вот нити и палочки, братья-марионетки. Они все равно не поверят. Их уши, самые чуткие уши (Бетховена) не услышат, и не беда. Главное — услышат некоторые, которым это жизненно важно. Лишенные возможности возмутиться. Ну, разве кивнут друг другу, подмигнут: что я говорил!

Из полутьмы музейной я вышел и вздрогнул: у ограды стоял оранжевый яйцевидный Фольксваген. Ну конечно. Странно еще, что не красный: красный автомобиль был у ее сестры в связи с каким-то юношеским мифом тех лет, вышедшим из какого-то фильма, где влюбленным взрослые чинят препоны, не дают им денег на билеты в кино или на макдональдс. Он мчится на красном спортивном автомобиле, чтобы отнять ее у скучного молодого банкира, за которого она должна выйти замуж, но у него и самого состояньице будь здоров, и состоянье здоровья тоже хорошее, кроме того, он талантливый биолог-программист по имени Билл. Но подражать вплоть до красного цвета Бригитта не решилась. А оранжевый можно. Она была где-то поблизости. Может быть, пробежала зал за залом. Или смотрела на меня из окна музея *То* (нужно бы рассказать при

случае, откуда это странное название, нужно бы, нужно), правильной — Тау, а еще лучше Тав.

Безукоризненно вымытый, словно немецкий дом, Фольксваген. На сидении сумка, высовывается свитер, пачка карт с бумагой. Невольно я вздрогнул: растрескавшийся корешок книжки, но еще можно прочесть Жан Петроу, листы бумаги, конверты каких-то писем. Два смеющихся детских личика в медальоне, подвешенном к зеркалу. Две руки мягко легли мне на шею. И голос сказал:

— Не обращайся сразу, *битте*. Мне нужно привыкнуть.

А я хотел умереть, вернее, сделать так, чтобы остаться с этим прикосновением навсегда. И больше не видеть ни стен, ни домов, не слышать их разговоров.

— Я тоже боюсь, — сказал я. — Двадцать два года.

— И шесть месяцев, — уточнила она с обидою в голосе. — Я сосчитала сегодня. Ты уехал летом. И не приехал зимой. А когда я приехала в Париж...

Что ж теперь делать. С тех пор все изменилось. И Германий было несколько, и русские были повсюду, а танки их быстрые наконец-то ржавеют.

— Ты собирался в Берлин, и тогда всё было бы ясно...

— Ты очень изменилась за все эти... годы?

— Внешне?

— Нам нужно было сначала поговорить обо всем по телефону.

— Подожди открывать глаза.

Ласковые ладони исчезли, а я и вправду не открывал глаз, поворачиваясь. Бригитте тогда было семнадцать. И прошло двадцать два.

— Можно!

Никого. Капли ночного дождя поблескивали на бутонах оживающих роз. И с трудом удерживаемый смех за автомобилем. Женщина в модно разорванных джинсах сидела на корточках, в сиреневой блузке и курточке с капюшоном, и зажимала себе рот рукой. Это была Бригитта. И ею осталась, когда руку отняла, смеясь во все горло, поднимаясь и вытирая высту-

павшие слезы. Словно мы расстались вчера, на берегу далекого Рейна, куда отправились бегать рысцой, виноват, трусцой, а понятнее — джогинг. Вскоре ей надоело, и она побежала домой, но на полпути остановилась, вернулась, играя, повисла на мне, я был все-таки *лебенсgeferte*, «внебрачным жизненным спутником» — так определял мое состояние немецкий язык того времени — ее сестры. Это ребячество едва ли скрывало интерес девушки, робевшей из-за восхищенья сестрой. И на меня перешло восхищенье. Ей нужно делать все, как старшая, красавица и любимица папы. И всех вообще. И уже я был у старшей не первый, и больше того, кто-то в Берлине, отвергнутый, пытался покончить с собой, о чем меня предупредили, — не сказать своевременно, наоборот, слишком поздно.

Бригитта повисла на шее, пряча лицо в мой воротник. Тяжесть темных блестящих волос, волна их, — старшая завидовала младшей, хотя и безосновательно, но красавицы так уж устроены, готовые весь мир обобрать и снести в свои закрома. И вдруг тут и там в этой волне я увидел белые почти прозрачные волоски. Острая жалость пронзила меня, словно Бригитту постигло Бог знает какое несчастье, я гладил ее по голове осторожно. Нас нагнали двадцать два года, спасибо. Жалость людей — плод зрелости и страдания, правда. О, жестокая молодость. О, чуточку припухшие губы, и жемчужное мерцанье зубов. Мы целовались.

— Ах, я не подумал, — сказал я, наконец, — надо было б найти гостиницу.

— Я подумала, я позвонила. Вблизи базилики Сен-Реми, где это?

— Я знаю, я поеду вперед.

Мерси, Сен-Реми. Незаметная, чистенькая, в переулке. И места нашлись для обеих машин. Комната с попыткой уюта: собор, нарисованный на стене в перспективе, точнее, на холсте, и холст был наклеен на стену. Бригитта приехала со своим одеялом в багажнике, пестрым, и даже простыни с цветочками привезла. Я удивился невольно подобной предусмотрительности, а она слегка смутилась.

— Понимаешь ли, — объясняла она осторожно, — я не знала, как сложится, и что будет потом. А так я их увезу на память.

Она меня видела тогдашним. А я ее юной. Да и вправду время не имеет власти над нами? А? И что же откроется? Бедра, живот, тело как поле битвы страстей? Или вдруг, наконец, что-то такое, что и сказать нельзя, а только пить и пить взглядом и сердцем.

Бригитта прижалась ко мне, и вдруг ее тело лишилось опоры и мускулов, и мне пришлось его подхватить. Дрессированное аэробикой и плаваньем, легкое, ловкое. Ей хотелось, чтобы я понес ее до постели. Чтобы все полные значения жесты свершились. И потом смотрела на меня ожидающе, и я вспомнил, что нужно расстегнуть ее поясок. А потом раздевалась сама, и вдруг остановилась и посмотрела смущенно:

— Не знаю, будешь ли делать все так, как я привыкла... с тобой.

— Но мы ведь ни разу...

— Ну да, ну да, но прошло столько лет, и часто думала о тебе, и ты теперь всегда так со мной, как я придумала...

Любовник, вступающий в свои права.

— И дети мои — от тебя.

Я испугался. Она раздевалась. Не глядя, улыбаясь скорее смущенно, вернее, скрывая улыбкой смущение. Немедленно будь моей: правда, странная необходимость. Мне нужно.

— На тебя смотреть.

— Осмотреть?!

Ей посылалось *besichtigen*.

— Давай не двигаясь посидим, пока не привыкнем?

Или начнет проходить?

И эта отметина: нет, не такая же, в Эперне другая, мне померещилось. В день роковой телеграммы сестры из Венеции — «не ждите целую мои извиненья Петроу» — Бригитта пришла меня утешать. Мы были в квартире одни, и ночь я провел в невозможности спать или действовать.

— Я всегда знала, что это случится.

Тревожно. Почему так связалось со мною? И наука ведь говорит, и доказано, что любовь это бабочка, севшая случайно на один из многих цветов, он оказался по фамилии Петроу, и только. Когда я умирал от любви к сестре Бригитты, я ведь не умер в конце концов. Кто-то там якобы умер в Берлине. Бригитта же не умирала, а просто ждала. И вышла в ожидании за муж, детей родила. И вдруг все случилось. Мне хотелось задать ей вопросы, но с другой стороны — нет, не мучить.

— А сестра твоя... что с ней?

— Ты хочешь действительно знать — от меня? Вот адрес, *сайт*, телефон.

— Не волнуйся. А между прочим, помнишь — если б не твое напоминая о ней...

— Ну, почему я тогда о ней вспомнила! От волнения, когда ты меня обнял, и все.

Мы были в квартире одни, и ночь я провел в невозможности спать или действовать. Мысль пойти в соседнюю комнату к Бригитте мне не пришла. Она юная, милая, у нее своя жизнь. Будет и есть. Утром я стукнул в ее дверь, собираясь позавтракать и ехать в Париж. Дверь тотчас открылась. Бригитта была ослепительна: короткая ночная рубашка, и более ничего. И кротко смотрела. Сказать: «Извини»? Я ее обнял: мое мужское ею пленилось. И потянул ее за руку на пол, и горячие ляжки, чудные скользкие бедра. Она дышала и вздрагивала. И волшебный черный треугольник. Происхождение мира. И маленькие твердые груди.

— А как же она... — вдруг выдохнула Бригитта. — Она не знает, ее нужно спросить...

В самом деле. Она не могла покуситься на владение сестры, на меня. Несмотря на телеграмму, на этого типа, который вешался где-то в Берлине, или другого постарше, которого выгнала жена, найдя черновики его писем к ней. (Спустя год он выкупил оригиналы, а потом выкупал и их копии, а потом еще копии копий). Во мне загорелась надежда на ее возвращение. Время немалое — два года — она была влюблена, и мы плыли на облаке вечного счастья. Гений женственности. Он шедевры

творил из почти ничего: из меня, ее самой, университетских подруг и приятелей, из ерунды переездов.

— «Нужно спросить...» Если б ты знал, сколько пощечин я себе потом надавала!

Не гуманнее ли ее сейчас отпустить. Пусть уцелеет мечта и иллюзия, в жизни сей это что-то. Не отпустить надобно, а прогнать. Какой мужчина на это способен в третьем тысячелетии. Ах, нет, ожидание двух десятилетий шло к своей цели: поднявшиеся соски, и ожившие мускулы животы, и набухшие губы, и полные истомой глаза, потерявшие всякую осмысленность, и пар из алого открывшегося рта. И почувствовав меня, она вскрикнула и словно забылась, прислушиваясь к происходящему в ней. Наслаждение мной увеличивалось, меня это тронуло. Пригодился. Бригитта уперлась мне в грудь руками, и изо всех сил, словно стремясь оторваться и оттолкнуть. И застонала, гримаса страдания исказила ее черты и лицо. Она охватила меня за шею и притягивала к себе.

В наступившей тишине куранты базилики пробили четыре. Куда ушло это время.

После взрыва.

Сонливость.

Бригитта не отпускала меня. Ошеломленные этой накопленной... этим неизрасходованным...

— Я спросила по телефону — я уехала — ты знаешь — в Берлин — можно ли тебе написать. Она удивилась: «Зачем тебе он? Он сумасшедший. У тебя же есть, как его, ну... А впрочем — пиши, если хочешь. Дашь прочитать?»

— Спустя год она мне написала сама — ты знаешь?

— Вот как! О чем же?

— Напомнила о моем предложении. О том, что согласна.

Бригитта приподнялась, опираясь на руку щекой. Глаза ее влажно поблескивали.

— Ни разу, ни словом! Только спрашивала, не ответил ли ты на мое письмо из Берлина!

Вдруг я увидел ее совсем юной, я голову обнял и искал ее рта. Едва мы не задохнулись. Съесть друг друга. Спрятаться

один в другого: кто первый спрячется, тот и останется жив. Оставшийся сверху принимает удары.

В черных волосах вспыхнули серебряные прядки. Мне стало жалко ее по-отцовски. Безумно, по-матерински: забывая, что ужасы жизни достались и мне, как и всем, и обильно; странности судеб, ловушки, отсрочки.

— Не обвиняй ее слишком: были другие причины.

— Ну вот, ты ее любишь по-прежнему: ты находишь ей извинения.

— А ты разве нет?

Бригитта как-то ослабла. И нашествия не было. Она произнесла, будто извиняясь:

— Есть люди, которых любят все. И это не легче, чем быть нелюбимой.

Правда. Представьте себе море лести, подобострастия, похоти. Как тут обнаружить неложное?

— Так и она вообразила, что ты ее не любил. Я слышала, как она жаловалась Астрид по телефону: «Я для него секс-машина».

Меня ударила обида. Такое сказать! После всех посвящений! А скетчи? А ее собственный, мучительный для меня, называвшийся *Hure*? И снимки похуже иных провокаций? И мои трудные заработки?

Холодок со стороны Бригитты меня предупредил об опасности. Ее восхищение сестрой сменилось — а как же выжить иначе — враждою. Может быть, ненавистью. Она ведь думала, что, меня потеряв, она потеряла все. Счастье. Неопределимое счастье. И что нас там ждет. Она задаст сейчас мне вопрос роковой — для себя. Она приближается к ловушке судьбы. Как я отчетливо вижу! Как душа ее готовится свободу страдания и одиночества!

— Была когда-нибудь женщина, которая сделала тебя счастливым?

Ну вот, осталось ответить. Да. Кто? Твоя сестра (то есть: *нет*). Спрячь нож правды и скажи ложь.

— Да.

— Кто?

— Только что. Ты.

Боже мой. Ни одна женщина меня так не целовала. И слезы капали вместе со смехом. Мой смех и слезы к ним примешались. Вероятно, и мне пора исцелиться от безумного прошлого. Но как?

— Твои дети...

— А твои?

Бригитта соглашалась меняться. А твой муж... нет, деликатнее: их отец.

— И их отец — ой!

Она меня ущипнула. В ней просыпалась спортсменка наших пробежек по берегу Рейна.

— Тебя любят молоденькие?

— Да что ты, куда там! Поговорим о любви ко мне — зачем тебе это болото?

— Андреас мне говорил.

— А кто он?

— Он видел тебя в Париже, он был журналист. Он говорил, что вы разговаривали однажды, и с тобою была...

— Думаю, тут все проще: со мною не предвидится будущего. Почти как отец или дядя. В ожидании достойного, интересного, со мною отдых и опыт, ты понимаешь? Заранее ясно: не навсегда, ненадолго, а он научит, а на улице холодно...

— Это цинизм. Так говорить.

Довольно, брат, рассуждений. Теперь ожидается месть за прошедшие годы. Когда я был, но не мог. И никто не знал ничего. И все было кончено. И, кроме того, написал я письмо их матери.

— И маме ты написал.

В гостинице не было ресторана, а стемнело тем временем.

— Быть может, пора нам поужинать где-нибудь.

— Сегодня? Хочется остаться вот так. И не видеть людей.

Она ластилась. Ой. Я хотел сказать — Бригитта. Местоимение меня испугало. Его отчужденность. И эти скрытые цитаты из Гете. Из Манна — не спорю, небесного Манна, но чересчур многоводного. Все пишет и пишет. И все никак в Венеции не ухнет.

— Я все привезла. Целый пикник в машине. Ты спустишься? Вот ключ.

На углу улицы старик шарил палкой в мусорном прозрачном мешке, подвешенном на кронштейне. Прозрачность мешков нас защищает от террористов. Старика я видел утром у ограды музея, но тогда неловко было упомянуть, — как если б аромат и музыку встречи могла испортить ненужная нота упадка. А теперь я готов был на ней настаивать, словно она-то и есть главная, обязательная. Друзья мои, смерть.

Я стянул одеяло с Бригитты. От неожиданности она сдвинула бедра и прикрыла грудь руками, но потом улыбнулась смущенно запоздавшей стеснительности. И открылась. О, современное женское тело! И в почти тридцать девять ему далеко до ужасов Рубенса. А то написали б близорукие профессора и о нем. Телопоклонник. Словно вернувшийся из смертельной экспедиции в Сахару путешественник, словно выпущенный из тюрьмы (в этом знаю я толк), словно проснувшийся в 1922 году озаренный догадкой физик, — ну, что еще. Тысячи лет искавшаяся половина была передо мною. И обещала: если найти, изменить настройку неведомого приемника, нас, то донесется до всех небесная музыка, бессмертная истина, горя больше не будет, все найдут свое место, предназначенное от сотворения мира.

— Слушай, я подумала об Адаме, смотрящем на Еву, — Бригитта смеялась. Она протянула руку и сжала меня, словно здоровалась с кем-то, каким-то великим, коего я был всего лишь посол. Отгадка, стало быть, здесь?

— Ах, как хорошо, ах, ах. АХ.

Сумерки служили нам покровом, заснувшим. Потом я спустился и вынул из яйцевидного автомобиля корзину. И правда, все было для пикника. Мы включили какую-то музыку. Мягкие струнные королевского праздника. Сладостный фон. Плод манго. Огромный, с того самого дерева, под которым: «А, ты ревнуешь?» Эти уловки современного образования. И намеки. Бригитта, розовея, улыбалась.

— Конечно, мой возраст, — подтрунивал я. — Подстегнуть кавалера с помощью манго. *Aphrodisisch*.

— Вернее, желание. Да тебе и не нужно.

Ах, и вино. Чудное, мозельское *Der Alter Mühlstein*, мы всегда пили его.

— Бригитта, нам подарена отсрочка от чего-нибудь неприятного, я не знаю.

— Встреча.

— Как я быстро привык к тебе, даже странно.

— Вот хлеб. Помнишь, ты любил его? А в Марбурге — помнишь — когда я приехала к вам — и мы были — и вы —

Боже мой, Марбург.

— Поедем завтра туда?

— Если хочешь. Но сначала мне надо вернуться. Мои девочки. Мы договорились. Не думай — я им сказала. Они тебя знают. По фотографии. Младшая — вылитая ты. Ты видел в машине? Правда?

От кончиков пальцев ног до кончиков волос я тебя исцелю.

— Ты сумасшедший. Постой.

Если я еще существую, больше того, живу, то твоею любовью, не зная. Поверь мне — ты не предлог, не повод, не ступенька к ней. Этот чудный прекрасный немислимо свежий и чистый наполненный светом и тьмой забвения отдыха брат мой волшебный лобок — преисполнен значения. Мощи.

— Но ты видишь ее иногда?

— Опять все то же! И через сто лет ты спросишь о ней!

— Прости. Ну, что тебе стоит? Одно слово: жива?

— Ну, так невозможно. Вот телефон, интернет, позвони, напиши, тебе скажут.

Ее ноздри раздувались во гневе. Или в сильном чувстве, так тоже бывает.

Я сжал ее руки любовно, притягивая к себе.

— Послушай, если уж все мы попали в эту историю...

Она поспешно освободилась:

— В какую?

— Ну, жить на этой земле, ты понимаешь.

Она сделалась вялой:

— Окей, философия.

- Спи. Дорогая.
- Что?
- Ничего. Я тебя очень.
- Ach, so.

У нас еще утро. Но уже не безумное, нет.

А потом и завтрак континентальный в постели. С намазыванием хрустящих хлебцев. С вареньем, упавшим на простынь Бригитты. И синие жилки, к счастью, на тыльной стороне руки, и мне жалко ее, и опять все выравнивается, и опять, и опять. Я люблю видеть наслаждение женщины.

- Постой: мои девочки. Так ты едешь к нам?
- Дело в том, что в Париже...
- У нас есть телефон, интернет. Какая тебе разница.
- Важная встреча.

Бригитта пожимала плечами, и правильно делала.

— Мне нужно осмыслить происшедшее. Я очень взволнован.

Вот это правдивее.

— Постой-ка: еще есть чашка горячего чаю.

И она выпита.

— Можно — я одену тебя?

— Уф, чепуха!

Но мгновенно сдалась. И даже стала серьезной.

— Я должна сказать тебе одну вещь. Конечно, я должна была предупредить тебя сразу. Но не было повода, ты понимаешь? А потом я об этом не думала. Ну — ты готов? Выслушать, я имею в виду?

Ну, что еще может быть?

— Я не принимала пилюли. Нарочно.

Всемогущий, если есть еще живое во мне, дай его твоей Еве!

— Мало ли что. Ты понимаешь.

Мы долго прощались.

— Ты скоро приедешь? К тебе можно в Париж?

И наконец протокол расставания:

— Я тебя провожу километров двадцать, окей? А потом развернусь. Тогда ты уехал на поезде, помнишь? А теперь я. Договорились? А потом ты приедешь.

Оранжевый Фольксваген следует смиренно за скромным Пежо. Иногда, впрочем, Бригитте забавно меня обогнать и эскортировать, пока не начинает сигнализировать кто-нибудь сзади. И вдруг на уровне Эперне Бригитта меня обогнала, высунулась из окошка и крикнула:

— До скорого! Жду!

Оранжевый автомобиль рванулся и вдруг резко ушел вправо, на съезд с магистрали, и секунды спустя я увидел его над собой, на мосту над дорогой, с зажженными фарами и мигалками, гудящим отчаянно. И фигурку Бригитты, машущую рукой.

В тишине души и рассудка я доехал до столицы. И въехал, и затем повезло найти место на улице в пяти минутах ходьбы. Так недавно я уехал отсюда, так много, однако, прошло времени. Что теперь делать? Я рассматривал листок с телефоном. Почерк женственно круглый. И вдруг подозрение коснулось меня и овладело, превращаясь в догадку, леденящую сердце. Я побежал к себе, задыхаясь, наверх. В сумке с древностями есть записная книжка тех лет, адресов, телефонов. Умерших, живших. Вот нужная буква. Отчего же я так всегда непонятлив! Ну конечно. Бригитта оставила мне координаты родителей. Им объяснять мне, что стало с ее сестрой. Если я еще не понимаю.

В коридоре движение воздуха, и тем более возле лестницы. Опираясь на перила, я смотрю вниз, и вижу запыхавшегося человека, поднимающегося. Я смотрю на его лицо и не могу сообразить, кто он, настолько его черты расплылись в спокойный белый овал.

Париж

ОБЕД НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Свет настольной лампы.

Несколько книг.

Пишущая машинка. Лист белой бумаги.

Неподвижно сидит человек, положив руки перед собой.

Лицо человека в тени.

Тишина.

Звуки одиночества: вода капает из крана. Лампочка висит над подъездом, ее видно в окно, если осторожно приоткрыть штору. Далекое дребезжанье железного плоского абажура под порывами ветра.

Тиканье настенных часов. С годами оно все громче.

Человек пошевелился. Он глубоко вздохнул, возвращаясь к реальности от захвативших воспоминаний. Он придвинул к себе машинку. Он бьет по клавишам.

На листе появляются буквы:

ОБЕД НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Он остановился. Подумав, добавляет:

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

*

Поезд медленно входит под крышу вокзала.

Нетерпеливые стоят на ступеньках вагонов. Не дожидаясь остановки, некоторые спрыгнули на платформу и идут рядом с вагоном.

Густеет толпа. Однообразные темные пальто пассажиров. Молодые одеты немного иначе: вот юноша в куртке, ему лет двадцать шесть. Он не спешит.

Он сходит последним.

Быстро перейдя платформу, он исчезает в пригородной электричке, стоящей на соседнем пути. Перепрыгивает в другую, стоящую бок о бок. И тогда только, выйдя на платформу, идет к выходу, прижимаясь к поезду. Он напряжен.

Выглядывая из-за головы поезда, он перебирает взглядом стоящих людей, встречающих и ждущих. Вот среднего роста, но плотный мужчина, в темном пальто и меховой шапке: нет, не этот... Другой: средних лет, с белым шарфиком на шее... белым шарфиком?.. Но человек, издав радостное восклицание, шагает навстречу женщине с ребенком. Их обнимает. Поцелуй и смех. Нет, не он. Не они. И вдруг его взгляд застревает на человеке с газетой в руках. Даже раньше, чем он что-то подумал, он слышит — слышит внутри себя «аккорд опасности», как он его называет. Такой звук производит музыкант ударом метелки по медной тарелке, что-то похожее на: жхажж!

Человек с газетой ее не читает. Он скользит взглядом по лицам идущей толпы пассажиров. Деланно равнодушным взглядом, готовый в любой момент отвернуться и углубиться в захватывающую статью. Газеты «Правда», разумеется.

Приезжий прячется за электричку.

Он поспешно поднялся в вагон и смотрит сквозь стекла окон. Вон еще один, похожий на первого, тоже с газетой: довольно рослый мужчина. Темное пальто и кашне. Шапка-ушанка.

Диктор объявляет об отправлении поезда.

Это его электричка. Какая удача! Полупустая, она трогается с места и увозит Приезжего. Можно вздохнуть облегченно.

Платформа пуста. Теперь хорошо видны люди с газетами. Первый, второй, обнаружился третий. Они складывают газеты и идут к выходу, чуть-чуть маршируя.

Ветер шевелит страницы газеты.

Можно прочесть крупно проступившую дату:

1971

А на здании вокзала — название города:

РИГА

Три одинаковых человека одновременно садятся в черный автомобиль «Волга». Кроме водителя, в ней сидит еще пятый, одетый почти так же. Но есть особенность; его кашне — белого цвета. Это начальник.

Неподвижные профили сидящих в машине.

Начинающаяся метель. Коснувшись тротуара, снег тает. Декабрь вблизи Балтийского моря.

— Не приехал.

Сказал кто-то из них.

Они думали, вероятно, что он, беззаботно насвистывая, будет идти мимо них с толстым портфелем.

Приезжий сошел с электрички на первой же остановке, еще в черте города. И бежит к трамваю, идущему обратно.

Снег.

Несмотря на суровость эпохи, в столице Латвии попадаются комичные контрапункты. Памятник Ленину, например, стоит, протянув руку на восток, как везде, словно приглашая солнце взойти над землей. А Мида — олицетворение Латвии — стоит к нему спиной, хотя она и с тремя пятиконечными — нужно заметить — звездами. Она смотрит на Запад.

Приезжему весело.

Пройдя старый город, он оказался в толпе центрального рынка. Здесь слышна речь, которой он, увы, не владеет, несмотря на старания: латышский язык почему-то ему не дается. Вот если б он тут жил...

Он похож на прибалта, и столько раз он видел, как исчезала улыбка с лица обратившегося к нему по-латышски, сменялась миной недоумения и даже враждебности, — в ответ на его потуги заговорить на местном наречии.

Теперь ему хотелось купить на рынке маленьких копченых рыбок — в память о приездах на Возморе вместе с матерью. И

особенно о том поспешном отъезде из Москвы — похожем на бегство, — когда приехал Бог знает откуда отец и искал с ними встречи. Мама опасалась, что — с ним. И что его увезет.

Ему девять лет?.. Десять?

Отца ему очень хотелось увидеть, но он чувствовал тревогу мамы, и ее было жалко. В поезде он сидел отвернувшись к окну и тихонько плакал, не находя разрешенья противоречию. И еще эти грустные огоньки маленьких станций... если смотреть на них через слезы, то они начинают испускать лучики.

Вкусные рыбки, которые мама купила на рынке, смягчили его грусть.

Он почувствовал облегчение и, теперь. Прикоснувшись к детству, он обрел беззаботность.

И снова уверен в себе. И во всем. Тем более, удачно от них ускользнув.

Он шел мимо домов, нет — мимо воспоминаний, едва отзывавшихся, полустершихся, смазавшихся, подобно лицам бегущих на фотографии.

И другой поезд шел в этот день: вдоль финской границы через Карелию.

Через край лесов и озер. И грандиозных болот.

Зимой пейзаж становится белым и беспредельным. Тишина — зримой.

Пассажиров немного. Вот в этом купе сидит крепкая пожилая женщина с мешками. И сумкой, наполненной до отказа, скорее всего, съестными продуктами. Она полудремлет.

За столиком у окна сидит молодая женщина лет двадцати трех. Перед ней лежит раскрытая книга.

Старомодный поезд местной линии.

Интересно идти по длинному коридору, поражаясь разнообразию лиц. А тут вдруг замереть и услышать, как стукнуло сердце: тонкий профиль на фоне чистой белизны... она оперлась локтями на столик, положив кисти рук на плечи. Она смотрит перед собой: вот образ ее задумавшейся. Драгоценный.

Книга, видимо, к тому располагает. Мы осторожно приблизимся и, приподнявшись на цыпочки, прочтем из-за ее спины: «Византия и византийцы».

В начале главы помещена миниатюра из древней летописи. От этого рисунка немного щемит сердце: он возрождает в памяти все — день, время года и место, пахнущую медом и травами веранду, свежесть — почти холод — поздней осени Подмосковья.

В куче книг — толстый том, переплетенный в холстину, такого прежде не видел, весь в пыли, в паутине. Наудачу открыл, и вот:

Греки-византийцы плывут в лодке, их так много, что невозможно пошевелиться. На корме расположена труба, похожая на рог изобилия, из нее вырываются языки пламени и лижут другие лодки, кораблики врагов. Знаменитый «греческий огонь», секрет которого утрачен. Ну, не беда.

А рядом другой рисунок: ступа на цоколе (когда буду старше — узнаю, что это купель). В ступе сидит скрытая до плеч обнаженная женщина, вокруг нее старцы в одеждах, сплошь покрытых крестами, и мужчина в короне. Это бабку князя Владимира Ольгу крестят в Константинополе.

Что за причины столь юным читать о таких древних событиях?

Темно-зеленый с малахитовым блеском свитер — на читательнице, едущей из Ленинграда в балтийские страны. Шарф с голубою каемкой укрывает ее шею.

На фоне окна: заполненное белизной, оно кажется выпуклым.

Колеса стучат на стыках. (Такой ностальгический — подобно запаху сена — звук, в Европе исчезнувший.)

Домашнее сопенье крестьянки-попутчицы.

Так и ехать, не слишком пристально смотря на Неизвестную, чтобы ее не тревожить. Нам достаточно ее присутствия.

Можно смотреть на картину и любоваться, не так ли? А тут живой человек в цветении юности и душевных даров.

Среди них есть удивительно редкий: дар внимания. К событию, собеседнику, мысли. Оно не упустит ни единой детали.

Высшая степень внимательности есть любовь.

Поезд тормозит.

Соседка по купе проснулась и протирает стекло, выглядывая и стараясь сообразить, где они едут.

Все громче собачий лай. Вдоль поезда тянется цепь автоматчиков.

— Что это?

— Станция Сортавала, — ответила попутчица. — Пограничная зона. До границы тут рукою подать, всего пятьдесят километров.

— Так далеко!

— Кому далеко, а кто решился — тому близко. Тут все станции под охраной.

— И нельзя сойти с поезда?

— Можно, почему нельзя. Если есть разрешение в паспорте.

— И зачем это? Финляндия выдает беглецов.

— Там они не задерживаются. Они дальше бегут, в Швецию.

— Бегут?

— Одевают тренировочный костюм и бегут! Там — Запад, там бегают все, чтобы похудеть. Вот и наши бегут, а финны думают, что это свои.

— А иностранцы что скажут? Насчет собак?

— Им тут ездить запрещено, — сказала колхозница. И осеклась: из коридора донесся топот множества ног, обутых в сапоги. Солдаты. И молодой офицер. Он взглянул на пассажирок, словно фотографируя: сузились веки, а потом до предела раскрылись, и глаза вылезли из орбит.

Мимо окна плывет лающая пасть овчарки, полная отличных зубов, плывут мимо ее глаза, горящие ненавистью. Ее держит на поводке солдат в бараньей шубе до пят.

— Привычки русской истории... — задумчиво произнесла Неизвестная.

— А? Что ты? — отозвалась засыпающая крестьянка.

Поезд идет по беспредельной белой равнине.

Красное зимнее солнце — на него можно смотреть — висит низко над горизонтом.

Она переворачивает страницу книги. Тут лежит листок бумаги, исписанный затейливым почерком, словно кто-то упражнялся в каллиграфии. Но ей читать легко. И не в первый раз она перечитывает эти строчки.

«Я буду ждать тебя на берегу, там, где станция Дзинтари. В полдень. Этих мест ты не знаешь, а название запомнить легко: Дзинтари по-латышски янтарь...»

Он будет ждать ее завтра.

И что-то еще в письме... «Ответить ты мне уже не успеешь. Поэтому — приезжай. Пожалуйста. От этой встречи зависит течение наших жизней...»

Он должен найти дом, где его примут. Где его ждут. Он сможет остаться там, пока не пройдет время и не сгладит остроту положения. Так раньше бывало.

Вот он. Пятиэтажный, из бетонных панелей, без лифта.

Дорожка перед подъездом.

Нигде никого. И ни одной машины.

Снег.

Ну, вот третий этаж, уф. (А тогда дыхание не менялось. Теперь возраст иной. И все по-иному.)

На площадку выходят две двери.

Несомненно, вот эта, ближайшая к окну, как ему было сказано.

Он нажимает на кнопку звонка.

Не работает.

Он осторожно стучит. В тишине подъезда стук кажется слишком громким.

Никого. Еще рано. Не вернулся с работы.

Еще... не вернулся... домой.

Он пишет записку и, сложив квадратиком, старается протолкнуть ее между дверью и косяком. Когда хозяин откроет дверь, бумажка упадет на пол внутри квартиры.

Он слышит скрип позади. Рука его замирает. Он стоит, опустив голову, и боковым зрением видит, что дверь соседней квартиры приоткрылась. В темноте прихожей белеет пятно лица человека. Рука делает ему знак.

Рука энергично машет: иди скорее сюда! Не медли!

Он поворачивается не спеша: лицо, несомненно, женское.

Женское лицо. Ей лет сорок пять.

Тревоги или опасения — нет, он не чувствует. Это не ловушка, это дружеский жест.

Он быстро пересекает площадку и входит в прихожую. В чужую бедность 70-х годов: мешок с картошкой, мешок с капустой, резиновые сапоги, пальто. Черная телогрейка.

Женщина говорит шелестящим шепотом:

— Там больше никто не живет. Туда приходили.

Он жаждет определенности:

— Кто приходил?

— Ну... нехорошие люди... Они.

Мгновения тишины. Привыкание к новости. Несомненно, достоверной, он верит женщине, хотя видит ее впервые.

— А теперь, пожалуйста, идите, — шепчет она не слишком категорично, но открывая тем не менее дверь. И говорит ему в спину:

— Храни вас Господь.

Ему делалось все более одиноко. После минутного облегчения — и здесь обошлось, и тут не попался, — он снова был в городе, где не слишком многие его знали. Тем более, к кому он мог бы запросто прийти, ввалиться без предупреждения.

Он рассчитывал выйти на побережье, минуя вокзал, по мосту через Даугаву, в начинающихся сумерках, под липнувшими к одежде хлопьями снега.

Огромное пространство воды здесь сливается с темным небом, так, что мост кажется не слишком надежной дощечкой. Вдали угадывалось море.

Светящийся вагончик трамвая, сыплющий искры, быстро прошедший мимо.

Столько воды! Почти километр.

На исходе моста, внизу возле изгороди парка он заметил телефонную будку. Из неё — как ни странно — на него дохнуло теплом дружбы. Он набирал номер, надеясь. Набрал. Гудок. Второй. Тре... — на половине третьего он нажал на рычаг. И снова набрал номер: первый гудок. Второй. Тре... — и снова повесил. А в третий раз дал аппарату звонить вволю. Стало ясно, что никто не ответит. Не подойдет.

И не может?

И здесь — никого и нельзя? Условный звонок означал: «Это я. Можно ли прийти?» Неизвестно.

Дачная местность Рижского взморья.

Сосны. Падает снег. Кажется, что тепло, потому что хлопья — пушистые, мягкие. О, блаженство!..

Скоро Новый год.

До него доносится шум внутренней жизни дома: голоса играющих детей, победоносные интонации телевизора.

Приезжий осторожно стучит. Звуки стали громче, потому что открылась дверь жилой — теплой — части дома. Гулкие шаги по веранде.

Приезжий видит лицо в протертом овале стекла. Женское лицо. Глаза смотрят на него несколько секунд. Женщина прижимает палец к губам: тсс!

Исчезает.

Детский смех и крики играющих отрезаны захлопнутой дверью.

Он стоит под падающим бесшумно снегом. Он наслаждается: погодой, предвкушением уюта и дружеской встречи. Снова шаги. Теперь в овале мужское лицо. И серьезное.

Дверь открывается. Хозяин прикладывает палец к губам: тсс! Радостно улыбнувшись, жмет Приезжему руку. Ведет его по коридору молча, выразительно приставляя ладони лодочкой к ушам и показывая на потолок: нас слушают!

Популярный жест 70-х годов.

Хозяин открывает кран: с шумом льется вода, с клеточкой исчезает в трубе раковины. Включает радиоточку, и кухня наполняется громом рояля.

Дикторша объявляет следующий номер музыкальной программы «Зимний вечер». Она говорит твердым тоном человека, которому все известно. И уж тем более об этом Шопене, которого, кстати, исполнит пианист Наседкин, кому же еще?

Бытовой шум. Он заглушает шаги, стук двери, дыханье.

Хозяин вводит Приезжего в свой кабинет, где, бывает, ночуют гости.

Тут беспорядок: книги сняты с полок, лежат на постели, стоят стопками на полу. Перевернут матрас. Все вещи потревожены, сдвинуты с мест. Впрочем, нет следов вандализма.

Приезжий делает знак рукой, означающий, по-видимому, вопрос: «когда?»

Хозяин пишет: *позавчера*. И добавляет: *ничего не нашли так мелочи*. Обыск.

Для письма Хозяин пользуется планшеткой: заграничная штука, отличная! Пишем на целлулоиде, а если вытянуть подложенную под него картонку, то написанное исчезает. Очень удобно, не так, как бумага: ту надо жечь и топить.

Потом эти заграничные штуки начнут на обысках отбирать.

Мудрость римлян теперь упряднилась: исчезает написанное, а сказанное подшивается в дело.

Позади дома — участок с деревьями, огородик, занесенный снегом. Тропинка ведет к домику. Тут пахнет воском и деревом. Стружки шуршат под ногами. На стеллажах стоят пустые пчелиные ульи. Мастерская.

— Здесь разговаривать можно, — шепчет он. — Я проверял. Ну, здравствуй, я рад тебя видеть!

Хозяин старше Приезжего. Они знают друг друга несколько лет — особых лет пережитых опасностей. Такие годы длиннее. Вкус этой дружбы иной.

— Когда ты приехал?

— Сегодня.

- Они тебя ждали?
- Да.
- Видели?
- Нет.
- Может быть, все-таки видели?
- Не думаю: я проверялся. Да они меня взяли бы.
- Ну, ладно. Ты останешься у нас?
- Было бы кстати.
- Но лучше, если ты уйдешь очень рано.
- Естественно.
- Ты уйдешь через соседний участок — видишь калитку?

Там зимой никто не живет.

Приезжий пишет: *мне хочется где-нибудь отсидеться. Месяца три-четыре*

Хозяин задумался.

Молчание.

Только шлепки хлопьев снега: мягкие, успокаивающие.

— Помнишь — мы пробовали однажды... сколько тогда он продержался?.. Ты его знал? И это было в эпоху изобилия: надежд, связей! А теперь — нищета.

— А вообще — на твой взгляд — есть перспектива?

— На успех? На перемены? Не знаю. Может быть, нет. Мы первые сознательно воспротивились. Это очень важно: возник фронт! Кончилась каша. Ты понимаешь, что у нас — то и у всех. Если мы держимся — вокруг держатся тысячи, ты понимаешь? Это и есть исторический процесс! Я так думаю, но точно не знаю. А ты что думаешь? Ты — по-другому?

— Я хотел бы выйти из игры. Хотел бы уйти.

— Вообще?

Приезжий пишет: *за границу.*

— Ах, ну сам знаешь: это очень трудно. Может кончиться кладбищем. Лагерем. Во-вторых... Да и в-третьих: там живут по-другому, а тебе уже скоро тридцать... Но — как знаешь, в конце концов, жизнь — твоя, и там тоже интересно!

— Мне давно хотелось поговорить с тобой: накопилось! И вот говорим: но готовое не приходит на память. Так странно.

Они молчат.

— Они спрашивали о тебе, — говорит хозяин.

— Ну, и?..

— Вскользь, ожидая реакции. Я промолчал, а они не настаивали.

— Они не способны меняться. То, что не способно меняться, разваливается. Это аксиома.

— Все-таки они меняются, вот в чем дело. Все годы — разные: двадцатые, тридцатые, потом война. Пятидесятые, шестидесятые. Все разное: и название их банды меняется. Другое дело, что наша жизнь короче, чем у этих колес.

— Мы нежнее!

— В конце концов, мы терпим сейчас поражение. Но выбитый камень в стене — это кое-что. Это залог.

— Мы побеждены, — с улыбкой говорит Приезжий, желая внести немного шутовщины и уменьшить тяжеловесность темы.

— Мы разбиты, но наш кругозор стал значительно шире.

— Нужно тебя накормить. Идем.

Они ужинают в комнате среди беспорядка. В молчании, объясняясь жестами. При тщательно завешанных окнах.

За стеной — гул телевизора, смех детей.

Дружелюбие мига: тепло дома, доброта человеческой встречи, улыбки, шутовские жесты, призывающие молчать: ах, едва не сказал!

Хозяин пишет: *еще котлетку?*

спасибо: сът

Чаю?

спасибо: да

Хозяин убирает со стола, а Приезжий там временем открывает книгу, взятую наугад: он любит попасть на неожиданную мысль или образ, это освежает. Ну-ка... «Молчи, скрывайся и таи / И мысли, и мечты свои»... Гм.

Они снова выходят в сад.

Падает снег. Хозяин держит зонтик.

— Ах, как хорошо! — шепчет Приезжий. — Блаженство!

Темный декабрьский вечер. Впрочем, не слишком: снег покрыл землю, видно всё: очертанья дома, сосны, дощечки забора.

Остаться здесь. Медлить уйти с того места, где почувствовал безопасность, — на этом кусочке планеты. Оказывается, такой маленькой, тесной! Скорей бы уж ученые открыли другие, куда можно было бы улететь.

Быть здесь и ждать, пока дыхание гибели не уйдет далеко.

Они сидят в домике, где пахнет сосновым деревом, сеном и воском.

— Их слабое место в том, что они не понимают наших мотивов. Между нами какая-то пропасть.

— Ну, какая же?

— Я ищущ слово... я ее чувствую: они думают о нас как о претендентах... как о соперниках. Они думают, что мы стремимся к власти — так, как они.

— Дорогой друг, это проблема цивилизации. Ведь, в сущности, цивилизация — это почти неизменный набор готовых реакций, который нам присваивает воспитание! Образование! Независимо от личных склонностей, вернее, почти независимо! Личные склонности связаны, смазаны... связаны... гм.

Они любили разговаривать друг с другом. И случилось, что сказанное одним не было чересчур далеко от мыслей другого. Тогда Приежжему казалось, что еще чуть-чуть — и они смогут увидеть дальше, словно взойдя на этаж.

— Ну, как им объяснить, что безопасная перемена возможна? «Дело не в вашей власти, — вот как я говорил бы им, если б они слушали, — власть останется вам. Дело в нашей жизни внизу: ей нужно стать мягче».

— Их психология иная: у них чувство риска и хрупкости. Они вцепились в штурвал. Но есть еще фактор, он действует, но едва ли заметен, и уж тем более не поддается расчету.

— Ты имеешь в виду...

— Назовем его фактором неизвестным, или мистическим.

— Ну, если мистическим, то не совсем неизвестным. «Мистический!» Это значит: сказать кое-что!

— Сказать?

— Ну, намекнуть, вызвать чувство. Необыкновенное чувство происходящего где-то: готовящейся помощи, например. Нас очень мало, настолько, что нас изучают, а не убивают тотчас. Не думают ли они, что у них времени сколько угодно? Но ведь его у них почти не осталось!

— «Почти»? Лет сто? Двести?

— Они себе напроорочили в 61-м: «нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Если считать поколение в 20 лет, то срок истекает в 81-м... а если 30 — то в 91-м конец коммунизму.

Им стало весело: как просто! Невидимый фронт разрушения, сжимаясь в кольцо, приближается к центру. К месту взрыва. Об-раз текущего времени ныне: черепаха с бомбою на спине.

— Ну, вот проблема очерчена! И почти решена!

— Воображением.

— А если взглянуть основательней: с точки зрения нашей хрупкой жизни... как быть?

— Однажды я услышал нечаянно... — начал Хозяин немного смущенно, — в прошлом году, после ареста... ты помнишь, тогда меня отпустили... дома, ночью... проснувшись... Жена была где-то в комнате, я слышал, а увидел потом: она была на коленях. Шептала. Я не мог расслышать, что именно. И только когда я понял, что она — ты не будешь смеяться — что она... молилась! — только тогда расслышал: «...помилуй, помилуй нас... Ты всемогущий... помилуй его... и нас...»

Хозяин дома был заметно взволнован.

Приезжий и не думал смеяться: сколько времени у него са-мого — месяц, день, час? Все хрупко, и слишком — нет, ирония отошла, она оказалась, увы, бесполезной, дыханье опасности нас от нее исцеляет.

— Случается, что страх — позитивен. Например, он гасит желание, а оно бывает подчас неуместным.

Они помолчали.

— Или вот еще: страх — страхи меня наводили на мысль о возможности Высшей Защиты. Высшего вообще: того, что над нами. Ну, я тебе говорил.

Он нагнулся к Приезжему:

— Все наши надежды — и благодаря им наши действия — откуда они? С какой стати нам рисковать — если все кончается здесь? Откуда само стремление — если за ним никого нет? Ты понимаешь, что мы — довод в пользу существования Бога?

— Ты чувствуешь себя доводом? — нечаянно сказал Приезжий и сам испугался юмористичности фразы.

— А ты? Ты — аргумент. Ты — внутри аргумента.

— Я чувствую, что ты сильно надеешься. Твоя надежда — словно таран, пробивающий стену. Ну, так пробей! Мы выйдем — и увидим! Вздохнем!

— Я надеюсь чрезвычайно... В прошлом году, когда я едва не попался — на обыске — у... у... ну, ты помнишь Я пришел с чемоданом литературы... обстановка вокруг дома показалась мне странной, и я тотчас ушел. Они заметили и за мною пошли. Я подумал: ну, все! Сколько раз я старался себе представить: как это будет? Ах, вот как: так просто, так глупо. Во мне были страх и печаль. Я вошел тогда в церковь... святого Николая, на улице Вене... Ты знаешь?.. В Таллинне.

Почему-то я вошел тогда в церковь. Словно хотел спрятаться там, призывали любить...

Я сидел на скамье в совершенно пустой церкви.

В боковой галерее сидела женщина перед свечками, одна, на стуле, перед горящими свечками.

Они вошли. Четверо, вся бригада. Я сидел и надеялся — всей душой и всем телом.

Они прошли по проходу до середины. Постояли, повернулись. И пошли обратно мимо меня, и все четверо смотрели в другую сторону!

И ушли. Я не двигался час. И затем вышел, проверил, — нигде никого. И уехал благополучно.

— И как объяснить этот случай?

— Объяснить! Жена говорит, что это действовал Бог.

— Или, может быть, твой страх и надежда были настолько интенсивны, что ты отвел их взгляд, парализовал их внимание.

— Ну, знаешь... Скажи еще что-нибудь о телепатии.

— В самом деле: если Бог поразил слепотой агентов наружного наблюдения... то почему бы Ему не быть за твоей способностью к... к... телепатии?

— Логично. Но, однако... Например, Богу достаточно места за молнией. За громом. Но если сказать «электрический разряд», то Ему за разрядом тесно. Его почему-то там нет.

— Тут что-то есть.

— Бог выбирает выражения!

— Предпочтительно архаичные.

— Были времена, когда о Боге много и легко говорили. А теперь Он просто *есть*.

Они молчат.

Падающий снег все гуще. Нарастает чувство покоя. Защищенности: дороги все менее проходимы, все труднее проехать. Откладывается план нападения.

— Дети тебя не видели, — говорит хозяин. — Так лучше: им будет легче отвечать на вопросы, если придется.

— Да и твоя жена меня, пожалуй, не видела.

— Я верю в ее интуицию, в ней что-то птичье, когда нужно спасти гнездо и птенцов. Сегодня она спокойна. Кстати. Скажи мне, что было в конце концов в Киеве?

— Ну, только одну или две вещи. Ты сразу поймешь. В-первых...

Приезжий пишет на планшете. К сожалению, нельзя разглядеть, что именно, но мы видим сменяющиеся выражения лиц: серьезное, напряженное, почти страх, почти вздох облегчения. Короткий смешок.

Хозяин еще мгновение смотрит на написанное.

И затем медленно вытягивает картонку-прокладку. Строчки исчезают.

— Поразительно, — говорит Хозяин. — Они работают с нами по шпионскому классу! Но мы не готовы к такому.

— Я хочу спрятаться месяца на четыре. Пять, шесть. Пока не переменятся обстоятельства.

— Они будут искать.

— Они всегда ищут: вторая натура.

— Если не первая! Архетип!

Легкий шелест снежинок о ветви. Мягкий удар: снежный ком накопился на ветке, она согнулась и сбросила.

— Ну, хорошо. Ты готов исчезнуть завтра — то есть уже сегодня — затемно, не заходя никуда?

— Ах, нет: я должен позвонить. И еще у меня встреча — завтра, ее нельзя отменить. Человек едет.

— Ну, тогда бесполезно и затевать.

— Я имею право на личную жизнь, или нет?

— Имею? право? на личную? жизнь?! — Повторил Хозяин и рукою махнул: — Набор слов. Ну, поступай, как задумал. Может быть, ты в потоке удачи? Но я скажу, какой образ действий разумен. Не прикасаясь к телефону, ни с кем не встречаясь, ты затемно уйдешь по берегу. Около... *(пишет)* запомнил? выберешься на дорогу. И затем пешком или авто-стопом — там уже можно, но лучше пешком — доедешь до... *(пишет)* *Найдешь Питера, он работает в гараже.* Передашь от меня привет. Скажешь, что хотел бы пожить в одиночестве: ты писатель, и работаешь над книгой... о значении одиночества в жизни человечества. Ну, ему все равно. И дашь ему одну вещь... сейчас принесу.

Хозяин ушел в дом.

Приезжий сидит в темноте.

Окошко дома давно погасло, прекратились звуки его жизни: журчанье воды, сипенье в трубах, отдаленная речь телевизора.

Он почти задремывает: он не спал больше суток.

Но он молод. Спать ему скучно.

Хозяин возвращается. Он освещает фонариком принесенный предмет. Это маленькая книга, на обложке готические буквы названия: RIGA. Путеводитель по городу с иллюстрациями. Внизу год издания: 1940.

— Отдашь ему. Он поселит тебя где-нибудь, доставит продукты. Ну, он сам знает. Ну, идем, тебе надо немного поспать. Там, в кабинете, на раскладушке.

— Постой. Ты знаешь о Юрии?

— Он болен.

— Он умер.

Хозяин молчит, привыкая к известию.

— Так быстро? — говорит он задумчиво. — Весной заболел...

— И осенью умер: острый лейкоцитоз.

— Как странно! — произнес Хозяин. — Столько смертей за последнее время. А мы почему-то еще не...

— Мы отвезли тело в его город, Самару. Они нас проводили.

— Ну вот, засветились.

— Они знали о знакомствах. И потом... в этой смерти было что-то торжественное. Она стерла расчеты и страхи.

Кладбище на высоком берегу Волги. Его могила — рядом с памятником герою Гражданской войны. Герой стоит в сапогах — они все в сапогах — и смотрит вдаль. Через аллею — могила нашего героя нашей странной войны.

— Его смерть была для меня очень — богата: надеждами, ужасами, крупными, выпуклыми! Ты знал его мало? Он был молчалив. Весной — когда все началось — он спросил: «Скажи мне, философ...» — шутивным тоном он начал, но затем продолжил с усилием и весом: ...что — после смерти?»

Его интерес был таким напряженным! Из моей головы все улетучилось. Впервые мне поставили настоящий вопрос! На него нельзя ответить прочитанным: тот знаменитый сказал это, а этот известный то. Впрочем, в этой области наследие человечества удивительно тощее.

Приезжий был взволнован. Внимание Хозяина настолько усилилось, что Приезжий чувствовал сосущий вакуум.

— Цитировать было нельзя! И молчание казалось пустым. Нужен был жест: поступок. К счастью, я вспомнил о редкой вещице, ее мне подарили на Севере. Крестик! Представь себе, алюминиевый, очень красивый, вырезанный из ложки! В северных лагерях. Ну, может ли быть что-то красивым из серой ложки? И вот, представь себе, крест. Юрий его долго рассматривал.

— Кто же его делал, — сказал он задумчиво. — В грязном бараке, далекий, погибший... Спасибо.

Они молчат в темноте.

Шорох падающих больших снежинок.

— Перед последней отправкой в больницу он сказал: «Мой лейкоцитоз развивается слишком быстро. Как ты думаешь, почему? — Потому что он острый? — Я думаю, что они... меня облучили!»

Текла минута самого сильного страха, который я испытал когда-либо. Угроза всегда зрима, не так ли. Но если тебя коснется неслышно таинственный луч... может быть, касается в самый миг нашего разговора...

Тогда все бесполезно: вся наша работа. Мы просто исчезнем, и никогда никто ничего не узнает.

«Такой ясности нет, — заговорил я, сопротивляясь ужасу. — Конечно, они могут все, они так воспитаны, это люди-убийцы. Могут все — если техника позволяет. Разве возможно направленное обучение? — Помнишь, стоял грузовик напротив моего подъезда? Сзади было окошко. Через него был виден внутри какой-то объект. После нашего осмотра грузовик исчез».

— В конце концов, кроме тривиального провала с литературой в Арзамасе... максимум семь лет плюс три ссылки... что они знали о нем?

— Не знаю. Он был твердый сторонник подполья. Хотел организовывать съезд, и это в наших условиях! А его цельный характер! Ты помнишь «посылку Юрия»?

— Еще бы: она была под стать твоему «силлогизму».

— Из-за которого мне до сих пор неловко.

Он почувствовал приступ сонливости.

От Хозяин его подавленный зевок не укрылся.

— Всё на сегодня. Спать, отдохнуть, забыть!

— «И снова клонит в вечный сон...» — еще старался пошутить Приезжий.

Его голову, закрытую одеялом, осторожно трогает рука.

Завтрак ждет на столе.

Они объясняются жестами. Они вовлечены в оживленную пантомиму.

Ночной разговор их наполнил энергией.

Они снова в саду, возле домика.

В те времена расставаться было так трудно.

Еще этот всплеск нежной фамильярности:

— Ты поумнел за последнее время! По моим представлениям, так ты должен бы разговаривать лет через двадцать! и пять!

— Столько? Нет, не прожить.

— Да сколько тебе сейчас?

— Двадцать шесть.

— Мне — сорок. И видишь — держусь.

— Ну, хорошо, если ты старше — то есть, ты думал чаще и дольше — скажи: неужели напрасно — все, все, все? И мы никогда не увидим... свободы?

— Сказать откровенно... Впрочем, о какой свободе ты говоришь?

— О первичной: я задыхаюсь! Их всего триста тысяч от Балтики до Тихого океана. И они держат в кулаке миллионы. Это ведь бред.

— Мы в некотором смысле — жертва неравномерности мира. Он так сделан: один тонет в воде, а другой умирает от жажды. Может быть, тебе надо уйти за кордон?

— Я думаю.

— Дело в том, что расстояние между местами земли измеряется в годах, а не в километрах, ты понимаешь? Расстояние между Москвой и Парижем — к примеру — двести пятьдесят лет.

— А был ты в Париже?

— Ты знаешь, что нет.

— Так о чем же ты говоришь?

— Я просто ишу сравнений: мы мыслим сравнениями. А в Париж поедешь ты! И потом мне расскажешь: напишешь.

— Через двадцать пять лет.

— Обо всем ты напишешь в 96-м.

— Ну, прощай.

И они не двигаются с места.

— Я был уверен во всем. А теперь опять ни в чем не уверен.

— Надо выбрать между «всем» и «ничем» средний путь: королевский.

— Золотая середина. Правда, русским всегда хочется сказать иронически: «золотая посредственность».

— А между тем в латинских языках это солидное, проверенное умом заключение.

— И еще одна вещь... но ты не говори никому!

— Ну, если «никому»...

Опять планшетка. Приезжий пишет. Хозяин дома кивает головой, словно знал это и прежде.

Помолчав, он говорит:

— Это бывает у всех. У некоторых потом проходит.

Мы хотим прочесть написанное Приезжим:

мне страшно я боюсь их

Он медленно вытягивает картонку. Буквы исчезают одна за другой.

— Легче? — улыбается Хозяин. — Теперь легче?

Проверенный метод: сказать и стереть.

Услышать и простить.

— На Земле стало чутьточку меньше страха: мы победили!

И, помолчав, добавил:

— Это и есть наше дело: одоление страха.

Его очередь жаловаться:

— Ты знаешь: я второй год как уволен. Если я нахожу что-нибудь, то они звонят. И меня просят не приходить. А они говорят: «Придется преследовать вас за тунеядство. А вы хороший работник, опытный агроном. Ах, как неприятно!»

— Наши тебя не оставят.

— Еще что-то я хотел тебе предложить... тему для размышления. Я думаю иногда, что части знания образуют гармоничное целое: природа — история человечества — Бог и посмертие. Равновесие частей, доступных нашей мысли и чувству. И если о чем-то больше известно, и больше думают, чем о другом, то равновесие утрачивается. И тогда принимаются меры — разумеется, кем-то и Высшим. Так вот, смотри, как изучена ныне природа, как избылиуют сведения истории... Божественное

выглядит маленьким, ветхим, курьезным. Мне кажется, неизбежен переворот: знание о Боге должно увеличиться. Заметь, настоящее знание, ясное, как аксиома! Откровение.

Они молчат.

Как странно: у них нет времени продолжить беседу.

— Ты выйдешь здесь, через калитку, на участок соседей. Перейдешь его прямо, и там другая калитка, на шоссе. Ну-ка, что у тебя за ботинки? Годится. Деньги есть у тебя?

Приезжий кивает. Он открыл калитку и оборачивается.

Фигура хозяина на белом снегу. Очертания дома. Сосны.

Токи дружбы мешают им разлучиться, это множество невидимых драгоценных нитей, протянутых за столько лет — ну, не слишком многих — пять, шесть? Но каких лет!

У Приезжего вырывается:

Иван!

Они шагают навстречу друг другу, но спохватываются, поняв, что времени больше нет, что их властно разводят незримые силы.

— Прощай.

Падает снег. Он медленно заполняет отпечатки ботинок ушедшего.

*

Удар сильной волны, смывающей события и настроения ночи.

Побережье пустынно.

Никого и нигде.

Полная неизвестность. Невозможно предположить, где его ждет ночлег, — и ждет ли, какие люди выйдут к нему навстречу в этот день. Полнота мгновения: принадлежность к пространству, заполненному упругим воздухом ветра, водой, километрами песчаного пляжа.

Если их пройти пятьдесят, то встретится маленькое село Кестерциемс. «Село Кестера», если рискнуть перевести. Но кто такой Кестер?

Он приехал туда подростком, в год отъезда-побега от отца.

Нельзя ли вернуться туда, идя по твердой мокрой кромке песка? В то место — оно его ждет. В то время — оно остановилось.

О, можно, можно попасть в рай, в спешке роняя события, годы!

Память возвращает его в «там и тогда» мгновенно.

Теперь вместо четких отпечатков ботинок на мокром песке остаются следы... босых ног!

Из серого декабря он выходит в солнечную голубизну июля.

...Был полный штиль.

Вода лежала словно зеленоватое стекло, толстое, прочное, по нему хотелось пойти. Не странно ли, что в нем могли двигаться рыбы, — он видел отчетливо стаю полосатых рыб, окуней. «Они удивительны в море, — подумал он, — им полагается жить в пресной воде».

Впрочем, Балтийское море почти не соленое.

Но его захватывало другое.

Наслаждение от созерцания вдаль, где не было никого.

Счастье и мир.

Сосны, мелкий белый песок, зеленоватая гладь.

Синева неба. Почти прозрачные перистые облачка.

Они висят на большой высоте. Отчего же их форма повторяет песчаные волночки на морском дне? Эта похожесть форм его привлекает, умиляет, тревожит.

Или зерно кукурузы и зуб, особенно круг зерен в початке и — зубов во рту человека — для чего это сходство?

И однажды его успокоило объяснение-слово: «изоморфизм». Приятно, что другие люди размышляли об этом явлении! Он больше не чувствовал себя таким одиноким.

Йодистый аромат водорослей. Запах новизны приключений, волнующий жителя континентальных глубин.

Безмолвие.

Такого большого пространства!

Может быть тихо в комнате. Ну, где еще? В большом чемодане. А на улице, в лесу и на море — ветер, скрипы и волны.

Но вот, тем не менее.

Молчание огромного места.

Драгоценный опыт: пустыня, горы, северная зима.

И вот теперь море.

И он один.

Эта исключительность его не смущала. Ему было бы приятно пригласить сюда друзей, но если нельзя, если они заняты другим, то ему мило и так.

Мама приходила на пляж с полотенцем и книгой. Чаще она исчезала в окрестных лесах, чтобы радоваться обилию грибов и ягод. И собирать их, конечно.

Чайка внезапно напала на стаю его рыб, взрезав водяную поверхность, выбросив пенный фонтан. Они метнулись в разные стороны, но одну твердый клюв ранил. Стараясь уплыть, она выскакивала из воды, а птица с криком носилась над ней, над слишком крупной добычей.

Единение с местом было разрушено. В нем даже проснулся охотник, — под влиянием поступка чайки ему захотелось рыбу поймать.

Он вбежал в воду — ох, ледяную! — и упал на рыбу животом. От холода перехватило дыхание, он выбрался на берег красный (словно вареный рак) от мгновенно прилившей крови.

Коварство неподвижной воды.

— Да, — сказал вечером Питер, глава семьи, в доме которой мама сняла комнату, — вода очень холодная при полном штиле. Потому что полный штиль бывает, когда с Севера приходит много-много очень холодной воды.

Питер говорил по-русски.

С его сыном Дзинтарсом подросток москвич играл в игру «Кто первый войдет в крепость».

А тем временем Питер разговаривал с мамой.

Сын замечал, что мужчинам нравилось с ней говорить, тем более о политике.

— Пришли немцы, — рассказывал Питер. — Взяли в армию. Я дезертировал. Дали шесть месяцев тюрьмы. Пришли русские, взяли в армию, — монотонно продолжал он. — Я дезертировал. Дали два года лагерей. Я вернулся таким, что это полено, — и Питер, рослый и крепкий, брал полено, лежавшее у печки, — это полено двумя руками не мог поднять!

Мама, вероятно, промолчала. Что тут сказать перед подобным фактом? В то время она еще «боролась за идеалы», как она говорила.

Он не выбирал, на чьей стороне быть. Ему нравилось слушать разговоры взрослых. Как обычно, в ущерб игре: опять Дзинтарс выигрывал и, торжествуя, подшучивал над ним. В этом подшучивании он различал странную интересную нотку... отмщения? «Отмщение», так слишком сильно сказать. Но ему сродни. К его удивлению, Дзинтарс не умел играть в шахматы. Он предложил научить.

Второй и третий долгий день он жил в волшебном безмолвии и одиночестве песчаного берега и гладкого стеклянного моря.

Он приходил, стоял и смотрел.

Он знал, что спустя время наступит... как объяснить? — единство его самого и всего вокруг. Чувство ласковой принятости. Чувство, что он — и все это огромное — одно.

«Блаженство», — скажет он позднее.

Но тогда это слово означало другое. «Просто блаженство!» — говорила мама, откушав в гостях вкусного блюда, грибов с какой-нибудь курицей, например.

В его принадлежности к единству неба и моря не было предвестника перемены. Да и зачем? Все так хорошо.

Но почему-то подул ветерок, пошли облака. И мелкие волны побежали к берегу, вода помутнела.

Впрочем, он и это любил. Шорох шевелящихся сосновых ветвей, шуршание мелких камешков и ракушек, влекомых водою туда и обратно.

И дождик.

Настроение мамы портилось.

— Так невозможно! — говорила она. — Истратить кучу денег, приехать к морю — и не видеть солнца!

Ее профессией было предсказание погоды, метеорология. Как часто бывает с родителями, и ей хотелось передать свои знания сыну. Например, латинские названия облаков.

— Кумулус Гумилис, — послушно повторял он, глядя на сверкающие белизной мечтательные, беззаботные облака, медленно плывшие по синему небу. Его забавляло, что высоты наполнились его знакомыми. Почти друзьями: вот и важные Кумулус Нимбус; а его любимые Чиррус Фибратус висели высоко-высоко, словно чистейшие шелковистые нити.

— Ну, посмотри, что там, — спрашивала мама утром, надеясь.

Но в ответ дождик уже стучал по крыше.

— Целый год ждать отпуска — и сидеть целый месяц в воде! — обидчиво говорила мама после долгого созерцания серого горизонта. — А в Подмоскowie — жара.

Ему хотелось ее утешить, сказать, что здесь такой мир, такая тишина! Что это кое-что и без солнца. Но он не решался. Ему казалось тогда, что огорчения и пожелания других важнее его собственных.

В возрасте мудрости он удивится этой своей черте. Он обнаружит, что многие затруднения жизни возникли из-за его чрезмерной податливости перед мнениями других.

Дождь усилился.

— Все, все, мы возвращаемся в Ригу! В Москву!

Ах, как жаль. Как печально.

Он и теперь возвращается по безлюдному декабрьскому берегу.

Десять лет прожитой жизни повисают на нем утратами, болью. Впрочем, бывает отдых и очищение радостью.

Но он ныне другой.

Еще шаг, и он входит в иную зону.

Иных мыслей и намерений.

И воспоминаний.

О умершем Юрии, например.

Однажды дружеский ужин собрал их, человек пять или шесть, вместе.

Сначала были темы, требовавшие осторожности, с датами и именами: их обсуждали, включив радио и воду, жестами и записками. А затем пришло время общих дискуссий.

И как это они поместились в крохотной кухне! Отдельной квартиры — эту прозаическую, но существенную подробность нельзя опустить, если хотите точного изображения эпохи 70-х. Блочного дома: одного из тысяч бетонных параллелепипедов, стоявших наискосок к пригородному шоссе.

Друзья съели суп и котлеты.

Разговор вертелся вокруг пенитенциарной системы разных цивилизаций. Вокруг отечественных лагерей и трудностей связи.

Забавно вспомнить царское время! Известный революционер — впоследствии глава государства, — сидя в тюрьме, вписывал в письма к невесте свои статьи. Между строк, молоком. Получив письмо, товарищ невеста держала бумагу над огнем керосиновой лампы. Молоко подгорало, и...

— И вот что читала товарищ: **«Котик! день выступления согласован. Твой поцелуй до сих пор немедленно привозите бомбы и револьверы горит у меня на устах смерть предателям нежно целую, Володя»**

— Это политический скетч, — сообщил Симон. — Тебя ждет гонорар: пять лет строгого режима и три года ссылки.

Воодушевившись, Приезжий предложил «силлогизм».

— Вообразите себе, что в некоем преступном государстве...

— «Некоем!» — фыркнул Симон. Ясно, в каком.

— ...вы попали в тюрьму. Окей? Вы в ней сидите. Окей? Вы согласитесь, что наше общество косо. Оно под гипнозом страха. Так вот, у вас есть шанс передать новости на волю. Вопрос. Допустимо ли, желая вывести общество из пассивности, допустимо ли с логической — а впрочем, и с моральной точки зрения — сообщить, что вы подвергаетесь «незаконным методам допроса», как теперь называется пытка, хотя бы вы ей и не подвергались? Окей?

Все молчали.

— Нет, — сказал Юрий.

— Отчего же, — продолжал оратор, предвкушая наплыв аргументов и удовольствие от почти сократического спора. — Не попробовать ли нам для начала разграничить «пытку» и «воздействие»?

— Нет, — повторил Юрий твердо.

— Да, но почему? Известно, например, что она пользуются в зимнее время камерами без окон...

Юрий схватил тарелку и замахнулся. Оратор едва успел пригнуть голову. А Юрий успел удержать тарелку и, удерживая, неволью сделал пируэт дискобола.

Все оцепенели.

Знаменитое хладнокровие Юрия было образцом и опорой для многих, и вдруг такое!

Впрочем, его лицо осталось бесстрастным. Но дышал он часто.

И еще долго они приходили в себя, успокаивались, пили чай, расходились.

Приезжий — а тогда временный хозяин квартиры — чувствовал весь вечер и часть ночи горечь. Главным образом из-за своих слов: несомненно, резкий поступок Юрия уличил его в чем-то неблагоприятном. Впрочем, не впервые он сожалел о своей легкости на язык.

Событие было освоено: его назвали «посылкой Юрия», утверждая, что со временем она попадет в учебник истории.

Совсем недавно он смотрел на серое длинное лицо, утонувшее в подушке. Юрия уже перестали допрашивать; уже его перевели в отдельную палату.

— Помнишь тот разговор? — Юрий делал усилие, стараясь отчетливо произносить. — Мне жаль, что так получилось. В нашем конфликте с властями много неясного. Система преступна, это известно всем. А мы насаждаем право. Разве ты не согласен? Нужна абсолютная честность. Но можно все обсуждать... тогда я хотел, но не мог с тобой спорить... когда ты поднял вопрос о пытке... потому что ты улыбался.

Худое серое лицо на подушке.

Приезжий вернулся из своего парадиза.

Рядом с ним молодая женщина. Красивая, — пусть всякий представит себе свое. Ах, очарование молодости... Впрочем, в этом замечании слышится возраст пишущего; молодость не знает, что она молода.

Двигаются губы, живут радостью лица, и доносятся голоса в шуме прибоя.

— Хорошо, что ты приехала! Прекрасно, чудесно!

— Я даже не думала, что может быть так пустынно. А летом здесь толпы.

Она оглядывается на берег, уходящий вдаль и в туман, сливающийся с морем.

— В вагоне никого не было, кроме меня.

— В самом деле? — Приезжий стал серьезен. — Совсем никого?

— Никого! И на станции никто не сошел. Я даже подумала, не ошиблась ли я — или ты — приехал ли, и туда ли, — так одиноко, пустынно.

— Очень хорошо: мы исчезли отсюда. Смотри, сколько пространства! Свобода.

— Правда. А ты...

— Ты думаешь, я скажу все сразу? Нет, нужно как-то иначе. Во-первых, приличия требуют поднести сначала стихи.

Ее забавляет этот обычай:

— Ты их уже сочинил?

— Я? Нет! Но еще есть время, до вечера долго: еще только полдень. Сейчас сочиню.

Он смотрит на нее искоса, словно ища повод для вдохновения, яркую деталь для начала:

— О, золото волос...

И неожиданно берет ее руку:

— Ладоней теплота...

Она немного сконфужена жестом сближения. Не отнимая руки, она смотрит на волны, на горизонт, завешенный серой пеленой.

— А дальше?.. — говорит она еле слышно.

Он тоже смущен и взволнован, он бормочет, подыскивая рифму:

— О, золото волос, ладоней теплота...

— Гм. Сразу не получается: я слишком... как бы сказать... ну, вот, ты знаешь, чтобы писать стихи, нужно быть чуточку несчастным! Хорошие стихи, разумеется.

А они — нет, не несчастны. Им весело.

— Что нового в Питере? — он словно прячется за иную тему их встречи. «Питер» — чтобы избежать «Ленинграда».

— Нового-нового? Ты ведь только вчера из Москвы! Там вы знаете лучше все наши новости.

И потом, новое — каждый день? И странное напряженное ожидание. И тоска. Непонятная тоска нападала на всех.

— Ну, я сижу среди книг. Я теперь живу в восемнадцатом веке. Там тоже бывало странно, как сейчас... не знаю, как объяснить. Признаться, не понимаю: события и факты известны, но они в полной разрозненности. Ты знаешь, русская история мне представлялась... я даже видела сны! — это множество незнакомых людей в огромном холодном грязном ангаре.

Волна близко подкатилась к ногам, вот-вот захлестнет, он тащит ее за руку прочь, они отбегают. Волна упала и смыла их следы.

— Они исчезли бесследно! — кричит он.

И добавляет:

— Мне хочется знать, что будет дальше: с ними, с нами... Я так рад, что ты приехала!

Она бросает на него взгляд: почти влюбленный, но осторожный. Нет, нет, надо еще подождать чересчур откликаться.

— Мы знакомы давно, правда? — сказал он. — Очень давно.

— Пять лет, — сказала она.

— Да это века! В нашем возрасте это — тысячелетие!

Она фыркает: пафос, юмор и что-то серьезное смешались в его восклицании.

— Мы никогда не приближались друг к другу. Хотя я всегда замечал тебя... и все знал о тебе! Всегда. Почему-то запоминалось все, что слышал. Интересно!

Как же они были одеты в тот день?

Не слишком ярко, это затруднило бы жизнь, тогда все хотели быть незаметными. Но все-таки какой-нибудь штрих: синий шелковый шарфик с голубой каемкой, мерцавшей на темном фоне пальто. А его шарф — оранжевый с бахромой. Он досадовал иногда на его заметность и в городе прятал под курткой. А теперь, на берегу моря шарф получил свободу: он выбился и взлетал в порывах ветра.

— Ты не замерзла?

Прогулка привела к зданию, вылезавшему из сосновой рощи на пляж, похожему на корабль. То был ресторан, в декабре, как ни странно, открытый.

Сидевший в гардеробе служитель на них посмотрел — и кивком головы предложил повесить одежду самим. Дружественная фамильярность стареющего гардеробщика.

Внизу был и телефон-автомат. И пока Неизвестная, достав гребень, занималась прической пред зеркалом, он позвонил. Он набрал номер несколько раз. Ему опять никто не ответил.

В зал вела лестница. Огромный, вдобавок и пуст. Один стол был придвинут к бару и полностью занят: за ним сидели официанты и играли в карты. А повар занимался проигрывателем: он поставил пластинку. И слушал летящую мелодию струнных, может быть, Моцарта.

В зале у окна сидела пара: старик с газетой и клюкой, приклоненной к столу, и старуха, смотревшая неподвижно вдаль, на море. Свой обед они давно съели, а теперь ленились уйти, вероятно, даже совершали сиесту.

Приезжий выбрал столик. Отсюда он видел пляж и дорожку из досок, положенных на песок, — она вела к аллее в прибрежном сосновом бору.

— И вот неожиданно все соединилось: мне нужно было уехать немедленно, и накануне — okazия тебе написать! Мы раньше виделись всегда при знакомых. А теперь ты приехала: прекрасно! Все прояснилось!

Она несколько смущена: он говорил о вещах очевидных, конечно, так зачем о них говорить? Она как бы оправдывалась:

— И ты... мы оба ждали, правда? Мы только не знали, как это будет.

— Теперь я скажу тебе сразу: обстоятельства таковы, что я должен уехать на полгода. А потом я приеду в Питер. К тебе. И мы поженимся.

— Так быстро! Ты все уже решил!

— Ну, не все. Все-таки пять лет — пять с половиной — срок немалый для... для... проверки чувства! — теперь смутился он, его бравада потеряла опору иронии, и он сказал нечто серьезное, хотя вылетело ходячее выражение штампа: «проверка чувства»! Он попытался поймать прежний тон легкости, необязательности, почти шутки:

— Но если ты против — то, разумеется, тогда... но если ты против... ничего не имеешь? Тогда наши корабли пойдут рядом.

И отвернувшись, добавил:

— Мне с тобой хорошо.

Совсем другим тоном.

Шквал ветра ударил в окно: огромное, современное. Снег прилипает к нему и ползет медленно вниз.

Он зажигает свечу, стоящую посередине стола.

Официант принес им хлеб, вино, рыбное блюдо.

Мы можем оставить их наедине, тем более, что многое уже ясно. Пусть они подкрепятся обедом.

Тем временем мы выйдем на берег моря.

На твердую кромку песка возле самой воды.

Ни птиц, ни людей. Свист ветра.

Балтика. Сосны. Кусок янтаря, по-латышски дзинтарс.

Большой кусок с отполированной гранью — такой был в кабинете Ивана, мы совсем позабыли сказать. Удобно смотреть в эту грань и видеть мотылька, висящего в красновато-желтой массе. Миллионы лет тому назад он летал, он порхал. Он собирал нектар.

Застывающий янтарь времени обволакивает меня, их. Обволакивает мое сердце. Чтобы годы спустя рассматривать его, вздыхая, покачивая головой.

Повернуть теплый кусок, поднести его к свету:

Они снова на берегу. Они подходят все ближе, теперь можно их слышать.

— ...и у нас будет много детей!

Это Приезжий. Он разворачивает картину счастливой семейной жизни.

Лицо Незвестной задумчиво.

— Много детей?

— Да! Тридцать!

— Ну, что ты говоришь! — В ее голосе смешались противоречивые чувства: во-первых, смешно от явной глупости, но есть и чуть-чуть восхищения перед таким плодородием, она польщена тем, что его ждут — ну, в шутку, конечно, но все же — от нее. Немножко досадно, правда, что будущий отец легкомыслен в столь серьезном вопросе.

— Ну, хорошо, будем реалистами: сейчас еще рано решать этот вопрос окончательно! — говорит Приезжий примирительным тоном. — Я немного увлекся. Сегодня мне кажется возможным все.

Кусочек земли показался бескрайним. Время — остановившимся.

Никогда мы не знаем, когда нас ждет теснота. Что время загустевает: вот-вот — и начнется страдание.

Сильное — едва одолимое — и внезапное желание уйти с ней по берегу. И не возвращаться — оставить все, как есть. Да и что им мешает?

Ветер и холод.

Позади осталось тепло: они возвращаются.

— Ты столько всего сказал. Мне нужно подумать, — говорит Незвестная. Между ними больше нет отчужденности, они склонились друг к другу наподобие арки.

— У нас будет время подумать, — говорит он.

— Ну, подумать — не знаю, подумать ли, но пусть все уляжется в голове.

— Да, да, ты знаешь, я сказал тебе все, что решил, и произошла колоссальная перемена! Ты видишь, какая важная встреча:

нам все стало ясно. Вечером ты уезжаешь в Питер. Мы расстанемся здесь: я не смогу тебя проводить.

— Ты не сможешь меня проводить на поезд?

Она слегка удивлена, но и только: есть, очевидно, причина, о которой пока лучше не говорить.

— Я приезду к тебе в начале июля.

— А мой диплом: я должна закончить диплом! — защищается она, растерявшись.

— Ну, мы закончим его вместе.

— Уф, какие перемены! Все сразу!

— Уже холодно, правда? Тебе холодно? Давай вернемся.

Чета стариков у окна проснулась и пьет свой чай с крендельками. Теперь полудремают официанты: им надоело играть в карты.

Любитель музыки поставил другую пластинку, на этот раз, может быть, Шуберта. Ах, нет, Малера, «Песню о умерших детях». О убитых. О убитом во чреве младенце Андрее...

На столе остатки обеда: чашечки с кофе, хлеб в корзинке, бутылка с вином. Горит свеча.

Зимний день достиг своей зрелости.

— Я должен тебе сказать... — начал он, и было видно, что он не решается продолжить. Словно ему предстояло объявить нечто на грани приличия. Она посмотрела на него вопросительно, но и с улыбкой, ожидая шутки.

— Дело в том, что я сейчас в конфликте с властями, — проговорил он, наконец. — Чем он кончится — неизвестно.

— Поэтому я хотел тебя видеть.

Из-за неизвестности. Но отчасти, быть может, из-за растущего в последние месяцы страха, ища укрытия и защиты.

На конфликт и надо было бы намекнуть в письме, так было б честнее. Ясно ведь, что он затронет родственников, знакомых, знакомых знакомых...

Впрочем, новость не произвела на нее заметного впечатления.

— Я думала иногда, что ты в чем-то участвуешь: ты исчезал с таинственным видом.

— Правда? Это тщеславие: приятно казаться значительным кем-то! А теперь хочу перестать — и не выходит. Они приклеились — ну, словно вар!

— Это бывает, — помолчав, сказала она, — потом проходит. Они теперь агрессивны к непримиримым. Если же видят, что...

Он с удивлением заметил, что разговор стал его слегка задевать. Словно в нем пробуждались средневековые чувства: перед дамою полагается ходить петушком! Гм. Храбрецом.

— Я очень старался понять, почему я так против, — сказал он нарочито философским тоном.

— Сначала возникло простое «против» в четырнадцать лет. В нашем классе началось увлечение тайным: карбонарии, декабристы, большевики! Криптограммы, пароли, выдуманные имена. Романтика нелегальной борьбы за свободу.

Действительность предстала пред ним в декабре 62-го. На факультет прибежал Владимир и принес известие о — ну, почти демонстрации. Они побежали туда.

На площади шевелилась толпа, лица белели, мелькали, словно бабочки, в свете прожекторов, освещавших огромную статую знаменитого в прошлом поэта. Надменный голос кричал в мегафоне: он приказывал немедленно разойтись. Властям захотелось, видите ли, убрать с площади снег.

Тот декабрь был на редкость бесснежным. И какой снег уцелел бы под тысячью ног?

Он отметил в своем сознании сдвиг: впервые он видел, как действительность изображают другой, чем она есть, не стесняясь присутствием сотен свидетелей.

Толпа волновалась. На цоколь памятника лезли люди и декламировали стихи. Он тоже захотел, и залез — близко стоявшие слушатели охотно ему помогли.

Тысяча поднятых к нему лиц, сливавшиеся в одно. В одну голову единого тела, которое можно сейчас побудить и подвигнуть на колоссальные действия!

Вот это открытие: есть упоение, ему неизвестное прежде. Он поддался ему, и оно его подхватило:

— Товарищи! Граждане! — И, выбрасывая руку вперед, на полном выдохе: — Братья!

В ответ от сплоченного множества его словно ударило током: цепь замкнулась. Ах, вот в чем секрет нашего тоталитарного века.

— Нам говорили, что преступления недавнего прошлого были ошибками одного человека. Но смотрите: настоящее переполнено «ошибками» нескольких!..

Началась операция. На толпу двинулись грузовики-снегоочистители, а за ними, как пехота за танками, шли отборные комсомольцы.

— Здорово! Еще немного и — вы взяли бы Кремль! — звонко рассмеялась она. Он скромно откашлялся.

— Уловки правителя совсем не меняются. Тут чистили несуществующий снег, а в 1908-м демонстрацию запретили, чтобы «рабочие не простудились»: был сильный мороз.

Морозы прошли, а запрещенье осталось.

— В этих детальках что-то есть, — сказал он. — Они выпуклы, хочется взять их и превратить в инструмент.

— В какой же? — недоумевала она.

— Ну, познания... исторического процесса... — он невольно сбавил тон.

— Мы могли бы работать вместе, — начал он. — Ты историк, ты находила бы существенные ситуации прошлого. А я искал бы в них параллели и функции живого общества... и... и...

Он не знал, что сказать.

— Ой, какой научный язык! — пожалала плечами она. — И добавила спустя время: — Наверное, из-за него мы ничего не поймем.

Она посмотрела на него влюбленно. И он впервые смотрел ей в глаза, не скрываясь и без стеснения. Как это страшно! Словно две пропасти открылись друг другу. Две бесконечности захотели объединиться.

Она отвела взгляд. И чувствовала необходимость говорить, чтобы уменьшить охватившее ее волнение.

— Если хочешь понять что-нибудь, то не надо участвовать. Конечно, это иногда интересно — участвовать, но тогда не понимаешь.

Он смотрел на море.

— Я побаиваюсь тебя, — сказал он. — Ты говоришь умные вещи нежным и ласковым голосом... тут какое-то несоответствие: умное должно быть твердым, в нем нежности нет... И потом — в 23 года так мудро не говорят! Вот почему я думаю, что тебе на самом деле... 24!

— Скоро! — засмеялась она. — А правда, что тебе 26?

— Да! И пять месяцев!

Он опять стал серьезным:

— По-твоему, коммунисты не понимали? Лукич (чтобы не сказать «Ленин») не понимал?!

— И для него нет исключения. Не понимал.

— Однако же победил.

— Понимание ведет не к победе, а к миру. Взять власть — велика ли победа? Победа ли?

Они помолчали.

— Мне попалось у современного автора: «власть — это корабль, сделанный из людей, чтобы плыть через океан человечества...»

— Ой, как поэтично! — сказал он с такой кислой миной, что она засмеялась. — И кто этот автор?

— Не знаю, подписи не было.

— Можно, я расскажу тебе один случай? В Москве мы жили с матерью в коммунальной квартире (и это был, кстати, один из доходных домов Великанова). Было две лестницы, парадная, через нее ходили; и вторая, черная: узкая, пыльная, затхлая, с помойными ведрами.

Мама послала меня выбросить картофельные очистки. Я открыл дверь и увидел огромного роста женщину в черном ватнике и сапогах. Колхозницу.

Правительство разрешило подмосковным колхозникам собирать отбросы и кормить скот. Чтобы было чем кормить горожан, нас.

Увидела меня и она, а я увидел, как: замерев с ведрами в руках, удивившись невыразимо, раскрыв рот.

Ее изумление было таким интенсивным, что я оцепенел. К счастью, память о поручении привела меня в чувство: я приблизился и бросил шелуху в ведро. И убежал, поскорее захлопнул дверь. Оттуда донесся плач.

Это событие — словно мушка в янтаре. Оно попало в особую комнату памяти, где я собирал загадочные случаи моей жизни. И старался их разрешить.

Отчего она плакала? Что ее так потрясло? Вероятно, сравнение: своих детей, деревенских, грязных и юрких, — с этим чистеньким беленьким мальчиком, одетым в пижаму с синими полосками (в 50-х ходили в пижамах по улицам даже взрослые; потом запретили).

Колхозница увидела произведение из другого мира. Недоступного, куда ее впустили не дальше помойных ведер. Но ведь это несправедливо! Такой режим должен быть разрушен. Ты думаешь... из-за желания действовать я не понимаю?

Он смотрел на нее с доверчивостью ребенка.

Она покачала головой. И неожиданно произнесла:

— Ты мне мил.

Они оба смутились, хотя обоим было приятно от сказанного.

Ему хотелось наукообразия в речи, за ним удобно прятаться в моменты нежности, когда из глубины души поднимается опасение: кто знает, не ударит ли какой-нибудь гром? А ты размяк и открылся.

— Как ты думаешь, жестокость тридцатых годов не объясняется ли тем, что марксизм — это идеология для рабочих? В нем есть презренье к деревне, медлительной и непригодной для революции...

— Можно, я спрошу тебя прямо?.. — он колебался. Незвестная чувствовала себя стесненной, словно он присваивал ей право учительствовать. Она подумала, впрочем, не приготовил ли он ей «силлогизм», как они тогда говорили шуточно, или — что то же — «смиряющее ум затруднение».

— Я просто назову имя: Христос. Кто это? Он — понимал? Ему — удалось? Он — действовал?

Она смотрела на море. И затем проговорила:

— Я не знаю. Он очень таинственен.

И, помолчав:

— Он — кроткий.

И еще, спустя время:

— На Него нужно долго смотреть.

Шквал ветра потряс здание, порыв его через где-то открытую дверь достиг и их. Пламя свечи колебалось.

— У тебя удивительный почерк, — сказала она, вынув листок с его письмом. — В нем что-то готическое.

— Многие жалуются: трудно читать.

— Зато интересно смотреть! Скажи — ты любил в школе чистописание?

— Терпел. Мне от него становилось тоскливо: палочки с таким-то наклоном, крючочки...

— Почерк меняется, правда? И у народов, и у людей. Я думаю, что в конце жизни тебе захочется писать абсолютно по правилам, чтобы все тебя понимали.

— В конце жизни? Когда, как ты думаешь?

— Ах, милый... я говорю что попало! Прости.

— Я твой почерк люблю, — сказал он. — Круглые красивые буквы, словно жемчужинки... Помнишь, как мы знакомились в библиотеке? На столе лежали конспекты. Я посмотрел и подумал: это почерк ласковой женщины. Изумительный: я полюбил сначала его! А потом пришла его обладательница, и...

Наклонив голову, она ждала продолжения. Она волновалась.

— ...и ...и... это была ты!

Его голос дрогнул.

Они шумно выдохнули и вздохнули. И потом молчали, смотря в разные стороны, но на все то же Балтийское море. И снова повернулись друг к другу.

— Ты интересно устроен, — говорит она осторожно. — Твое прошлое подобно мозаике. Луч освещает то одно, то другое. А все вместе, все целое... изображает что-то особенное?

— Нашу встречу, — сказал он. — Не только сегодня, а... вообще.

Она помедлила.

— Ты любишь солнце?

— Не очень, но могу потерпеть. Я человек вечера. Я — луночник.

— Ночь длинная. Неизвестно, когда она кончится. И вдруг — чудесный миг — начинают петь птицы, все разом, и видно тогда посветлевшее небо. Проступают контуры леса, холмов, домов... Во мне пока так же. Я не знаю, правильно ли я вижу. И молчу, потому что боюсь ошибиться. Ты понимаешь?

В нашей ночи лучше всего видно небо. И светлый край на востоке. Вот наша радость: скоро утро. Но ведь когда наступит день, то небо перестают замечать. Днем время земли.

Удар ветра потряс здание, оно заскрипело в стыках и спайках. Даже пламя свечи колебалось.

— Я люблю непогоду, — сказал он. — Все попрятались в свои конторы, жилища. Сидят в них — и живут, живут, живут!

— В новое время ночь стала короче, — добавил он.

— В прошлом веке люди спали гораздо больше. А в Средние века! Горожане, впрочем, и тогда спали меньше, и тем не менее... Долгий сон восполнял скудность питания.

— Это интересно, — сказал он. — Любители бодрствовать шли в города: в темноте было им скучно!

— Мы открыли еще один фактор прогресса, — засмеялась она, показывая на пламя свечи. — Вот что родило новое время!

Локон соскользнул ей на лицо. Ему захотелось поправить, и он осмелился. В ответ ее глаза просияли. Она на мгновение прижалась щекою к его руке. Сердца бились у обоих.

— Ну, расскажи еще что-нибудь! — выдохнув, попросила она.

И его голос дрожал от волнения, однако, он начал говорить и, говоря, успокаивался.

— Летом после твоего диплома мы поедем в Подмоскowie, в деревню: я тебе все покажу!

Там леса, холмы и поля.

Еще стоит изба его предков.

Однажды... если хочешь истории — в лето 1959-е, зимой, в январе он проводил там каникулы. Снег и лыжи. Дядины книги, рассказы бабушки. Тихая бабушка.

Он отправился на зимнюю рыбную ловлю, тогда он любил ее страстно. На приток Волги, Дубну. Еще было темно, и дедушка растапливал печь, когда он вышел из дома. Снег скрипел под лыжами, скольжение было отличным, — по пологому склону вниз, на колоссальную равнину.

В темноте.

Впрочем, зимой можно видеть и ночью благодаря белому снегу. И местность он знал.

Звездная ночь и пространство без края. В холодном воздухе стоял он, отдыхая и наслаждаясь.

И тогда он услышал скрип. Знакомый с младенчества скрип снега под ногами. Великого множества идущих.

Он двинулся в направлении скрипа. И вскоре увидел: нескончаемая колонна темных фигур шла мимо него через пространство, будто лента вытягивалась из темноты и затем в ней пропадала. Слышался кашель. Плыл огонек папиросы. Он стоял в оцепенении и смотрел.

Кто они? Куда они идут? Далекий фабричный гудок повис над равниной.

Движение убыстрилось, люди почти побежали. Он начал догадываться: это первый гудок в семь утра, его слышно в деревне. Дедушка начинает разжигать самовар. Потом будет второй гудок, в восемь.

Быстро идущие в темноте люди — конечно, рабочие, сходящиеся на завод из деревень. На заводы: их тут несколько, и все военные, без названий и адресов. Они производят оружие.

Им идти еще три километра. Они уж прошли два, четыре, шесть... Потом дедушка скажет, что чемпионы живут в селе Богородском: пятнадцать километров пешком, чтобы прийти на работу. И пятнадцать — чтобы вернуться. Они шли мимо одинокого ночного лыжника, молчаливые, не обращая на него внимания. И только пар вырывался изо ртов разгоряченных ходьбою.

Спустя неделю в теплом школьном классе он вдруг подумал, выкладывая учебники из портфеля: «Есть важные вещи, о которых тут не говорится ни слова». И почувствовал к ним пренебрежение.

— Эти образы времени... они что-нибудь значат! Для чего-то тебе было дано их увидеть! — сказала она, отделив от свечи стекшую и застывшую палочку парафина.

— Сегодня день воспоминаний, — сказал он. — Теперь твоя очередь.

— Да?.. Мне труднее: у меня нет таких цельных кусочков. Если сравнивать, то... это всегда была картина всего: мира, страны. Прошлого-настоящего. Когда мне исполнилось двенадцать — я это заметила — она стала медленно выступать из темноты и тумана. Картина. Ты понимаешь? В ней все связано неразрывно. Я совсем не уверена, что можно что-нибудь изменить.

В этой картине.

— И в этой картине, ты знаешь... ну, теперь можно сказать — есть ты.

Он вздрогнул.

— Ты в ней есть с моих двенадцати лет. Тогда, в библиотеке я тебя мгновенно узнала...

И, помолчав:

— Немного странно, что я не вижу в этой картине — нас вместе.

Он почувствовал острую боль, словно услышал слово отказа и отвержения. Но ведь он принят! Ясно, что они теперь вместе и навсегда!

Беспокойство им овладело, словно их собственного согласия было мало, будто нужно еще что-то, но кого — неизвестно.

— Ты хочешь немного вина?

Не дожидаясь ответа, Приезжий наливает вина ей и себе. Задумчиво медленно он разламывает кусок хлеба и протягивает ей половину.

Они отпивают вина почти одновременно.

«Медленно переворачивается страница жизни», — неожиданно говорит он себе. Он находит эту мысль красивой. Ему хочется ее высказать:

— Медленно переворачивается страница жизни, — сказал он. Неизвестная взглянула на него с недоумением.

— Прости, — сказал он виновато. — Иногда думаешь что-то, и оно звучит торжественно, ярко. А стоит заговорить — прибавится какая-то ирония, и все портит.

— Нужно молчать, — добавил он.

Они молчат.

Неожиданно он слышит россыпь ударных.

Он словно просыпается. Он выплывает стремительно из очарования этого дня. В поле его зрения попадает уродливое: лопнувшее стекло окна, сломанный стул, портрет генсека над стойкой бара. Музыка кончилась. Все громче звуки обыденности: шум воды, звон моющейся посуды, говор спорящих официантов.

Он смотрит в окно. В конце дощатой дорожки, там, где она исчезает под соснами, заметно непонятное копошение силуэтов. От леса отделяется человек. Второй. Третий. Четвертый.

По тропинке идут гуськом четверо.

И в то же мгновение — раньше первой мысли и чувства — в нем происходит полное сжатие, он словно стал единым куском, крепким, деревянным, пригодным к тому, чтобы прыгнуть, ударить всем телом.

— Ах, какая досада! — пробормотал он, шумно вздохнув.

Он чувствовал ужас. Чрезвычайность мгновения от нее не укрылась. Она поднялась, подошла, обняла его голову. И прижала к груди. Матери прижимают к себе детей, чтобы их защитить.

— Что с тобой, милый? Ты так изменился! У тебя болит сердце? Нет?

Мгновенно он оценил: почти двести метров, они не спешат. У него времени три с половиной минуты, вряд ли четыре.

Такой ситуации еще не было никогда. О, Боже мой, что же делать?..

В этом бессилии мысли, в оцепенении нехватки примера, как поступить,

птичий крик взрывается ему в лицо.

Он отпрянул. Он не увидел бы гнезда, если б она не взлетела!

Ему двенадцать лет. Он шел через лес вблизи деревни, где живут его дедушка с бабушкой, под Москвой. Он остановился и смотрел. И тогда, закричав, слетела с гнезда птица, не выдержав ожидания. На расстоянии вытянутой руки птенцы сидят молчаливо, наклонив головы. Спрятав глаза.

И он протягивает к ним руку, но птица кричит пронзительно, прижимая распушенные крылья к земле, она зовет его, он бежит за ней по тропинке, она бежит крича от него, уводя от гнезда всё дальше.

— Мне нужно немедленно позвонить! Дорогая, я совсем позабыл! Скорей уезжай в Петербург! Я найду тебя! Я тебя очень люблю!

Он целовал ей руки, высвобождаясь. И быстро пошел к лестнице. Почти побежал вниз. Спускаясь навстречу им. Он набрал номер и повесил трубку после половинки гудка. Снова набрал номер. (Теперь мы увидели квартиру в Риге, где звонит телефон. И тень человека.) Ползвонка, перерыв.

Находящийся в квартире протягивает руку к трубке. Он ждет третьего раза. Звонок: «Я... мы... в безвыходном положении. Ты слышишь?» Трубка снята. И это ответ: «Да. Не бойся их».

Не бойся.

Рука ложится на его плечо. Твердая, властная.

Он стоит у телефона. Он чувствует облегчение. Он успел попросить помощи. И успел ее получить. Собратья... братья и люди знают, что он попал в плен. Он смотрит спокойно на окруживших его четверых. Ах, вон еще пятый... шестой...

— О, сколько вас! — говорит он насмешливо. Ему между тем не до смеха.

Ему надо пожаловаться кому-нибудь. Кому угодно.

И он говорит остолебневшему гардеробщику:

— Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?
(«Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?»)

Эту вечную фразу ему напомнила пластинка.

— Говорите по-русски! — резко командует кто-то *из них*.

Ему несут его куртку, на ходу проверяя карманы.

— Идите к выходу! — слышится голос.

Его выводят. Его ведут по дощатой дорожке. Впереди — командир в белом шарфике, позади него его подчиненный коллега, затем наш Приезжий. И двое других.

Четверо. Постоянная, со времен Евангелия, «четверка воинов». Почему-то удобное для силы число. Число Земли и земного.

Эту сцену видели официанты и мгновенно поняли все. Один из них молод. Сверстник арестованного и его подруги. Он спешит к столику с подносом. Он собирает посуду. Под салфеткой он видит потертую записную книжку, а также путеводитель: «Рига. 1940». Словно кто-то хотел их спрятать от нескромного взгляда, но не имел времени. Быстрым движением официант кладет предметы под скатерть соседнего столика. Он хочет уйти. Он уходит. Ах, нет: щелкая пальцами, ему наперерез спешит человек в темном пальто.

Агент осматривает поднос. Он может взять вилку и покопаться в остатках чего-нибудь, например, винегрета. Он может запустить руку в карман белой курточки официанта. Они все могут. Но в кармане нет ничего.

Другой преградил путь Неизвестной:

— Ваши документы, гражданка! Вы сегодня приехали?

Она произносит спокойно:

— Да кто вы такой, чтобы так спрашивать?

Он смотрит с веселой наглостью:

— А вы кто такая, чтобы не отвечать?

Впрочем, он показывает ей книжечку, заранее уверенный во впечатлении, даже сдержанно хвастаясь перед красивой женщиной: вот кто он, не просто бандит. И агентам секретной службы хочется слыть героями.

На обложке тисненные буквы: Комитет Государственной Безопасности. Смерть рядом с тобой.

Она роется в сумочке Неизвестной: зеркальце, гребень, платочек, паспорт... ощупывает подкладку.

Оцепенение длится. Официанты застыли в неудобных позах, словно застигнутые окриком. Престарелая чета смотрит не отрываясь. И старик держит клюку, будто ждет нападения собаки. Неподвижны фигуры в штатском.

Любитель музыки пришел в себя первый и дрожащими руками ставит пластинку. Он выбрал удачно: Вступенье и хор из «Страстей по Матфею».

Такая знакомая — и вечная мелодия, ей уже две тысячи лет. Приготовление жертвы. Неизбежное — и потому обоснованное словами, словами, словами... Потребность людей в принесении жертвы: в убийстве себе подобного. В торжестве над другим.

Идя по дощатой дорожке, он вдруг обернулся, словно почувствовав взгляд. Ну, конечно! За стеклом далекого здания он видит белый овал лица. Он видит лицо! Ее лицо он видит отчетливо! Он слышит ее голос: «Я тебя очень люблю».

— Повернитесь! — командует резко агент.

И поскольку он медлит, берет его за плечо железной хваткой и поворачивает. Но он слышит далекую музыку Баха и спокойный голос: «Мой дорогой».

Его вывели на аллею, на дорогу, подходящую к пляжу и здесь обрывающуюся. Навстречу выбежал еще один в штатском, в таком же пальто. меховая шапка чуточку потемнее. Он немного смущен:

— Товарищ полковник... — и продолжает, понизив голос. Но тот повторяет вслух всех:

— Машина сломалась? Не может прийти? Да это ни в какие ворота!

И раздраженно командует:

— Вызовите такси!

— Есть вызвать такси! — произносит агент с легким акцентом (очевидно, из местных жителей... да, да, были такие...)

Приезжий вдруг чувствует: это не просто, нет, не случайность! Это знак помощи! Облегчения! Возможность вздохнуть.

Он смеется во все горло, дав волю нервам:

— Ехать в тюрьму на такси!

И вдруг понимает, что смысл происшествия глубже: ему дается Великий Ответ:

— Сломалась машина?! Нет, это вот что... (и он, торжествуя, скандировал)... ломается ваша Машина!

Губы полковника в штатском шевелятся в змеиной усмешке:

— Ну, знаете, гражданин! Хорошо смеется тот, кто... — он проверяет, правильно ли помнит летучее изречение. — ...кто смеется в последний раз!

*

Петербург-Ленинград.

Метель. Ветер протягивает вдоль тротуаров белые шлейфы снега.

Белые пространства замерзшей реки.

Чисто зимою в метель. Впрочем, то тут, то там на крышах домов стоят изречения. Огромные буквы из толстой фанеры: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». «Задание партии выполним». И обязательно — три силуэта в порыве (справа налево): «Вперед к коммунизму!» Рабочий, колхозница, солдат.

Показался трамвай: два дребезжащих вагона на сцеечке. Пар дыхания вырывается из ртов пассажиров. Окна покрыты толстым белым наростом. Двое детей напротив друг друга, на деревянных сидениях. Им весело: они дышат на ледяную корку окна, лед тает, и тогда его можно скрести. И проделать круглые окошечки. Словно на корабле!

По улице идет женщина в пальто с поднятым воротником. В шапке с опущенными ушами. Пар вырывается из открываемых дверей. Из плохо закрытых форточек. Зимний запах гари. Квартал Пяти углов.

В городе есть места, где стоит тишина. И жизнь молчалива. Лампы с зелеными абажурами на длинных столах. Высокий лепной потолок. Высокие окна.

Стеллажи с книгами вдоль стен: до верхних полок нужно подниматься по лесенке. Оттуда открывается вид на весь зал. На множество голов: стриженных ли, в пышных локонах, плешивых, седых.

Там и мне случалось сидеть и созерцать, держа в руках книгу, но чувствуя, что мне интереснее — больше того, меня зовут судьбы живых, — приблизиться к ним, любоваться и сострадать — и тем помогая. «Мертвые уже отстрадались, — говорила бабушка Софья, — а нам еще — ооо—о!»

Интересно смотреть на них, на головы собравшихся вместе. И почему-то печально. В читальном зале стоит осенняя тишина. После весенних прыжков за мячом и размороженного плотского лета пришло время размышлений. А их главная цель — избавиться от опасений и беспокойства.

Вон светловолосая голова... окруженная стопами книг: их всегда больше, чем можно успеть открыть, пролистать. Прочитать. Тогда мы освоили «партитурное чтение»: наподобие нот, по шесть строк сразу. Романы читались успешно со скоростью 80 страниц в час. Но вот история... философия... Иные страницы пришлось расшифровывать: фразу за фразой, день за днем. Год за годом, увы.

Зачем люди мыслят и пишут столь трудно? Это, разумеется, интригует. Заманчивость философии состоит в необыкновенном употреблении слов: поблизости от общепринятого. Чтобы избежать банального, чтобы ум читателя остался пленным. Наверняка.

Жизнь строилась вокруг несложных сентенций. Например, в томике Канта я нашел однажды записку: «Человек с книгой в руках менее страшен, чем человек с пивной кружкой и воблой».

О, библиотечный каталог, позволь сложить тебе оду! Прогулка по парку намерений и настроений. От иных названий веет свежестью восторга, другие пахнут засаленным рукавом скупердяя.

Тут есть свой бурелом, своя пустыня. Ящики карточек с надписью «Против...» Сюда труженики мысли принесли свои усилия (главным образом, к обеспеченной жизни): «Против выкрутасов в буржуазном искусстве... Против перегибов в воспитании дошкольников. Против...»

Другие ящики наполнены карточками «за»: «За разоблачение буржуазной теории познания... За...»

Нужно ли говорить, что наша Неизвестная в эти ящики не заглядывала? Да и мы вспомнили о них как о курьезе, но подчеркнем еще раз: это был образ мышления девяти десятых народа.

— Ныне книг не печатают, — сказал кто-то своему собеседнику. И тотчас оглянулся, не услышал ли посторонний. Тем временем Неизвестной приготовили новую стопку книг. Но не все: некоторые листочки вернули с пометками: «в общий зал не выдаются», «Спецхран» И даже: «нет в библиотеке».

— В прошлом году эта книга была...

Понизив голос, симпатичная девушка-библиотекарь ей говорит (впрочем, они приятельницы):

— Автор остался там.

Послали за границу отстаивать верные, пролетарские взгляды, а он попросил там убежища! Имя и память о предателе должны исчезнуть. Кто за? Кто против? Или, чего доброго, воздержался? А?

Читать разрешал — или нет — «специальный отдел» факультета. Но не сразу. Он ожидал рекомендации партийного секретаря. А если студент — беспартийный? Тем более! Чувствуете, как становится тесновато. И это авторы прошлого. Умершие. А если живые и современные? Тем более! Все, все они в особом, специальном хранении.

Даже радио! Мощные радиостанции, настроившись на нужную волну, передают в эфир жужжание электромоторов, заглушая неправильные взгляды на мир. Как жить в такой упаковке?

— Мы создадим микроклимат! — улыбаясь, говорил Симон.

В отведенном для этого месте, на площадке лестницы, за дверью читального зала, возле туалета. Тут место курения. И разговоров. Клуб новостей.

...Только что все рассмеялись — и как не расслышать звонкий смех Симона? — когда кто-то повторил входившую в моду вьетнамскую поговорку: «Поживешь в бамбуке — станешь длинным, поживешь в арбузе — станешь круглым».

— Красным! — поправил Дмитрий.

Некоторые смех удержали. Выразительно поглядывая на стены («и они, сами знаете...»), вскользь — на незнакомца с сигаретой (не слишком ли новичок в библиотечном обществе?.. Не слишком ли спортивен, подтянут и точен в движениях, не смотря на штатский костюм?)

Став носителями слухов, страхов и маний, читатели возвращались к лампам и книгам. В этой странной стране жить, впрочем, забавно. Подходить к незримой черте и чувствовать: осторожно, там ждут когти и крючья! Повеет ужасом, отшатнешься.

Запад — Восток. Запад не запрещает любить ближнего. Восток заставляет ненавидеть врагов. Ребенок, в них живший (а в ком он не живет? по крайней мере, не прячется?), подчас удивлялся жестокости этого века, прошлого, позапрошлого... «Князь приказал нагнуть верхушки деревьев и привязать их за ноги: за разные ноги к разным деревьям. И потом отпустить». «Деревья», — уточнял летописец.

Господа, сказал он, задача правильной жизни души в том, чтобы сохранять цельность. Достаточно чуть дольше, чем нужно, — и чем это «нужно» измерить? — задержаться, увы, на фрагменте, и смысл целого начинает тускнеть. Фрагмент же растет, он все крупнее, он затмевает соседей. Он сделался всем.

Так вот, во всякой жизни есть светлые стороны. Есть же друзья: улыбки, рукопожатья, здравствуйте, приходите, до скорого! А разговоры? Это особенный жанр! Действо! Событие! Самый длинный разговор продлился три дня и три ночи. 72 часа речей и споров!

...Его начал Приезжий со старым знакомым. Пришел тем временем другой знакомый, недавний (но сразу видно, что верный). Потом пришел третий. Ужиная вместе, они говорить продолжали. Пришли еще двое — приезжих и надеявшихся на ночлег и на ужин. И включились в беседу. В три часа ночи Приезжий смеживал веки. Он заснул, наконец, сидя в кресле. Он проснулся наутро: старый приятель — на удивление свежий и бодрый — уходил по делам, двое из провинции спали. А двое рубились в яростном споре:

— Никогда! Ты понимаешь — никогда! — горячился Владимир.

— Рабочие чувствовали, что у власти — их люди: власть говорила их языком! И даже в тюрьмах они называли Джугашвили «хозяином», — щепотка иронии, а стоят на коленях!

— Теперь «хозяин» «сапожник», «усатый»: язык говорит о снижении образа власти!

Пока Приезжий ставил чайник, пришел еще один гость и поставил фундаментальный вопрос о смене формаций: он был марксист, боровшийся за чистоту учения и потому уволенный отовсюду. Старый товарищ Приезжего, зайдя на минутку в полдень, скромно выложил что-то «новенькое и свеженькое» из портфеля на стол. Их охватила жажда к чтению. Они молча шуршали листочками тончайшей бумаги, папиросной, изредка восклицая и чмокая.

— Ну и ну! — прокомментировал Симон.

Юрий читал методично и в блокнотике делал пометки, напоминавшие египетские иероглифы.

— Ну, так невозможно! Они...

Разговор вновь разгорался.

Темы, впрочем, менялись с приходом художника, журналиста, психиатра... или только что вышедшего из лагеря и другого, сажающегося, увы, с неизбежностью туда же... или музыканта, верующего открыто в Бога, поэта-юноши, тридцатилетнего, сорока... нет, сорока еще не было никому.

С приходом ее. И ее приятельницы.

С приходом ее тон мужского разговора смягчился, все невольно расцвело, поумнело. Простоватость политики уступила место поучительным случаям, притчам и штучкам. Смущала ли ее такая пестрота лиц, положений? Если это бывает, если это уместно, то, например... ну, например, в церкви, куда может войти любой человек. Впрочем, и тут есть что-то от собрания верующих: это храм юности, где приняты все!

Потом, спустя годы между ними пролягут рвы и вырастут стены: разных доходов, привычек, отвердевших мировоззрений. Насыщенности миром. Истощенности порыва к исследованию.

От мира съедено и выпито в должную меру. Тело и ум перестали строить новые клетки. Теперь им сохнуть, превращаться в жесткую оболочку, в желтую куколку. До того мига, когда нечто выпорхнет из нее в Неизвестность.

Спустя час они ушли.

И все замолчали, почти опечалившись: с ее уходом возникла странная пустота, которой перед ее приходом не было. Любитель эзотерических наук это подметил и высказал вслух. Словно уличил их в чем-то. Они сделались сентиментальны. И тут обнаружилось, что Владимир ушел вместе с ними! Вероятно, провожать, разговаривать. Может быть, даже назначить свидание! Остальные обиделись и молча завидовали, пока не запылала дискуссия о смысле жизни.

На третий день Приезжий отправился по делам и уехал, оставив троих иссякать в последней беседе. Вернувшись на другой день, он поразился тишине. Неужели кончился марафон? На диване и в кресле спали два молодых человека, которых он видел впервые. Один оказался знакомым Юрия, из провинции, а второй приехал из Киева с дурными вестями.

К вечеру мороз усиливался. Снег скрипел под ногами одинокого прохожего, очевидно, мерзнувшего и потому шедшего быстро.

*

Как в музыке, тема вдруг повторится в жизни, в течение дня: те же стены, окно, вид из него, даль улицы.

Подъезд библиотеки, лестница, зал.

Зеленые лампы на длинных столах.

Светловолосая голова.

Девушка-библиотекарь смотрит на Неизвестную с восхищением: вот человек, у которого все есть. Красота, обаяние, ум. Такой человек должен быть счастлив. А волосы! Зимой они цвета темного золота, а летом под солнцем светлеют. И взгляд дружеский. И начинающаяся улыбка в движении говорящих губ. Ей можно сказать. Отдохнуть рядом с ней от эпохи.

— Ты знаешь, он опять мне звонил, — говорит библиотекарь с доверчивостью младшей сестры. — Предлагал встретиться.

— Он тебе нравится?

Отводя в сторону глаза, чуточку смущаясь:

— Он добрый. Он инженер.

Так говорят о поклоннике, если он старше.

— Он холост?

— Не знаю... — в ее голосе слышится удивление. В наше время — это предпоследний вопрос, с лестницы, не дожидаясь ответа.

В читальном зале время летит незаметно. За столом, в светлом круге, падающем от лампы, ее руки. Листочки, заполненные жемчугом букв.

«Мне кажется, что рассказ историка — это панорама... это упорядочивание прошлого. И мира. Система порядка. Она похожа на замок, который строит себе ум, если ему почему-либо не представляется надежным город, где живут многие, целые народы, — город религии.

О, Прошлое. О, Море.

Ты наступаешь на мой островок.

Мой дорогой.

Не слишком вини себя в происшедшем.

Подобное бывало с другими.

Встреча состоялась именно так, как было. Она настоящая, навсегда.

Другие люди есть в наших существованиях. Мы их любим. Мы с ними смеемся, обсуждаем дела, идем в магазин, завидуем и желаем.

С тобой и со мной все иначе.

Я видела сон: мы стояли на берегу, но моря не было.

Мы шли с тобой по песку ушедшего моря.

По очень красивой пустыне.

Горизонт был синим, словно там стояла вода.

Мы были вместе».

«Замок концепции. Инструмент овладения миром. И людьми. Строится храм. Потом его перестраивают в базилику. Потом в церковь. Потом в кинотеатр. Что-то нарушилось? В богослужении было и зрелище, конечно, спектакль, но не только он.

Новое назначение бережет черты предыдущих.

Новый хозяин в новом замке со старыми горшками.

Когда он утратит самоуверенность, увидев, как ветшают и выпадают камни его жилья, окрестные жители поддержат его аплодисментами, криками одобрения. А он даст им необходимой пищи для души: чувство уверенности в себе и чувство единства».

Мой дорогой.

Сегодня, проснувшись, я словно прочитала строчку в невидимой книге: *над вами реет знамя разлуки.*

Мне было очень больно.

Я долго думала, какого цвета может быть это знамя... не знаю.

Сегодня

Тут, вероятно, кончились чернила. Видны вмятинки букв, следы драгоценных жемчужинок, можно попробовать прочитать:

я получила уве
домление? Из-вещение?..

*

Женщина в шапке-ушанке, засыпанной снегом, идет по улице.

Она входит в подъезд, снимает шапку, отряхивает снег.

Ее волосы рассыпаются по плечам.

На шестой этаж мы поднимемся вместе с ней.

(Уф! Нам ныне уже не двадцать и не тридцать... Лифт есть, конечно, но он, естественно, не работает.)

Она входит в Коммунальную Квартиру. О ней говорили десятки лет миллионы людей. Так дети рассказывают о необычном и страшном.

А внешне все прозаично. Здесь, например: широкая зала без окон, это прихожая, освещенная тускло электрической лампочкой. Двери: раз, два, три, четыре, и затем в коридоре, восемь дверей, и еще девятая, около выхода на черную лестницу. Девять семей, двадцать пять человек.

Возле дверей стоят стулья, старая мебель, сундуки, чемоданы. И ящики с запасом капусты ли, картофеля. В квартире живут мирно. Во время войны все переносится в комнаты.

Возле двери сидит на стуле старик. У него трубка в зубах. Он всегда тут сидит, даже ночью. Трубка погасла, и можно подумать, что он задремал. Но нет, глаза открыты, он смотрит.

Опрятная комната Неизвестной.

Горшок со столетником на подоконнике. Письменный стол, полки с книгами, папки. Шкаф для одежды, обеденный столик и стул. Узкая постель.

Старомодные ходики на стене. Если смотреть на них внимательно, они начинают необыкновенно громко стучать. 13.20.

Неизвестная хочет приготовить чай. Она выходит в коридор, где сидит на стуле старик с погаснувшей трубкой. Она идет на общую кухню с тремя газовыми плитами и множеством столов. Тут варятся супы. Кипят бак с бельем.

Столы и пол уставлены сосудами с водой: банки, бутылки, кувшины, кастрюли... Странно! Но все становится ясно, едва она открывает кран: далекое сипенье доносится из неведомой глубины, бульканье, голоса.

В этом районе вода на верхние этажи доходит не всегда.

Ну, ничего, у Неизвестной тоже есть запас в красивом кувшине.

Нам приятно побыть в этой комнате. В ее обществе. Она немного изменилась со времени встречи на берегу моря. Во-

лосы потемнели. Черты лица утратили плавность. Но тонкость все та же, внимательность.

В этой душе примирены Бог и Природа.
В этой Душе.

Метель за окном.
Зимняя белизна.

Отпивая чай, она перелистывает страницы толстого тома. Следы ветхости, пятна ржавчины, старинная печать. Кажется, «Записки» Андрея Болотова, XVIII век.

Ее мысли не с книгой. Она рассеянно смотрит в окно, я... мы ее видим: ее профиль на белом матовом фоне.

Дневная тишина дома, квартиры. Все разошлись на работы. По магазинам в поисках пищи.

Остаться здесь, в тишине, в тепле, при небольших занятиях.

Бывают миги, когда мы всем существом переживаем разницу величин: нашей маленькой жизни, например, и громадного бытия человечества, природы, всего. А потом чувствуем уют от того, что и нам есть местечко в этой необъятности, что сию минуту нас не раздавят события, ужасы, муки.

Сегодня дан отдых.

Сейчас.

Никуда не торопись, не ходи.

Это и мой отдых: после всех перемен смотреть на тебя с полным умиротворением. После жестокостей четверти века, после попыток общения с другими народами, уже не понимая, где мой собственный и существует ли он... как сказать, не обижая никого, что есть таинственная родственность душ и даже тел различных людей? И не менее таинственная несовместимость.

Только представить себе, что, размечтавшись под звуки клавишина восемнадцатого века, придти в себя на стадионе двадцатого в момент забитого гола.

Нежность и хрупкость твоей жизни. Старые книги, гравюры... восхищение перед пространством пейзажа...

Тебе предстояло... тебе предстоит обнаружить хрупкость всего бытия всех нас. Оно казалось еще прочным в то утро.

О, мы тогда верили в Братство! Мы им жили. Мы даже увлекали других в эту веру. И думали, что это — главное, и дано навсегда.

Писать письмо тебе в прошлое. Произносить не слишком содержательные фразы... для того, чтобы тебя удержать... чтобы не дать начаться другому времени. Оно теснится у дверей, ему уже надо войти.

Часы тикают громко.

Приближается враждебное тело, опасное для него.

Но ведь это неважно... если нельзя отменить, то ведь душа... душа... душа ведь бессмертна.

Она вышла из долгой задумчивости. Что-то вспомнив, сняла с полки толстой словарь... кажется, это Random House... вынула из него тонкие листочки, покрытые густо текстом, напечатанным на машинке. Она читает его, повернувшись к окну. Верхний край листа отогнулся, и мы тоже можем прочесть первую строчку: «Новости из лагерей».

В дверь негромко стучат.

Она поднимает голову и мгновение ждет. Быстро прячет странички в книгу. Подходит к двери и медлит открыть. Отпирает замок. Открывает.

Никого. В ручке двери белеет конверт. Кто-то из соседей вынул почту, и письмо у него задержалось.

Она читает письмо. Ее лицо внимательно и серьезно. Достает листок бумаги и быстро пишет, присев за стол. Просветленное лицо пишущего человека. Шуршанье пера о бумагу.

Тиканье часов.

Почему-то нельзя ничего отменить. Изменить. А ведь в молодости это было так просто: да не так теперь хочу, а вот эдак! Мысль опережала событие, ноги опережали мысль.

Надев пальто и шапку, она выходит из комнаты. Старик с трубкой стоит неподвижно посередине прихожей. Ее путь по лестнице вниз. Метель настолько сильна, что ей приходится

упереться обеими руками, открывая дверь парадного. Шлейф снега врывается в подъезд.

Часы на чьей-то руке, одетой в перчатку. Другая рука придерживает рукав: 14.45. Начало сумерек зимы. Между волком и собакой. Среди волков.

На мгновение задержавшись у почтового ящика, она опускает конверт и быстро идет дальше.

Возле ящика возникают засыпанные снегом мужчины в шапках. У них в руках специальный мешок. Его нужно — и кому это нужно? — вдвинуть под ящик по специальным полозьям. А дно ящика вытянуть на себя: и все содержимое провалилось в мешок! Ловко! Рядом с ними остановилась «волга». Мужчины в штатском с мешком садятся в нее. Разве есть у них право на собирание почты, они ведь работают, по-видимому, в другом ведомстве? Как же так?..

Она вышла на широкий проспект с трамвайными путями посередине. Справа и слева от них едут автомобили.

Городские часы на столбе занесены снегом. Стрелок не видно. Но тиканье слышно. Громкое разноголосое тиканье многих часов. Сотни циферблатов в одном помещении. Висят на стенах, стоят на столах, на полу, на полках. Оглушительное тиканье, скрипы, щелчки. И все показывают разное время. Что это, спрашивает он во сне. Это время ее жизни, понимает он и чувствует облегчение.

Широкий проспект, трамвайные пути, остановка.

Многие люди ожидают трамвая. Она среди них. Она рассеяна: она не заметила, что подошел нужный номер, спохватывается, но поздно.

Приближается следующий. Его обгоняет служебный автомобиль: черный, типичный. Не доехав до остановки, он высадил пассажира, и едет медленно дальше.

Привычному глазу ясно, что это обычный агент наружного наблюдения, простой и народный. В толпе он почти неприметен.

Он держится неподалеку. Он внимателен к ней, хотя взгляд его, равнодушный, скользит. В вагон они поднимаются вместе.

У заледеневшего окна играют дети: они дышат на ледяную корку и скребут ее ногтями. Получаются круглые окошечки, и в них весело смотреть! Зимняя забава детей в советское время.

Мальчик и девочка. Она заметила их игру и улыбнулась. Она чувствует, что владеющее ей напряжение ослабевает. Едет трамвай.

Остановка, очередная. Темные фигуры людей в порывах белой метели.

Ей скоро сходить. Она пробирается к выходу.

Остановка. Кольханье толпы.

Трамвай прозвонил и тронулся. Он едет вдоль густой толпы пассажиров.

Циферблат часов на ее руке: 16.17.

Мгновенно покрытый трещинами от удара.

Крик.

Восклицанья испугов.

Скрежет тормозов.

Кипенье толпы.

Бледные лица детей.

Сирена скорой помощи.

Звонки скапливающихся трамваев.

У тротуара стоит черный автомобиль.

Неподвижно сидят пассажиры: с водителем рядом — осанистый гражданин средних лет в каракулевой шапке и белом шарфике в отвороте пальто. Похожий на него сидит позади. Он помоложе. Его шарфик серого цвета.

Медленно уходит скорая помощь. Так бывает, когда все ясно, и торопиться уже ни к чему.

Или услышав настоящий совет быстро не ехать.

Кто-то подошел, открыл дверцу, садится. Он сидит и смотрит вперед, равнодушно и молча. Снова хлопнула дверца, еще один человек в штатском сел в машину. Сидящий рядом с водителем поднимает голову, показывая подбородком вперед. Это приказ: «Поехали».

Машина идет вслед за трамваем, начинает его обгонять, недолго они идут параллельно. Они догоняют скорую помощь, задержавшуюся у светофора.

Если б завить сиреной, рвануться на красный, то еще можно успеть!

Трамвай продолжает свой путь прямо, поднимаясь на мост.

Белая «скорая помощь» сворачивает налево.

А черная «волга» — направо.

Но мы еще следим за ними взглядом, поднимаясь над перекрестком. Они все меньше: словно игрушки в игрушечном городе, раскинувшемся во все стороны по берегам реки и совсем близкого моря.

Выпуклая масса города, покрытая множеством огоньков.

А если подняться повыше, то увидишь очертания континента.

Очертанья Земли.

Замечательно красивый вид Земли из космоса.

Дворник, посыпающий трамвайную остановку песком.

*

Спустя столько лет — и сколько же? И такой разной длины — человек смотрит в то же окно, на то же самое море. Он снова на мгновение — тот же. Словно где-то хранился слепок давно минувшего дня, куда он теперь может войти.

«Это я? — думает он. — Поразительно. Я совершенно один, нет ни рядом, ни дальше — ни одного человека, с кем вместе надеялся, негодовал, восхищался. И ни восхищения, ни негодования нет. Все состоялось, насытилось. Прекратилось. Только осталась надежда, слабая, как умирающий день. Как свет выхода из далекой пещеры».

Он приходит в себя.

Эти исчезновения из мира вещественности его занимают, забавляют, немножко тревожат своей новизной.

Он приходит в себя: вокруг него стоит шум популярного ресторана на побережье. Массовый вопль стадиона доносится до него: гол! В глубине бара работает телевизор.

Тепло осеннего дня. Сквознячок перелистывает журнал в руках задремавшего старика, словно хочет показать нам что-то. И, правда, вот дата:

1996

О, вот, сколько прошло времени! Четверть столетия.

Такая длинная четверть, почти век.

Посетитель, смотрящий в окно, виден нам со спины. Он одет иначе, чем в 71-м, хотя цвет кашне напоминает тогдашний.

Окликнуть ли его, чтобы он обернулся и чтобы нам ахнуть невольно, увидев работу неустанного Времени? Или чуть позже... или оставить обстоятельствам это сделать?

Люди вокруг иные. Нельзя ли их просто фотографировать: пополневшие лица, может быть, даже лоснящиеся. Щеки, подрагивающие излишним жирком. Вот господин: на нем поразительно яркий галстук; с ним и супруга в пятнистой под леопарда жилетке, и девушка-дочь с огромным деревянным крестом поверх платья.

Стук вилок, тарелок, жевание скул. Бульканье наливаемых и поспешно выпиваемых напитков. Как и прежде, чересчур поспешно.

И музыка стала другой: джаз с хрипотцой и ностальгическим саксофоном.

А вместо угрюмого генсека — портрет господина с пивной кружкой в руках. Преуспевший и босс, с ошеломлением в глазах от собственного взлета.

Такое время: после десятилетий угрюмого «нельзя» наступило коварное «можно».

Официант опять смотрел на него изучающе вопросительно, и он попросил лимонада. По-русски.

— Es nesargotu, — сказал официант. «Не понимаю».

Приезжий перешел на французский и попросил кофе с молоком.

Официант кивнул и принес лимонад.

Глубоко внутри шевельнулась тошнота, он называл ее когда-то «экзистенциальной». Ему захотелось уйти.

Остановившись у киоска с газетами и сувенирами, он поинтересовался, нет ли тут расписания поездов на Санкт-Петербург и Москву.

— Please, don't speak Russian to me, — умоляюще, понизив голос, сказала продавщица. — Ему стало неловко, он заторопился уйти.

— Подождите! — сказали позади него с ноткой симпатии. Он обернулся. Юная латышка смотрела на него, не решаясь продолжить. Наконец, она заговорила с тем прибалтийским акцентом, который делает русскую речь миролюбивой и обаятельной:

— Не придавайте этому слишком большого значения! — сказала она, кивнув в сторону киоска.

Он вздрогнул от неожиданной ласки. Он растерялся. Он только смог произнести:

— Paldies.

«Спасибо». И улыбнулся. Нет, не все было напрасно. Нет, не все.

На берегу, на твердом влажном песке, где волны подползают к ботинкам.

Он идет вдоль воды, вдыхая запах йодистых водорослей.

Он знает целебные свойства прогулки между сушею и водою.

Спрятав руки в карманы.

Ветер отдувает шарф.

Кисточки шарфа.

«Помнишь, мы говорили однажды о почерке... — он слышит вдруг ее голос, — о том, что он выражает характер и что он с годами меняется? Посылаю тебе мой последний образец почерка: больше ему не придется меняться...»

Ее письмо дошло. В конверт она почему-то вложила открытку...

Ему сделалось странно. Не по себе. Он ищет позу, чтобы странность прошла: наклониться вперед, например, сжав ребра локтями. Присесть на корточках.

...австрийскую пасхальную открытку с курочкой и пестушком перед горкой яиц.

Откуда в Советском Союзе такая открытка? Что значила эта фраза? Что несчастный случай не был случайным, как думали почти все? Как сухо описывал милицейский рапорт?

«Теперь все абсолютно другое, — говорит он себе. — Страница моей жизни исчезла: все мое окружение! Весь мой контекст! Я словно единственная уцелевшая буква на белом листе. Я вишу».

«Как мотылек в янтаре».

«Я оказался в каком-то разрушенном мифе».

— Новая картина мира. Я не узнаю его. Осколки, остатки драгоценных когда-то слов... мне непонятен смысл перемены.

Разумеется, можно предложить объяснение, чтобы предупредить панику: экономика, психология, факторы... чтобы удержать события в какой-то оправе, в известных — кому? — пределах, чтобы не начался новый потоп старого хаоса бессмыслицы.

Интересно, что термины науки кажутся слишком мелкими, игрушечными. Им не вместить. А вот библейские обороты теперь на месте и к стати!

Он почти один на пляже.

«Она не погибла совсем. С тех пор я видел ее в других женщинах, она как бы мелькала: в жесте руки, в улыбке... в выражении лица: тонкость, изящество, чистота мысли делались

видимы на лице... как будто она сама говорила со мной, хотя бы ее звали иначе...»

«Назвать ли это любовью, — странным словом любовь, таким расплывчатым, емким, пригодным для всякого — почти — чувства привязанности и зависимости... или безопаснее употреблять холодный и острый, как скальпель, термин?..»

«Ее смерть была моей первой смертью».

Иные были — как бы сказать? — закономерными. Бабушка, дедушка — старые люди, у них выбора нет. Даже друг, но все-таки старше его, Анатолий. А тут — тут его ранило.

Вот что он увидел впервые... ужаснувшись, узнал: предопределенность... тяжкий вес непреложности, из-под которой не выбраться всему множеству «если бы»...

И еще этот опыт...

Он споткнулся и с размаху упал. Перемазавшись мокрым песком, он остался стоять на коленях, тут же промокших.

...опыт необъясненного «нет»... этой тьмы, этой безмолвной неумолимости... когда Песнь Песней, начавшись, превращается в Реквием...

«О, знамя разлуки, оно черного цвета! Боже, зачем это нужно было узнать? В качестве помощи, в качестве жалости — даруй мне смысл, о, даруй! Подскажи: зачем это нужно было Тебе?..»

«Встреча тебя и меня? Состоялась ли встреча нашего далекого прошлого, разумеется, выходящего за пределы наших жизней. Мы узнали родственников друг в друге. Разбросанная в мире и во времени семья вдруг встретилась в нашей встрече».

«Ты сумела бы выделить важнейшее в том, что я говорю так неясно. Вечером, на берегу моря... я в затруднении».

Однажды он попросил подарить ему фотографию, маленький снимок, но потом передумал: «Лучше вот эту! — Правда? — засмеялась она. — Ну, возьми». Смешно дарить снимок, на котором ей... десять лет! И почему-то приятно. Оттого ли, что ребенок, еще живший в ней, взрослой, был кому-то интересен и мил? Хотя он и юноша, в нем есть немножко отца, как в ней — черточки матери?

Фотография странствовала с ним: чудесный ребенок, в пальто с меховым воротничком и в шапочке, завязанной лентой.

Зима. Новый год. Елка. Можно предположить маленькие валенки в галошах, хотя их не видно на снимке; не видно и варежек, пришитых к тесемкам, уходящим в рукава: чтобы не потерялись. Так одевали детей зимою в 50-х.

Фотография с трещинками, с отломанным уголком.

«Снимок пожелтел и состарился, а образ — нисколько.

В моей нищете сияет ее лицо! Ее взгляд!»

«О, спасибо за этот подарок... он ведь тоже часть Провиденья Судьбы...»

Твердый песчаный край. Мелкие волны.

Осень.

Осень здесь не очень заметна: зеленые сосны все те же, а травы... а впрочем, жесткие стебли осоки, растущие из песка, начинают желтеть.

Он ищет в карманах: блокнот и перо. И быстро пишет:

«Меня окружила полнота понимания. Все окончательно ясно: это приготовление к исходу отсюда. Зрелость земного труда. Наполнен тяжелый сосуд: руки едва его держат, дрожат. Прозрачная чистая влага стоит вровень с краями, нет, уже поднялась над ними: вот-вот, чуть-чуть — и прольется.

Окончательное приближение: после стольких попыток, конспектов, оглядываний на других.

Множественность меня и всего на свете — затихла, исчезла. Миг вечерней усталости: миг вечера жизни.

Миг прощения Богу за эту жизнь... нет, это опасная мысль, это уподобление Его человеку.

Просто молчать перед Ним. Хотя и это опасно.

Только и остается — только могу поднять к небу глаза. Из них течет по щекам, по красной обветренной коже. Солонватая влага попадает на губы, дрожащие, старающиеся произнести слово, слова, а вместо него, вместо них гортань производит странное покашливание и хмыканье.

Ну, пройдет. И это пройдет.

Проходит.

У горизонта обозначилась нежная лазурная полоска, окаймленная золотом. Там — тишина, чистота, правда?»

*

Падают осенние листья.

Пустьрь новостройки.

Высокая ограда. Беготня и крики детей.

Начальная школа.

Он смотрит и слышит — ее голос, и свой — обрывок их разговора.

«У нас будет много-много детей! Решено! — Много? Ну, сколько? — Тридцать! — Ну, что ты говоришь!» — В ее голосе эхо сложного чувства: она польщена таким предположением о ее плодовитости, и немного сердита на его легкомыслие в столь важном вопросе.

— Раз, два, три... — считает он детей. Он хочет продолжить.

Лица детей вдоль ограды: они привлечены каким-то событием. Они смотрят.

Ее голос счет продолжает в гулкой тишине:

— ...семь... восемь... девять...

Врач держит его запястье и смотрит на циферблат часов.

— Семнадцать... восемнадцать... девятнадцать... — чей-то взволнованный голос в плывущем пространстве.

Внимательные лица молчаливых детей вдоль ограды.

Хлопнули дверцы, и машина пошла, подавая характерный сигнал. Это опять скорая помощь. Она спешит.

— ...двадцать восемь, двадцать девять... — учительница считает детей. Все здесь?.. Она ищет глазами: у ограды остался Ребенок, мальчик с коротко подстриженными волосами. Держась за железные прутья, он смотрит вслед ушедшему автомобилю.

— Тридцать! — восклицает учительница и зовет его:

— Дзинтарс!

Он не слышит. Или делает вид.

— В конце концов, Дзинтарс! — Ей приходится подойти и взять его за руку. По желтым листьям дети идут к зданию. Оброненный оранжевый шарф с кисточками лежит у дороги. Порыв ветра забрасывает его опавшей листвой.

*

Ночь. Темная комната.

Вероятно, та самая, где когда-то звонил телефон.

Квартира в блочном доме, куда стремился попасть Приезжий.

Он сидит у письменного стола.

Зажигает настольную лампу.

Перед ним пишущая машинка с белым листом бумаги.

Он осторожно ударяет по клавишам, стараясь не ошибиться:

ВСПОМИНАЯ С ЛЮБОВЬЮ

Софья

Федор

Анатолий

Ида

Виолетта

Юрий

Владимир

Симон

Дмитрий

Александр

Андрей

Вера

Звонок в дверь.

Человек гасит настольную лампу. Сидит неподвижно.

Стараясь не шуметь, подходит к окну и выглядывает осторожно.

Ночь. Над подъездом качается и поскрипывает тусклая лампочка.

Видны очертания автомобиля с погашенными огнями. В нем кто-то сидит. На тротуаре неподвижно стоят два человека.

Знакомая мелодия опасности, он явственно слышит ее, но она далека, далека...

Ночь.

Человек медленно берется за ручку оконной рамы.

Тянет к себе, желая открыть.

Не поддается.

Изо всех сил, двумя руками он рвет ручку окна.

Оно с треском распахивается.

Ночи нет. Солнце и воздух врываются в комнату, свежесть, птичий гомон весеннего леса.

Он издает восклицание, неясное, как будто он выдохнул *ах*.

Конец



СОДЕРЖАНИЕ

На Восток от Парижа <i>роман</i>	5
Проза Миллениум, <i>или</i> Машинопись, найденная в строительном мусоре	113
Побег в окрестности Реймса	163
Обед на побережье Балтийского моря	222

Николай Боков
Книга вторая
На Восток от Парижа

Редактор: **Игорь Преловский**
Компьютерная верстка: **Михаил Селиверстов**
Корректор: **Геннадий Щеглов**
Дизайн обложки: **Анатолий Гришин**
Дизайн суперобложки: **Николай Головихин**

Получено в набор 10.07.2007. Подписано к печати 27.03.2008.

Бумага офсетная. Формат 60x84¹/₁₆

Печать офсетная. Зак. 5/03. Тираж 5000 экз.

Издательство «Дятловы горы»
603005, Нижний Новгород, ул. Минина, 6
тел. +7 (831) 419-24-28, e-mail: polezno@mail.ru

Отпечатано в типографии издательства «Дятловы горы»
603167, Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, 5
тел. +7 (831) 243-16-68



НИКОЛАЙ БОКОВ

Николай Константинович Воков вырос на Самиздате 60–70-х годов, отдав дань и классическому образованию в стенах Московского университета. Романтика и трагизм диссидентства отразились в его повестях и рассказах тех лет, которые он публиковал за границей под псевдонимами (особенно в повести «Никто», журнал «Грани», Франкфурт). Неприятие советского идолопоклонства породило сатирическую повесть «Смута новейшего времени, или удивительные похождения Вани Чмотанова», ставшую знаменитой. В 1975 году власти поставили его перед дилеммой тюрьма или эмиграция. Тридцатилетний писатель выбрал изгнание и поселился в Париже.

В 1982 году, после опубликования на немецком языке романа *Der Fremdling* («Чужеземец»), его настиг новый жизненный переворот: христианство открылось ему как реальная сила, действующая в мире. Настали годы странствий по Европе, Америке и жизни в монастырях Франции, Афона и Святой земли. Он обратился к сокровищнице ранней христианской аскезы, испытывая на себе жизнь в одиночестве, в пещере, на улице.

В 1998 году он вернулся в обычную жизнь, в Париж. Посвящая свое время писанию и размышлению над накопившимся опытом, он отзывается и на события дня в Интернете <http://nicboikov.blogspot.com>. Воков – автор пятнадцати книг, вышедших на французском и других языках, лауреат премии Дельмас Французской Академии, член Французского Пен-клуба. Нижегородское издательство «Дятловы Горы» впервые в России выпускает значительное собрание его русской прозы.